

Жизнь Пушкина

«ЛЮБОВЬ
К РОДНОМУ
ПЕПЕЛИЩУ…»

ЭТЮДЫ О ПУШКИНЕ

АРНОЛЬД ГЕССЕН


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Седьмая книга Пушкинианы Арнольда Гессена представляет собой систематизированный сборник статей автора, опубликованных в различных газетах и журналах в период с 1958 по 1974 годы. В первую часть книги включены автобиографические очерки, кратко освещающие нелегкую жизнь и долголетнюю деятельность замечательного писателя-пушкиниста и патриота России.

Вторая часть книги – это сборник этюдов о жизни и творчестве А. С. Пушкина, по своему содержанию близкий к таким ранее изданным книгам, как «Набережная Мойки, 12. Последняя квартира А. С. Пушкина» (М., «Детская литература», 1960) и «Рифма, звучная подруга…» (М., «Наука», 1973).

Ранее в книге «„Слово о полку Игореве“ – подделка тысячелетия» А. Костиным выдвигалась гипотеза, что А. Гессен был причастен к передаче в XX век тайны первородства «Слова о полку Игореве». Проанализировав содержание книг и статей известного пушкиниста, а также глубоко изучив жизнедеятельность «клана Гессенов», исследователь приводит убедительные доказательства, что А. Гессен знал, кто написал «Слово о полку Игореве», и на склоне лет практически открыто назвал его имя…

- Арнольд Гессен
  - ○
  - ○
  - ○ Вместо предисловия. «Загадочный» пушкинист из «клана Гессенов»
  - ○ Часть первая. «Арабески» моей жизни
    - ■ На стыке двух эпох[24]
    - ■ «Бронзовый» Пушкин[26]
    - ■ Три памятника[27]
    - ■ Мой путь к Пушкину[28]
    - ■ Друзья поэта[29]
    - ■ Волшебные сказки[30]
    - ■ Ель-шатер[31]
    - ■ Возрождение из праха[32]
    - ■ Библиотека Пушкина[34]
    - ■ Три сосны[35]
  - ○ Часть вторая. «Россыпь» этюдов о Пушкине
    - ■ Утро жизни[36]
    - ■ Лицейская республика[37]

        - «Наставникам, хранившим юность нашу…»[39]
        - «Весь день я с ними…»[40]
        - Няня Пушкина[41]
        - «Душой исполненный полет…»[42]
        - «Я не рожден царей забавить…»[43]
        - «Волхвы не боятся могучих владык…»[44]
        - Анчар – древо яда[46]
        - Песни свободе[48]
            - Кавказский пленник
            - Гавриилиада
            - Братья-разбойники
        - Каменка[49]. О чем рассказал внук декабриста
        - Во глубине сибирских руд…[50]
        - Жены декабристов[51]
        - Болдинская осень[52]
        - «Слово о полку Игореве»[54]
        - Утро перед дуэлью[55]
        - Дуэль и смерть Пушкина[56]
    - Вместо эпилога. А. И. Гессен – загадочный хранитель тайны первородства «Слова о полку Игореве»
    - Приложение 1. Прижизненные издания сочинений А. И. Гессена
    - Приложение 2. Слово о Пълку Игоревѣ, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова
    - Библиография
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18

- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62

- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92

Арнольд Гессен
«Любовь к родному пепелищу…»
Этюды о Пушкине

© Костин А. Л., 2015
© ООО «ТД Алгоритм», 2015

* * *

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А. С. Пушкин

Вместо предисловия. «Загадочный» пушкинист из «клана Гессенов»

С книгами и статьями о Пушкине, автором которых был Арнольд Ильич Гессен (1878–1976), советские читатели познакомились в начале 60-х годов XX столетия. Первая статья «Три памятника», опубликованная в газете «Литературная жизнь» в июне 1958 года, была с интересом встречена читателями, равно как и возраст новоявленного пушкиниста, которому в то время исполнилось – ни много ни мало – 80 лет. Вслед за этой статьей, без малого через год, в «Советской культуре» появилась большая статья, приуроченная к 160-летию А. С. Пушкина, – «Возрождение из праха», содержательная часть которой явно указывала на то, что к многочисленному отряду ученых-пушкинистов и пишущих пушкинистов-любителей неожиданно, но уверенно примкнул неординарный исследователь жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина. Подтверждением этого стала первая книга А. Гессена «Набережная Мойки, 12. Последняя квартира А. С. Пушкина», вышедшая через год в издательстве «Детская литература». Вслед за этой публикацией в течение последующих 14-ти лет, как по хорошо отлаженному литературному конвейеру, через каждые 2–3 года стали выходить интересные книги о Пушкине и декабристах (всего 6 книг) и ежегодно по 2–3 статьи, которые автор скромно называл этюды о Пушкине, в газетах и журналах (всего свыше 30 статей). С интересом была встречена читателями вторая книга А. Гессена – «Во глубине сибирских руд…» (1963 г.), но особенно большой успех имела третья книга – «“Все волновало нежный ум…” Пушкин среди книг и друзей», вышедшая в издательстве «Наука» в 1965 году. Книга была удостоена обществом «Знание» премии и звания лауреата Всесоюзного конкурса научно-популярной литературы, а ее автор в свои 88 лет был принят в Союз писателей СССР.

В 1973 году, когда А. Гессену исполнилось 95 лет, издательство «Наука» выпустило книгу «Рифма, звучная подруга…» (остальные книги автора были изданы «Детгизом»), которая явилась продолжением предыдущей книги и тоже состояла из этюдов, посвященных жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Главный редактор издательства Академии наук СССР профессор Н. Сикорский, отвечая на вопрос, заданный ему корреспондентом журнала «В мире книг» (июнь 1974 г.):

– В чем секрет, почему не потерялись книги Гессена в книжном океане Пушкинианы, а обрели свое особое место, стали

своеобразным явлением, не только пушкиноведения, но и гораздо шире – нашей духовной жизни? – отвечал:

– На мой взгляд, секрет состоит в том, что писателю удалось отобрать из Пушкинианы самые значительные, самые интересные в общественно-литературном смысле факты и изложить их с тем изяществом и тактом, чувством «соразмерности и сообразности», которые достойны Пушкина и во многом близки его собственным литературным приемам. Да к тому же все это согрето теплом сердца истинного патриота великой страны Пушкина. И поэтому, читая и перечитывая очерки Гессена, каждый раз испытываешь истинное наслаждение. Они, мне кажется, никого не могут оставить равнодушным.

Действительно, полностью разделяя с мнение профессора, согласимся, что уже сами названия книг – «Набережная Мойки, 12», «Все волновало нежный ум…», «Москва, я думал о тебе!», «Во глубине сибирских руд…», «Рифма, звучная подруга…» – как бы вводят нас в мир, одухотворенный мудрой и исполненной неизъяснимой прелести пушкинской поэзией, которая так близка сердцу читателей, названных поэтом в предсмертном лирическом завещании:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Завершающим аккордом гессеновской Пушкинианы стала монография «Жизнь поэта», выпущенная издательством «Детская литература» в конце 1972 года. Однако в средствах массовой информации, в том числе по радио и телевидению, голос исследователя жизни и поэтического творчества А. С. Пушкина продолжал звучать практически до последних дней его жизни.

Мне безмерно повезло в том смысле, что с творчеством Арнольда Ильича Гессена я познакомился уже в самом начале его стремительного вхождения в священный храм поэтической Пушкинианы. Будучи студентом физического факультета Томского Государственного университета имени В. В. Куйбышева, я, как и многие студенты других факультетов, посещал всеуниверситетский литературно-исторический семинар, организованный кафедрой русской и советской литературы историко-филологического факультета, который вел заведующий кафедрой профессор В. Бабушкин. Тонкий знаток современного литературного процесса, он внимательно следил за публикациями в литературно-художественных журналах, появившимися в период

хрущевской политической оттепели. Так, темой двух или даже трех семинаров стал критический разбор первого (из допущенных к печати) произведения А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», опубликованного в журнале «Новый мир».

Однажды в списке новых поступлений в Научную библиотеку ТГУ, который еженедельно вывешивался на доске объявлений при входе в «Научку» (так на студенческом сленге называлась библиотека, где большинство студентов проводили свободное от лекций и семинаров светлое время суток), я прочитал: А. И. Гессен. Набережная Мойки, 12. Последняя квартира А. С. Пушкина. – М., «Детская литература», 1960. Будучи «пушкинофилом», я заказал книгу на предстоящий выходной день, в течение которого буквально «проглотил» ее, но, что самое удивительное, темой предстоящего «Бабушкинского семинара» было творчество писателей «клана Гессенов».

Во вступительном слове руководителя семинара я и, пожалуй, большинство присутствующих впервые услышали имена писателей, поэтов и литературоведов «клана Гессенов» (это определение использовал сам профессор): Иосиф Владимирович Гессен, Владимир Матвеевич Гессен, Алексей Владимирович Гессен, Сергей Яковлевич Гессен, Юлий Исидорович Гессен. Звучали и другие имена, которые я тогда не запомнил, но позднее познакомился с творчеством и названных, и других, тогда не упомянутых профессором Гессенов. Затем с краткими докладами выступили члены семинара, в основном студенты старших курсов и аспиранты историко-филологического факультета, которым профессор заранее давал соответствующие темы. Хорошо запомнилось выступление одного аспиранта на тему: «Лирика поэта-белоэмигранта Алексея Гессена», который обнаружил сходство некоторых стихов рано ушедшего из жизни поэта со стихами С. Есенина – тонкого лирика, певца уходящей в небытие дореволюционной России. До сегодняшнего дня хранится в моем домашнем архиве подборка стихов А. Гессена, полученная в качестве «раздаточного материала» на семинаре более чем 50-летней давности. Среди них вот такой шедевр:

Все мне снится у берега Сены,
Вспоминается Невский простор…
Допущу ли себя до измены,
Заслужу ли суровый укор?!

Мелкой рябью подернуты лужи,
И скользит на асфальте нога…
О, январские лютые стужи,

Голубые родные снега!

Здесь закат нарумянен и розов,
Как улыбка смеющихся уст,
Но я помню Крещенских морозов
Треск, и скрип, и сверканье, и хруст.

Тают в медленной пляске снежинки,
Но я вижу почти наяву…
Заметенные вьюгой тропинки
Через снежно-немую Неву.

Допущу ли себя до измены,
Заслужу ли суровый укор?!
Все мне снится у берега Сены,
Вспоминается Невский простор.

Столь пронзительный поэтический дар Алексей Гессен, похоже, унаследовал от своего отца Владимира Матвеевича Гессена (1868–1920) – известного государственного деятеля, участника первой мирной конференции в Гааге в 1899 году, одного из создателей партии кадетов и членов ее ЦК, от этой партии избранного во 2-ю Государственную Думу, издателя газеты «Право». Несмотря на свою многогранную общественную деятельность, В. М. Гессен большое внимание уделял преподавательской работе, будучи специалистом по государственному праву, видным юристом, профессор преподавал в Императорском Александровском Лицее, Политехническом институте, Петроградском университете, на Высших Женских курсах. Он к тому же был творчески одаренной личностью: известен в то время был сборник его стихов «Желтые листья» (1911 г.), посвященный рано умершей первой жене – матери его старших сыновей – Николая и Алексея. Композитор Цезарь Кюи использовал его стихи в своем произведении для хора, а В. Ден сочинил романс на стихотворение В. Гессена «В безмолвном сумраке ночей…», который в свое время был очень популярен.

Следующим докладчиком был студент 4-го курса ИФФ, начинающий поэт «З.», стихи которого печатались в местных газетах и декламировались на студенческих вечеринках-капустниках. В будущем он стал известным сибирским краеведом и прозаиком. Темой его выступления был анализ творчества малоизвестного для нас в то время ученого-пушкиниста Сергея Яковлевича Гессена (1900–1937). В самом начале своего выступления докладчик привел несколько фактов непростой

биографии ученого и его краткую родословную. Отцом С. Гессена был видный юрист Яков Матвеевич Гессен (1869–1942), возглавлявший в Петербурге издательство «Право» и одноименную газету. После 1918 года он стал одним из ответственных работников Главнауки, руководил научными и художественными учреждениями Ленинграда, с 1926 года работал в Публичной библиотеке. Подвергался преследованиям властей, в основном за свои родственные связи с Иосифом Владимировичем Гессеном, который доводился ему троюродным братом, умер во время блокады Ленинграда. Интересно отметить, что Я. М. Гессен был не только троюродным братом И. В. Гессена, но и женат был на своей троюродной сестре Сабине – родной сестре И. В. Гессена, речь о котором впереди.

Сергей был младшим сыном Я. М. Гессена и также преследовался советскими властями ровно за те же «преступления», что и его отец. Старшие братья Михаил (1897–1952) и Савелий (1899–1942) стали экономистами, один из них (Савелий) провел три года в ссылке, погиб на фронте, искупив кровью «родословный грех». Сергей Гессен, которому судьба готовила трагический исход, не дожив до своей «Голгофы», погиб в результате несчастного случая (задавлен автомобилем, управляемым нетрезвым водителем). Однако в конце XX столетия известный неопушкинист Александр Лацис выдвинул весьма правдоподобную версию, что это было тщательно спланированное убийство[1]. Свои публикации по результатам исследования творческой жизни А. С. Пушкина С. Гессен начал в двадцатилетнем возрасте. В 1921 году вышла уже его первая книга-исследование «Пушкин и декабристы», а затем практически ежегодно выходили все новые и новые книги о Пушкине и декабристах: «Аракчеев в поэме Пушкина» (1922 г.), «Декабристы перед лицом истории» (1926 г.), «Пущин и Пушкин. Каторга и ссылка» (1926 г.), «Разговоры Пушкина» (в соавторстве с Л. Б. Модзалевским), «Книгоиздатель Александр Пушкин» (1930 г.), «Пушкин в Коломне» (1930 г.), «Источники 10-й главы Евгения Онегина» (1932 г.). В 1934 году С. Гессен был приглашен на работу в Институт Русской Литературы (ИРЛИ) – Пушкинский дом, где в полную силу раскрылся его талант исследователя и публициста. За три года до своей трагической гибели (25.01.1937 г.) он написал еще 6 книг и свыше восьмисот статей о Пушкине и декабристах. Был автором комментариев к сочинениям А. С. Пушкина и секретарем редакции семнадцатитомного академического полного собрания его сочинений, в том числе автором вступительной статьи к 12 тому «Современники о Пушкине», которая со значительными дополнениями вышла в Ленинградском отделении

Гослитиздата в виде отдельной книги – «Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников» (1936 г.).

Поскольку родители С. Гессена-пушкиниста и А. Гессена-поэта были родными братьями, Сергей и Алексей, двоюродные братья, скорее всего, хорошо знали друг друга.

Следующие два выступления касались творчества Сергея Иосифовича Гессена (1877–1950 гг.) и Юлия Исидоровича Гессена (1871–1939 гг.). С. И. Гессен, сын наиболее известного представителя «клана Гессенов», окончил юридический факультет Петербургского университета, а дальнейшее философское образование продолжил в Германии, в университетах Гейдельберга и Фрейбурга, где занимался под руководством известных немецких философов Г. Риккерта, В. Виндельбанда и Б. Ласка. В 1909 году защитил в Германии докторскую диссертацию «Об индивидуальной причинности». Вернулся в Россию в 1910 г. с контрактом на издание на русском языке международного историко-философского ежегодника «Логос», который выпускал в Москве с группой своих единомышленников до начала Первой мировой войны.

С. И. Гессен стал известным знатоком философии и педагогики, автором многих научных работ, членом ряда научных обществ. Так, в 1911 г. и в последующем он был товарищем председателя Петербургского философского собрания, преподавал в гимназии М. Н. Стоюниной, а также в мужских и женских классах Петершуле при лютеранском приходе. В декабре 1911 г. он был допущен к сдаче магистерского экзамена на историко-филологическом факультете Петербургского университета, продолжавшейся до сентября 1913 г. 9 ноября этого года на заседании совета факультета прочел пробные лекции, признанные удовлетворительными, и с 1 января 1914 г. был принят в качестве приват-доцента, разработал новый курс – «Этика Канта». В 1913–1917 гг. С. И. Гессен, уже в качестве приват-доцента Петербургского университета, читал лекции по логике, психологии, педагогике и ее истории, проблемам становления политической свободы при социализме.

Летом 1917 г. он был приглашен для работы в качестве профессора кафедры философии и логики на историко-филологический факультет Томского университета и 6 ноября прочел там первую лекцию, посвященную философии науки. С 20 октября 1919 г. он был и. о. декана этого факультета, преподавал следующие дисциплины и курсы: логика, основы теоретической философии, история греческой философии, введение в философию нравственности и права, этика и философия права, философия Канта, основы педагогики. Вел просеминарий по философии. Его лекции собирали большую аудиторию и пользовались

популярностью, кроме студентов названного факультета, его слушали юристы и медики, учителя Томска. Он вел семинарские занятия и читал лекции по педагогике также на учительских курсах и в Учительском институте. В сентябре 1919 г. выступил с проектом открытия при университете педагогического института. Тогда же изучал труды Аристотеля, Галилея, теорию относительности Эйнштейна, выступил с докладом в Обществе физиков при университете, развил и обосновал концепцию так называемого «демократического социализма» как четвертого этапа в развитии современного государства, реализующего во всей полноте идеи прав человека и его свободу. Летом 1921 г. он был командирован в Москву и Петроград для получения финансирования, подбора недостающих кадров преподавателей, книг для библиотек и учебных пособий.

Но в период крайней разрухи после Гражданской войны он не смог ничего добиться для своего университета. Видимо, тогда приходит решение покинуть Россию, к чему призывал его отец, находившийся в Берлине и не без оснований опасавшийся за его жизнь в условиях преследования инакомыслящих. И первым этапом в осуществлении замысла, несомненно, стал его перевод на кафедру педагогики Петроградского университета. В декабре 1921 года, получив помощь, организованную отцом, С. И. Гессен с семьей бежал в Финляндию. Обосновывая свой непатриотический поступок, он впоследствии писал: «Мне со все большей и большей настойчивостью преподносился план отъезда моего за границу. Мне казалось, что в условиях все более прикручивающейся диктатуры я не смогу открыто высказывать свою точку зрения на марксизм, социализм, правовое государство, цель воспитания и реформу школьной системы. Атак как я не смогу и затаить своих мыслей на эти темы, то неминуемо попаду в конфликт с правительством, что в лучшем случае окончится удалением меня из университета»[2].

Что в этом высказывании превалирует: наивность великого ученого, как бы отрешившегося от реальной действительности, или предчувствие необычайно дальновидного пророка? Близкие родственники, да и не только близкие – вплоть до четвертого колена Иосифа Владимировича Гессена, оставшиеся в России, почти поголовно были репрессированы, а тут родной сын! Вряд ли он дожил бы до грозного 37-го года, однако судьба обернулась таким образом, что и заграница страной обетованной ему не стала.

Из Финляндии С. И. Гессен направился в Берлин, где продолжил научную и преподавательскую работу, с лета 1922 г. – во Фрейбурге, вторую половину этого года – в Иене. В 1923–1924 гг. читал лекции по логике в недавно созданном Русском научном

институте в Берлине, был включен в его ученую коллегию, делал доклады в Вольно-философской ассоциации, участвовал в деятельности Русской религиозно-философской академии. Издательство «Слово» выпустило главное его произведение – «Основы педагогики. Введение в прикладную философию». В предисловии он писал: «Как философа меня привлекала возможность явить в этой книге практическую мощь философии, показать, что самые отвлеченные философские вопросы имеют практическое жизненное значение».

Весной 1924 г. он получил место профессора педагогики в только что образованном Русском педагогическом институте в Праге, где преподавал в течение четырех лет, выступал также с лекциями в Русском народном университете, в Русском философском обществе, членом которого он некоторое время состоял. Он выступал и в других местах по всей Чехословакии, в том числе в обществе Духновича в Предкарпатской Руси, и во многих других странах: в Берлине (Русский научный институт), в Вене (Кантовское общество), в Лондоне (Школа славистических исследований), в Париже (Русский институт социальных знаний), в университетах Бреславля и Мюнстера, в Варшаве, Кракове, Ковно, Кембридже, Ревеле, Риге – везде принимали С. И. Гессена, свободно изъяснявшегося на многих европейских языках. В 1931–1932 гг. он читал на чешском языке курс политики народного образования в Пражской учительской семинарии, в начале 1930-х гг. был деятельным участником Славистического общества при Немецком университете в Праге и Пражского лингвистического кружка. В последнем он сделал доклад о ступенях преподавания родного языка в школе. Был также членом чешского Славянского института и Философского кружка, объединявшего чешских, немецких и русских философов, математиков, лингвистов.

Круг научных интересов С. И. Гессена был необычайно широк. Так, в 1926 году секретарь Берлинского комитета помощи русским литераторам и ученым направил послания американским профессорам, рекомендуя им ученых из России в качестве преподавателей, приложив к нему их краткие характеристики, где о С. И. Гессене было сказано, что он «читает предметы: логика, теория знаний, философия истории, философия права, история классической философии, история новой философии, Кант и его время, история германского идеализма, педагогика, организация народного образования, а также делает специальные доклады по проблемам этики, педагогики, истории философии, истории русской философии, истории русской педагогики, истории социализма, истории мысли в России». Было указано, что с 1909 по 1926 год он опубликовал 16 работ, из которых первой была статья «Александр

Герцен» в альманахе «Vom Messias» (Leipzig, 1909).

В 1935 году С. И. Гессен переехал в Варшаву, получив прельстившее его предложение педагогического факультета Свободного польского университета занять кафедру философии воспитания и оставив в Праге жену Нину Лазаревну, с которой разошелся, и сыновей. В Варшаве он, помимо связанных с этой должностью занятий, читал лекции в Варшавском университете, в Институте социальной педагогики, выступал публично. Был избран членом Варшавского филологического общества, почетным членом Хорватского научного общества в Загребе, заграничным членом Школы славистических исследований в Лондоне.

Избежав гибели во время немецкой бомбардировки Варшавы в 1939 году, он эвакуировался с университетом в Лодзь. Но в годы войны в основном жил в деревне, вел подпольные занятия по философии с отдельными группами слушателей, не раз подвергался смертельной опасности, однажды после очередной облавы был случайно выпущен: видимо, главный среди немцев оказался бывшим его студентом. На краю гибели он находился и во время восстания в Варшаве в 1943 году, где тогда был. Во время войны были уничтожены все его рукописи, некоторые он потом пытался восстановить. И все же остается вопрос: как он, на 50 процентов еврей, сумел выжить, находясь пять лет среди нацистов и их прислужников? На него Н. О. Лосский ответил так: он сумел убедить немцев, что он целиком русского происхождения, что является не родным сыном И. В. Гессена, а приемным[3].

Более сурово судьба обошлась с членами семьи С. И. Гессена. Его сын Евгений в 1929 году окончил русскую гимназию в Праге, затем два года учился в Политехническом институте в Бельгии, вернулся в Прагу и поступил в немецкий Политехнический институт, был одним из самых одаренных членов содружества молодых поэтов из России «Скит». Два из четырех выпущенных ими сборников под таким названием открываются его произведениями. Успел напечататься в ряде других изданий. Был схвачен гитлеровцами в Праге, препровожден в концлагерь Терезни, а затем в сентябре 1944 года в Освенцим, где и погиб в 1945 году во время «марша смерти» заключенных одного из концлагерей. Вместе с Евгением была схвачена и его мать Нина Лазаревна, бывшая жена С. И. Гессена. В одном из концлагерей г. Терезин она вскоре погибла, поскольку вела себя, с точки зрения нацистов, вызывающе – выставляла напоказ свое раввинское происхождение.

Младший сын Дмитрий сумел выжить в этой адской мясорубке. В начале войны, в 1939 году, он был призван в польскую армию (в 1937 году он переехал к отцу в Варшаву, где изучал славистику в университете), участвовал в боях с немцами, попал в

плен, из которого сумел бежать. Занимался подпольной деятельностью. После войны работал в польском МИДе, а затем в министерстве культуры. Длительное время работал над научным трудом, в котором сопоставляются «крылатые слова» русского и польского языков. Был соавтором при составлении «Большого польско-русского словаря», выдержавшего несколько изданий.

После войны С. И. Гессен читал курс по философии права на юридическом факультете Лодзинского университета, а также специальные курсы по философии Платона, Аристотеля, Руссо, начал писать мемуары. Умер в Лодзи 2 июля 1950 года, в некрологе Ф. Степун[4] писал: «Случайное, почти чудесное спасение от гитлеровского налета на столицу Польши, страшная, трагическая смерть родных и очень близких людей в нацистских концлагерях, и в результате совершенно подорванное здоровье. Как все это можно было пережить? Но С. И. Гессен пережил и даже не потерял присущей ему бодрости. Его письмо из Польши, полученное мною в 1946 г., было полно планов всевозможных работ и даже радости, что мы снова можем переписываться».

Научное и литературное наследие С. И. Гессена велико. По некоторым сведениям общее число опубликованных им научных работ приближается к 100. Кроме фундаментальной монографии «Основы педагогики» (1925 г.) следует назвать: «Мистика и метафизика» («Логос», 1910); «Философия наказания» (там же, 1912 г.); «Крушение утопизма» (1924 г.); «Проблемы правового социализма. Эволюция социализма» (1926 г.); «Монизм и плюрализм в систематике понятий» (1928 г., Прага); «Трагедия добра в "Братьях Карамазовых"» (1928 г.); «Школа и демократия на переломе» (1938 г.); в том же году – «О противоречиях и единстве воспитания»; монография «Русская педагогика в XX веке» (1939 г.).

В Советском Союзе труды С. И. Гессена, равно как и его отца И. В. Гессена, замалчивались, поскольку оба были объявлены властями «врагами народа». Впервые избранные сочинения С. И. Гессена были изданы в России в 1999 году, а российская научная и педагогическая общественность узнала о своем знаменитом соотечественнике из статьи Е. Г. Осовского, опубликованной в июньском номере журнала «Педагогика» за 1993 год «С. И. Гессен: странности судьбы». В 2001 г. издательством «Орбита-Принт» была выпущена небольшая брошюра В. А. Кравцова «Философско-педагогическая теория С. И. Гессена», из которой российский читатель впервые узнал, что русскому ученому принадлежит приоритет в разработке философско-педагогического научного направления: «Философия педагогики» или «Педагогическая философия» – кому как нравится.

А теперь обратимся к литературному творчеству Юлия Исидоровича Гессена – всемирно известного ученого-исследователя «еврейского вопроса». Родился в Одессе в 1871 году. Его дед Юлий (Иуда) Мунишевич Гессен был купцом 2-ой гильдии, активно участвовал в еврейской общественной жизни. Почти 15 лет он был попечителем одесской Талмуд-Торы, руководил ее преобразованием[5]. Основная деятельность его отца Исидора (Израиля) Юльевича была связана с Русским обществом пароходства и торговли, в котором он заведовал Днестровской линией. Он был автором нескольких работ по хлебному экспорту, участвовал в еврейской общественной жизни Одессы[6].

Ю. И. Гессен закончил в Одессе Коммерческое училище. Высшее образование он не получил, так как не хотел во время учебы зависеть от отца, настаивавшего, чтобы сын делал торгово-промышленную карьеру. Первыми произведениями молодого одесского служащего были фельетоны, рассказы и стихотворения, в основном посвященные еврейской теме. Они печатались в различных периодических изданиях Одессы и Санкт-Петербурга.

В 1896 году он переезжает в столицу империи, где первые восемь лет служит в банке. Одновременно Ю. И. Гессен все более расширяет сферу своих исследований по истории евреев в России. С конца XIX в. он принимает участие во многих еврейских газетах и журналах. В автобиографии Ю. И. Гессен пишет: «Начав свою литературную деятельность в 1895 г., я уже вскоре посвятил себя изучению исторических наук. Бесправное положение евреев вынудило меня сосредоточить главное внимание на их истории в России. А так как литература была крайне бедна, то я стал изучать историческое прошлое евреев по рукописным материалам в ряде правительственных архивов». На основе этих исследований им были в дальнейшем рассмотрены основные вопросы правовой, общественной и экономической жизни еврейства на территории Российской империи, включая Польшу, Прибалтику и Финляндию.

В 1898 г. Ю. И. Гессен опубликовал свой перевод с немецкого языка на русский программной работы Л. Пинскера «Автоэмансипация! Призыв русского еврея к своим соплеменникам». Как известно, это произведение стало важной вехой в духовной жизни российского еврейства. В 1900–1901 гг. его работы в основном печатались в еженедельнике «Будущность». Первой была статья «Сто лет назад», в которой рассказывалось о начале просветительного движения среди евреев в конце XVIII – начале XIX веков.

В 1902 г. статьей «К истории «средневековых» обвинений» он начал борьбу против обвинений евреев в ритуальных убийствах. Вокруг этого мифа возникла целая «кровавая» литература, и ее

разоблачению Ю. И. Гессен уделял большое внимание на протяжении многих лет. Особенно подробно он изучил одно из наиболее трагических проявлений этих вымыслов на практике – Велижскую драму, дело, по которому в ритуальном убийстве обвинялась в 1823–1833 гг. целая группа евреев.

Существенное место в исследованиях Ю. И. Гессена занимает история создания черты еврейской оседлости. При определении причин ее образования он основное значение придавал экономическим интересам русского купечества, ставя религиозные вопросы на второй план. Наиболее значительной для изучения этой проблемы является статья «Закон и жизнь. Как созидались ограничительные законы о жительстве евреев в России», которая появилась в 1911 г. перед обсуждением в Государственной думе законодательного предложения 166 депутатов об отмене черты оседлости. Она была замечена как сторонниками, так и противниками дискриминационных мер.

Ю. И. Гессен в 1907 г. был одним из инициаторов создания «Общества для научных еврейских знаний», задачей которого являлось издание трудов по истории, культуре и жизни еврейского народа в России. Основной заботой общества была организация подготовки и выпуска в 1908–1913 гг. 16-томной «Еврейской энциклопедии» на русском языке. Все эти годы Ю. И. Гессен был секретарем общей редакции энциклопедии, а также редактором VIII раздела «Евреи в России с 1772 г.»: он был автором более 20 крупных статей, столько же написал и в соавторстве. В автобиографии он писал: «Я руководил работой по составлению и редактированию всего издания и вместе с тем поместил много статей, написанных по первоисточникам».

В 1906 г. Ю. И. Гессен выпустил сборник своих работ «Евреи в России. Очерки общественной, правовой и экономической жизни русских евреев», в который вошли основные из созданных им произведений. В этом же году Ю. И. Гессен публикует одно из наиболее ценных своих исследований – книгу «О жизни евреев в России. Записка в Государственную думу», в которой был дан юридический и социальный обзор положения русского еврейства за 130 лет. Эта книга была распространена Союзом для достижения полноправия еврейского народа в России среди членов II Государственной думы и Государственного совета и сыграла определенную роль при обсуждении еврейского вопроса. Будучи членом комитета и секретарем одной из национальных политических организаций – Союза для достижения полноправия (1906–1907), участвовал в компаниях по выборам еврейских депутатов в Государственную думу.

Позднее Ю. И. Гессен писал: «Все очерки и статьи, которые я

систематически разрабатывал по намеченному плану в течение многих лет, позволили мне, наконец, приступить к составлению общего труда по истории евреев в России. Первоначально я составил краткую «Историю евреев в России» за период с XVII века по 1880-е годы (1914 г.). Затем я выпустил I том моей более обширной «Истории еврейского народа в России», охватывавшей период пребывания евреев на территории России с древнейших времен до 1825 года».

В период после 1914 г. Ю. И. Гессен начал готовить значительно расширенное издание этого труда. Первоначально он предназначался в качестве глав для коллективной работы «История еврейского народа», выпуск которой готовился московским издательством «Мир». В целом работа была рассчитана на 15 томов: первые десять посвящены изложению всеобщей истории евреев с древнейших времен, а последние пять – их истории в России. Под редакцией Ю. И. Гессена вышел XI том – первый из «русской» серии, в котором участвовали другие авторы. Но уже в XII томе должна была начаться публикация его труда по истории евреев в России. Однако сложности, связанные с началом мировой войны, уход ряда сотрудников на военную службу и возникшие в редакции разногласия привели к прекращению выпуска томов. Вследствие этого он решил опубликовать свою работу в виде отдельного издания, первый том которого под названием «История еврейского народа в России» вышел в 1916 году с пометкой: «Второй том готовится к печати». Но усиливающаяся в стране разруха и последовавшие революции надолго отсрочили его выпуск. К сожалению, полный текст этого тома не сохранился.

После Февральской революции 1917 года Ю. И. Гессен решил организовать издание «Еврейского исторического журнала», намереваясь пригласить видных еврейских ученых: Я. И. Израэльсона, С. А. Анского, С. Г. Лозинского, И. В. Галанта. Но последующие события жизни перечеркнули это начинание.

В период, последовавший после большевицкой революции в 1917 году, тематика публикаций Ю. И. Гессена постепенно меняется: еврейская история все больше вытесняется другими темами. За всю послеоктябрьскую жизнь, а это 22 года, ему удалось напечатать только 14 работ по истории евреев, то есть немного по сравнению с более чем 170 за предшествующие 19 лет научной деятельности. К началу 30-х гг. еврейская историография в стране, в силу разных причин, прекратила свое развитие и Ю. И. Гессен так же, как и многие другие историки, был вынужден или работать «в стол», или сосредоточиться на другой проблематике.

В 1918–1920 гг. Ю. И. Гессен работал в Главном архивном управлении, занимаясь научной работой. В эти годы он немало

сделал для сохранения еврейских документов, находившихся в различных архивах Петрограда и прилегающих районов. В 1919–1923 гг. он читал лекции по истории евреев в России в Петроградском институте высших еврейских знаний.

В начале 20-х годов Ю. И. Гессен постоянно искал возможность опубликования II тома «Истории еврейского народа в России». После выхода I тома прошло уже много лет, и сама книга была распродана. В 1923 г. в приложении к сборникам «Еврейская летопись» были перепечатаны в сокращении первые пять глав I тома из издания 1916 г. Однако в дальнейшем этот сборник выходил нерегулярно и постепенно публикация прекратилась. Ю. И. Гессен начал готовить специальное издание I и II томов, которое и было осуществлено в 1925 и 1927 гг. По материальным причинам, а это издание осуществлялось за счет автора, объем I тома составил только половину от его выпуска в 1916 г. Были исключены все рисунки и карты. Что касается текста, то наиболее значительные сокращения коснулись описания периода с момента появления евреев на территории России до эпохи Петра I, истории евреев в Польше и Литве, истории религиозной борьбы среди еврейства, обстоятельств ряда еврейских погромов, характеристики «внутренней» жизни еврейских общин. Видимо, в таком же размере был сокращен и ранее подготовленный им II том[7].

Последняя из статей Ю. И. Гессена, посвященная еврейской тематике, «Социально-экономическая борьба среди евреев России в 1830–1850 гг. (Вокруг податных повинностей и рекрутчины)», была напечатана в 1926 г. в журнале «Еврейская летопись». Надо отметить, что в предыдущем номере этого журнала была объявлена другая его статья: «Антиеврейские погромы 80-х годов как явление русской общественной жизни». Однако это произведение так и не увидело свет.

Некоторые крупные произведения Ю. И. Гессена остались в рукописи и погибли в годы блокады Ленинграда. К их числу относится «История евреев в Курляндии до конца XVIII века», написанная по немецким источникам «История антисемитизма в России», мемуары.

В 30-е годы Ю. И. Гессен тратил все свои силы на работы по истории труда в России. В 1930–1935 гг. он редактировал «Вестник Академии наук СССР», в 1937 г. под его редакцией и при активном участии как автора вышел I том работы по истории металлургических заводов в России. С конца 1935 г. он занимался историей полярных исследований, почти полностью подготовил труд по освоению Арктики, с 1936 г. работал в Архивном управлении Ленинграда. За четыре месяца до смерти,

последовавшей 22 августа 1939 г., ему была присвоена после четырех лет рассмотрения в утверждающих инстанциях ученая степень доктора исторических наук.

Эпитафией Ю. И. Гессену как историку еврейского народа в России могли бы послужить его же слова: «Наше прошлое печальное и отрадное – это великий учитель, который нас учит жить, страдать и надеяться; оно учит нас ценить духовное достояние, наследие наших предков, и не менять его на призрачные житейские блага»[8].

Темой следующего семинара звучала так: «Жизнь, литературная, научная и общественная деятельность Иосифа Владимировича Гессена», имя которого неоднократно звучало на предыдущих семинарах, поскольку он был, по существу, старейшиной и идейным вдохновителем творчества всех остальных членов «клана Гессенов». Это был даже не семинар, а 2-х или даже 3-х часовая лекция самого профессора Бабушкина, а после перерыва 2-х часовая сессия ответов на вопросы его благодарных слушателей. Я, насколько мог, законспектировал содержание этой блестящей лекции, впоследствии дополнял сохранившиеся до сегодняшнего дня торопливые записи сведениями, почерпнутыми из других источников, и постараюсь кратко изложить «Путь И. В. Гессена» – так называл я этот материал, подобно известному роману М. Ауэзова «Путь Абая».

Нынче достаточно уверенно можно утверждать, что корни российского «клана Гессенов» – на территории современной Германии, на земле Гессен, куда средневековые предки Гессенов пришли из Испании после изгнания из нее иудеев, не пожелавших принимать христианство. Скорее всего, это случилось в конце XV века, в пользу чего свидетельствует часто встречавшееся в старину у представителей клана имя Муниш, близкое к испанскому Муньес. Установлено, что представители этого клана принадлежат к евреям-сефардам, в отличие от евреев-ашкенази – выходцев из Центральной Европы и собственно из исторической родины иудеев – Израиля. Версия о североафриканских корнях евреев-сефардов «клана Гессенов» в какой-то степени подтверждается внешним видом большинства представителей этого рода, в том числе и Арнольда Ильича Гессена.

Двоюродный племянник Иосифа Владимировича Гессена Гессен Валерий Юльевич (р. 1927 г.), написавший, как мы уже рассматривали выше, предисловие к книге своего отца Ю. И. Гессена «История еврейского народа в России», нашел документальное подтверждение тому, что в XVIII веке в городе Балта, который в то время находился на землях Речи Посполитой (Польши), жил мещанин Ицик Гессен – прапрадед Иосифа

Владимировича Гессена, родившийся примерно в 1745 году[9]. Из его детей, которых, как полагает В. Ю. Гессен, было немало, хорошо известно только имя Муниша – прадеда И. В. Гессена (ок. 1780–1838), жившего там же. В 1793 году, после второго раздела Польши между европейскими державами, Балта вошла в состав Российской империи и сейчас находится в северной части Одесской области Украины. Муниш Гессен в самом конце 1700-х годов переехал в молодой город Одессу, где с 1808 г. числился купцом 3-й гильдии, а затем 2-й. Одним из сыновей Муниша Гессена был Иуда, дед И. В. Гессена (1808–1873), звавшийся также уменьшительно Юдка, как это было принято в Польше, или Юлий, как это было принято в Малороссии. Краткие сведения о жизни Юлия Муншевича Гессена упомянуты выше, поскольку он был дедом не только Иосифа Владимировича Гессена, но и Юлия Исидоровича Гессена – автора «Истории еврейского народа в России».

У Юлия Гессена было четыре сына и три дочери, давшие многочисленное потомство, расселившееся сначала в Малороссии, а затем и за пределами черты оседлости, в том числе и в столичных городах России. К рассматриваемому «клану Гессенов» «причастны» лишь младшие сыновья Саул (Шоэль, Савелий) (1833–1894) и Израиль (Исидор) (1840–1925), сыновья которых – Иосиф Владимирович (1865–1943) и Юлий Исидорович (1875–1934) – являются, таким образом, двоюродными братьями. У Саула, или на русский манер – Савелия Юльевича, было также четыре сына и столько же дочерей, так что род Гессенов стремительно множился по законам геометрической прогрессии. То обстоятельство, что все братья Иосифа по отчеству Савельевичи, а он Владимирович, связано с принятием при крещении православного отчества, и впоследствии он писал, что инстинктивно испытывал «…стыд перед отцом, которого… лишил загробного утешения, не имея права, как «мешумед» (выкрест), произносить поминальную молитву об упокоении души умершего». Ниже мы узнаем, что заставило И. В. Гессена пойти на такой шаг.

Савелий Юльевич (отец Иосифа Владимировича) так же, как и его младший брат Исидор Юльевич, занимался торговлей зерном и был преуспевающим купцом. Но в конце 1880-х годов потоки зерна вместо Одессы устремились в другие порты Черного моря, а потом на север, на Балтику и он разорился, тяжело переживал это и умер практически в бедности. О матери И. В. Гессена известно, что она, в отличие от небольшого и щуплого мужа, была «высокой, пышной, черноволосой и белотелой, очень красивой», как писал сам Иосиф Владимирович. Ее родители были весьма зажиточными людьми из Екатеринослава (ныне Днепропетровск), ее двоюродная сестра была замужем за троюродным братом отца И. В. Гессена –

Ициком (Исааком) Гессеном, отцом Юлия и Бориса Исааковича Гессенов – в будущем единственных действительно богатых представителей всего рода («богатые Гессены» – родственники их так и называли), живших тогда в Никополе.

Юлий Исаакович Гессен (1870–1931) получил инженерное образование, поселился в Петербурге, стал директором пароходных объединений. С братом Борисом, купцом 1-й гильдии (1875—?), владельцем страховых и транспортных компаний, создал крупнейшее по тому времени пароходное акционерное общество – «КАМВО», объединившее многие компании со сферой действия от Балтики до Персии. Оба потом эмигрировали, поддерживали белое движение. Борис Исаакович до конца сохранил непримиримое отношение к большевикам, а Юлий Исаакович пытался быть посредником при создании иностранных концессий в СССР, но в конце концов его в Москве арестовали, обвинили в шпионаже, приговорили к расстрелу. Однако он умер в тюрьме, не дождавшись исполнения приговора.

Старший брат И. В. Гессена – Михаил (Муниш) Савельевич Гессен – имел аптеку в Одессе, затем благодаря протекции брата перебрался в Москву, где тоже имел аптеку, но когда после Октябрьской революции ее конфисковали, был простым провизором. Дальнейшая судьба его неизвестна. Скорее всего, он также поплатился жизнью за своего брата.

Младший брат И. В. Гессена – Юлий (Иуда) Савельевич Гессен – в связи с разорением отца вынужден был помогать семье. Работал по коммерческой части в разных фирмах в Батуми, Ростове-на-Дону. В 1908 году перебрался в Петербург, не без помощи старшего брата, где поступил в «Русский для внешней торговли банк», в котором прослужил до 1918 года. До выхода на пенсию по болезни в начале 1930-х годов служил в разных коммерческих должностях. Умер в 1934 году, не дожив до Голгофы 1937 года, когда всех близких (и не очень близких) родственников И. В. Гессена репрессировали. Старший сын Константин Юльевич Гессен (1903–1983), инженер, в 1930 году был арестован, обвинялся в антисоветских разговорах, а также в родстве с белоэмигрантом И. В. Гессеном, попал в лагерь. Каким-то чудом избежал расстрела и жил во Владимирской области. Младший сын Виктор Юльевич Гессен (1908–1980) стал известным специалистом в области электротехники, доктором технических наук, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР. Ниже мы еще вернемся к этой личности.

Дочь Юлия Савельевича Гессена – Лидия Юльевна Рабинович (1903–1969) – закончила библиотечный факультет Института внешкольного образования, затем факультет общественных наук

Ленинградского университета, занималась преподаванием, библиотечной работой. Вышла замуж за Самуила Евгеньевича Рабиновича (1901–1938), политработника Красной армии, закончившего Военно-политическую академию, где он голосовал за троцкистскую резолюцию. С семьей он переехал в Москву, работал в редакции Военной энциклопедии, состоял в секретариате наркома по военным и морским делам К. Е. Ворошилова, готовил ему доклады, имел звание дивизионного комиссара, консультировал по военным вопросам слепого писателя Н. А. Островского, у которого Лидия Юльевна в 1936 г. была секретарем во время написания им романа «Рожденные бурей». В 1938 г. С. Е. Рабинович был расстрелян, семья выселена из дома, только чудо спасло ее от высылки в Сибирь.

Обе дочери Лидии Юльевны – Майя Самуиловна (род 1928 г.) и Ольга Самуиловна (род. 1933 г.) – со своими семьями впоследствии эмигрировали в Германию и Швецию, соответственно образовав там многочисленную «диаспору» «клана Гессенов».

Самый младший брат И. В. Гессена – Григорий (Гирш) Савельевич Гессен (род. 1883 г.) – в 1900 году также окончил Одесское коммерческое училище, потом в справочниках упоминался как инженер. Дальнейшая судьба его, равно как и всей его семьи, неизвестна. Похоже, что после Октябрьской революции он сумел эмигрировать за границу.

О судьбе трех сестер И. В. Гессена ничего не известно, а четвертая, Сабина Савельевна, вышла замуж за своего троюродного брата Якова Матвеевича Гессена (1869–1942), юриста, возглавлявшего в Петербурге издательство «Право», обеспечивавшего выпуск газеты с этим же названием, о чем уже упоминалось выше.

Дядей И. В. Гессену приходился Исидор Юльевич Гессен (1840–1925), купец 2-й гильдии, один из ведущих служащих Одесского отделения Русского общества пароходства и торговли. За свои заслуги он награждался царскими медалями, получил звание потомственного почетного гражданина.

Сын Исидора Юльевича, Михаил Исидорович (1872–1937), банковский работник, в 1935 г. был арестован и выслан с женой в Казахстан, где и умер. Его сын Сергей Михайлович Гессен (1898–1937), убежденный большевик, арестовывался еще Временным правительством, во время обороны Петрограда от войск Юденича был начальником политотдела 7-й армии, подавлял Кронштадтский мятеж. Потом был секретарем ЦК КИМа, членом Исполкома Коминтерна, заведовал агитпропом ЦК КП(б) Белоруссии, а потом занимал всё менее значительные должности, пока не был арестован, несколько раз судим (при этом ему

ставилось в вину родство с И. В. Гессеном) и расстрелян в Минске после жесточайших пыток. Дочь Михаила Исидоровича, Ирина Михайловна (1903–1994), была замужем за известным ученым-фармакологом Василием Васильевичем Закусовым (1903–1981), который был арестован в конце 1952 г. по «делу врачей», а жена его по этому же «делу» – в начале следующего года. Она, единственная из Гессенов, попавшая в эту кровавую драму, держалась мужественно, как могла, отрицала связь с И. В. Гессеном, с арестованными ранее родственниками и врачами. Оба реабилитированы после смерти вождя.

О старшем сыне Исидора Юльевича Гессена, также двоюродном брате И. В. Гессена – Юлии Исидоровиче Гессене – уже было сказано подробно выше. Добавить можно лишь следующие фрагменты. Его женой была Аделия Иосифовна Харитон (1876–1954), братом которой был журналист Борис Иосифович Харитон (1876–1941). Он был отцом Юлия Борисовича Харитона (1904–1996), трижды Героя Социалистического труда, одного из ведущих советских разработчиков ядерного и водородного оружия.

Сын Юлия Исидоровича Гессена, Даниил Юльевич Гессен (1897–1943), как и его племянник Сергей Михайлович Гессен, был активным участником революционных событий 1917 года, потом служил в Красной армии, был журналистом «Красной газеты» в Ленинграде и убежденным троцкистом. Подвергался преследованиям со стороны властей за участие в оппозиции, в 1930–1936 годах находился в Соловецком лагере особого назначения. На второй день войны его снова арестовали, но, несмотря на жестокие пытки, он до конца оставался преданным Л. Д. Троцкому и был расстрелян на Урале 24 февраля 1943 года.

Сыном Ю. И. Гессена от второго брака является Валерий Юльевич Гессен (р. 1927 г.), ставший библиографом и хроникером «клана Гессенов». Как уж отмечалось выше, он написал предисловие к книге своего отца «История Еврейского народа в России» при переиздании ее первого тома в 1995 году. Им написана монография «Жизнь и деятельность И. В. Гессена – юриста, публициста и политика», выпущенная издательством «Сударыня» (СПб., 2000 г.). В книге в развернутом виде приводится генеалогическое древо «клана Гессенов», в котором, однако, не нашлось ответвления для установления родословной Арнольда Ильича Гессена. Путь по поиску этого ответвления оказался достаточно долгим, о чем речь впереди.

Как пишет сам В. Ю. Гессен в предисловии к книге, ему «весьма навязчиво напоминали о его дяде И. В. Гессене перед пятым курсом политико-экономического факультета Ленгосуниверситета в 1950 году, когда студентов по определенным признакам, никак не

имевшим отношения к их успеваемости, стали делить на достойных быть преподавателями политэкономии и на недостойных этой чести. Так вот автор тогда пытался доказать, что И. В. Гессен ему приходится только двоюродным дядей, но, не обладая сегодняшними знаниями о своем роде, не смог научно обосновать это. Хотя и такое обоснование тогда, наверное, не помогло бы…»[10]. О том, что случилось с ним в период после окончания вуза и до начала «хрущевской оттепели», он умолчал.

Иосиф Владимирович Гессен родился в 1865 году в Одессе, точная дата его рождения была обнаружена в архиве Петербургского университета, где записано: «Гессен Иосиф (Иось) Саулович (Шоелевич) родился 14 мая 1865 г. в Одессе. Отец – Шоель Гессен, мать – Шева»[11]. В июне 1883 года закончил 3-ю Одесскую гимназию, в августе того же года поступил в Новороссийский (впоследствии Одесский) университет на естественный факультет, но в октябре следующего года перешел на первый курс юридического факультета. В начале 1885 года был исключен из университета без права поступления в него в будущем. Формальной причиной исключения послужило «словесное оскорбление студента А. Петрикова», однако фактически исключили за участие в студенческих беспорядках, возможно, за связь с революционно-террористической организацией «Народная воля», в один из кружков которой он вступил еще в 1881 году[12]. Он выполнял ряд заданий этой организации, встречался с активной ее деятельницей – Верой Николаевной Фигнер, о которой у него остались на всю жизнь восторженные воспоминания как о светлой личности. Теплые воспоминания остались у И. В. Гессена и о студенте курса Льве Штернбергере – руководителе кружков, состоявших из гимназистов и студентов, в которых пропагандировались идеи «Народной воли».

После исключения из университета И. В. Гессен подвергался негласному полицейскому надзору, прекращенному в августе 1885 г. в связи с поступлением на первый курс юридического факультета Петербургского университета. Здесь продолжилось его увлечение революционной деятельностью, и он занимался подготовкой пропагандистских материалов «Народной воли», анонимно опубликовал брошюру «Наши разногласия», посвященную защите народничества от нападок марксиста Г. В. Плеханова. У него был произведен обыск, обнаружены гектограф и брошюра, после чего 29 декабря 1885 года он был арестован и по постановлению Особого совещания от 22 января 1886 г. выслан в Вологодскую губернию, в «отдаленнейший уезд», и провел три года в Усть-Сысольске (ныне Сыктывкар, центр Республики Коми). Здесь он усиленно занимался юридическими науками, изучая присылаемые книги и конспекты

лекций, готовился к университетским экзаменам, самостоятельно овладел английским языком, читал присылаемые ему бесплатно либеральные газеты и журналы. Однако попытки публиковаться в них тогда успеха не имели.

В ссылке от связи с русской девушкой, дочкой хозяина квартиры Анной Ивановной Макаровой, у него родился сын Сергей, крещенный в православной церкви. Уезжая из Усть-Сысольска после окончания срока ссылки, И. В. Гессен попросил двух друзей-ссыльных понаблюдать за мальчиком, а сам направился в Екатеринослав, где у деда Юлия Мунишевича и дяди (по матери) находился его отец Саул Юлиевич, взявший подряд на управление винокуренным заводом (в чем успеха не имел).

Затем он переехал в Одессу, где с разрешения министра народного просвещения в 1889 году экстерном сдал экзамены за полный курс юридического факультета Петербургского университета специальной комиссии Новороссийского университета. Впоследствии он писал об этом событии: «Экзамены сходили очень легко, и я не только получил диплом 1-й степени, но и предложено было оставить меня при университете для подготовки по кафедре гражданского права. Радость продолжалась недолго: руководство Министерства народного просвещения (это произошло в 1890 г.) отказало в утверждении ввиду политической неблагонадежности»[13].

После получения университетского диплома И. В. Гессен служил в ряде частных фирм, в банках Одессы и других городов, некоторое время был помощником присяжного поверенного. В 1892 г. он обратился к попечителю Одесского округа с прошением об «оставлении его профессорским стипендиатом». Руководство Новороссийского университета вновь ходатайствовало перед министерством о разрешении принять его преподавателем, но снова получило отказ. Тогда же «деловые соображения» побудили его искать работу в Кишиневе, где старший брат владел аптекой. Достойной работы он не нашел, но зато познакомился с Анной Исааковной Штейн (1867–1930 гг.), урожденной Грубер, внучкой казенного раввина Кишинева Иосифа Гершковича Блюменфельда (р. 1807 г.). Ее дядя по матери М. О. Блюменфельд пользовался популярностью в Бессарабии и за ее пределами, так как отличался «бесконечной добротой». Это качество перешло к его любимой племяннице, жизнь которой до замужества с И. В. Гессеном была безрадостной.

Можно встретить ошибочное утверждение, что ее девичья фамилия Блюменфельд, но это не так, поскольку добросердечный дядя М. О. Блюменфельд был родным братом ее рано умершей матери. В 17 лет она была отдана замуж за человека вдвое

старше ее. Хотя в этом браке родилось трое сыновей: Роман (1884–1942), Эрнест (1886–1911) и Семен (1887–1949), он оказался неудачным и был расторгнут по инициативе самой Анны Исааковны. Таким образом, в новой семье уже было четыре сына, поскольку внебрачный сын Гессена Сергей был принят мачехой как родной сын.

Отмечая бесконечную доброту своей жены, И. В. Гессен через годы после ее смерти писал: «Сомневаюсь, что я в состоянии был вынести сыпавшиеся одну за другой неудачи, если бы не встретил ее моральной поддержки, если бы не опирался на ее несокрушимую уверенность». Он подчеркивал, что она так сумела принять его сына Сергея, что появление четвертого ребенка в семье не вызвало никаких толков среди окружавших. Узнал же Сергей о том, что она не его мать, чисто случайно в Петербурге, когда ему на глаза попалось письмо его настоящей матери из Ташкента, где она жила, выйдя замуж. «Причем, – отмечал И. В. Гессен, – он был привязан к ней нежнее, чем ее сыновья, и отношения между четырьмя мальчиками, а потом и юношами, не оставляли желать ничего лучшего». Чтобы получить возможность усыновить Сергея, И. В. Гессен и Анна Исааковна крестились. Тогда-то он и сменил отчество Саулович (или Шевелевич, или Савельевич) на Владимирович. По этому поводу он писал: «Как раз в это время появился благодетельный закон 1891 г., вводивший институт усыновления, дотоле допускавшийся только по царской милости. Но для усыновления требовалось, чтобы я принял православие, что должна была совершить и жена для устранения препятствий к нашему браку. Вместе с тем последствием крещения было устранение формальной препоны к поступлению на государственную службу. Но именно потому, что крещение предвещало избавление от ограничений, личные выгоды, – отречение от веры отцов далось нелегко. Настоящей привязанности к религии, конечно, не могло быть никакой, бессознательное тяготение тоже было ликвидировано, потому что ассимиляция быстро продвигалась вперед, в нашей семье еврейский ритуал давно уже стал сходить на нет, и незначительные остатки, напоминавшие о нем только в большие праздники, все определеннее принимали форму мертвой обрядности, ничего не говорящей уму и сердцу»[14].

В браке с Анной Исааковной Штейн у И. В. Гессена родилось еще два сына: Владимир Иосифович (Осипович) Гессен (1901–1982) и Георгий Иосифович (Осипович) Гессен (1902–1971). Старший сын, экономист по образованию, был журналистом и публицистом, сотрудником газеты «Новое русское слово». Младший сын работал переводчиком в ООН.

В 1891 году И. В. Гессен обратился в Департамент полиции МВД с просьбой дать ему благоприятный отзыв для определения кандидатом на судебную должность. Ходатайство было удовлетворено, в 1893 году ему было разрешено жить во многих городах, даже в Москве, и он тогда же с семьей переехал в Тулу, где занял должность секретаря окружного суда. Вспоминая потом этот период, он писал: «Тульский суд оказался превосходной практической школой, и написанные мною тысячи решений по разнообразнейшим гражданским спорам выработали здоровое юридическое мышление, способность к правильному анализу и отчетливому выделению сущности спорного правоотношения».

В январе 1895 г. негласный надзор за И. В. Гессеном был снят, ему разрешили жить в Петербурге. По прибытии в столицу он подал прошение на предоставление ему разрешения на службу в Министерстве юстиции, которое было удовлетворено, и в 1896 году он был назначен делопроизводителем IX класса во 2-й департамент министерства. Успешную работу под руководством своего непосредственного начальника Николая Николаевича Ленина (он тогда не мог и подумать, сколько трагического в его жизни будет связано с этой фамилией) он оживлял, участвуя в выпуске официального органа – «Журнала министерства юстиции» – по приглашению его редактора, будучи рекомендованным туда членом редакции, своим троюродным братом В. М. Гессеном. Он стал давать в него обзоры иностранной литературы, обратившие на себя внимание и послужившие толчком к созданию газеты «Право». Положение его в министерстве существенно укрепилось после того, как по распоряжению начальства он подготовил проект одного законоположения, который был одобрен без поправок в самых высоких сферах, что сочли исключительным случаем. Возрос его авторитет, и в 1899 году был издан приказ о переводе младшего делопроизводителя И. В. Гессена из 2-го в 1-й департамент, в ее юрисконсультскую часть, считавшуюся наиболее престижной – ее чиновники считали себя «солью земли».

Позволив себе хотя и косвенную, но критику руководства своего министерства в редактируемой им газете «Право», он стал неугодным начальству и в 1903 году был вынужден покинуть министерство, сосредоточившись на работе в этой газете. В редколлегию газеты был привлечен его троюродный брат В. М. Гессен, а также Владимир Дмитриевич Набоков – отец известного писателя и поэта В. В. Набокова[15]. И. В. Гессен сумел привлечь в редакцию газеты крупных ученых – юристов, действующих адвокатов, в итоге, как он писал: «редакционный комитет «Права» состоял из крупных и ярко выраженных индивидуальностей, но в работе и в заботе о «Праве» – а забота

владела безраздельно умом и сердцем каждого – все от себя отрешались в пользу беззаветно любимого детища. Решительно не вспоминаю ни одного проявления личного самолюбия, соперничества, каждый старался отдать «Праву» все, что мог, и беспристрастно ценил и не сравнивал с тем, что дают другие»[16].

В печати не раз упоминалось о «сползании “Права”» с позиции строго научного юридического органа на позицию борьбы с самодержавием. По этому поводу И. В. Гессен сделал уточнение, что, собственно, «сползала» не газета, а режим. Газета продолжала, как и вначале, быть в основном лишь научным изданием, а вот режим все более «сползал в беззаконие», и потому позиция «Права» объективно оказалась в противоречии с ним. Не всегда «Право» выходило беспрепятственно, были столкновения с цензурой. Несколько раз газета получала от нее предупреждения за публикации откровенно антисамодержавного направления. Особенно обострились отношения с ней после выхода номера со статьей В. Д. Набокова «Кишиневская кровавая баня», в которой он возложил вину за еврейский погром на власти. Однако общественное возмущение этим трагическим событием было так велико, что газета не пострадала, не в пример В. Д. Набокову, изгнанному за это с государственной службы и отрешенному от царского двора. Озабоченность Гессена положением евреев в Российской империи проявилась в его работе «Закон 3 мая 1882 года и его применение» (1903), в составлении «Сборника законов о евреях» (1904) и сборника «Накануне пробуждения» (1906). Был одним из организаторов и членом совета «Союза освобождения». В 1905 г. он участвовал в создании конституционно-демократической партии (партии кадетов), в которой стал товарищем (заместителем) председателя Петербургского комитета. В 1906 г. Гессен стал членом Центрального комитета партии. В 1905 г. совместно с П. Н. Милюковым Гессен редактировал газету «Народная свобода», сотрудничал в журнале «Вестник партий народной свободы». С февраля 1906 г. он был соредактором (с П. Н. Милюковым) газеты «Речь».

В октябре 1905 г. Гессен участвовал в секретных безрезультатных переговорах между Центральным комитетом Конституционно-демократической партии и премьер-министром С. Ю. Витте о создании правительства с участием кадетов. В период избирательной кампании в I Государственную думу Гессен был исключен из списка избирателей в связи с привлечением к суду за «антиправительственную деятельность». В 1907 г. был избран депутатом II Государственной думы от Санкт-Петербургской губернии. Во время выборов выступал за соглашение с октябристами и имел контакты с П. А. Столыпиным.

После избрания демонстративно записался как православный, но еврей по национальности. Печатался в «Жизни», «Русских ведомостях», «Сыне отечества», «Наших днях» и других изданиях, в 1909 г. присоединился к критике сборника «Вехи».

В Государственной думе И. В. Гессен состоял товарищем председателя фракции кадетов, одним из руководителей которой был и В. М. Гессен, избирался в думские комиссии: библиотечную, по запросам, о неприкосновенности личности, о местном суде (председатель), о свободе совести, по рассмотрению представления министра юстиции о привлечении 55 членов Думы к уголовной ответственности. Был докладчиком по проверке прав членов Думы, по проекту преобразования местного суда. За недолгий срок существования Думы этого созыва (с 20 февраля по 3 июня 1907 г.), разогнанной царем, И. В. Гессен десятки раз выступал на ее заседаниях (в том числе по амнистии, по продовольственной помощи, по безработице и др.). Кстати, этот роспуск и произошел в тот момент, когда Дума обсуждала доклад И. В. Гессена о местном судопроизводстве.

Много времени уделял И. В. Гессен научной работе. Перу И. В. Гессена принадлежат прежде всего многочисленные статьи, которые, несмотря на явно выраженный полемический, публицистический характер большинства из них, несомненно включают в себя элементы научных исследований. К отдельно изданным его трудам юридического направления относятся: «Артели. Закон 1 июня с разъяснениями» (СПб., 1902); «Юридическая литература для народа» (СПб., 1902); «Судебная реформа» (СПб., 1905); «О местном суде»; Доклад в Думе (СПб., 1908); «Реформа местного суда» (СПб., 1910); «Комментарий к закону об узаконении, усыновлении и внебрачных детях» (СПб., 1910, 2-е изд.); «Раздельное жительство супругов» (СПб., 1914); «История русской адвокатуры». Т. 1. «Адвокатура, общество и государство. 1864–1914» (М., 1914). Эта книга была удостоена малой премии по отделению исторических наук и филологии Российской Академии Наук (1917 г.).

И. В. Гессен опубликовал работы, посвященные вопросам предоставления полноправия евреям в России, а для начала хотя бы обеспечения уже дарованных им прав: «Закон 3 мая 1882 г. и его применение» (СПб., 1902) и «Сборник законов о евреях» (совместно с В. Фридштейном) (СПб., 1904).

Большой общественный отклик имела книга «Накануне пробуждения», являвшаяся сборником статей трех авторов: И. В. Гессена, М. Б. Ратнера и Л. Я. Штернберга (СПб., 1906). При этом больше половины ее текста занимают две статьи И. В. Гессена: «Накануне XX века» и «Еврейский вопрос в Кабинете

министров».

В 1917 г. был избран членом Временного совета Российской республики. После Октябрьской революции Гессен выступил против Советской власти. Он входил в Политический центр при штабе генерала Н. Н. Юденича, а в январе 1919 г. (по другим данным – в 1920 г.) эмигрировал в Финляндию. Там он выступал в скандинавских и германских органах печати с серией резких статей против большевиков. Известно его «Открытое письмо к социал-демократам», в котором он уговаривал европейских социал-демократов отгородиться от большевиков, утверждая, что Россия стоит перед опасностью страшной реакции, которая «разольется далеко за пределы русского государства», и что «реакция тем больнее ударит по социалистам, чем теснее они свяжут себя с судьбой большевистского режима». Вскоре Гессен переехал из Финляндии в Германию. Вместе с В. Д. Набоковым и А. И. Каминкой Гессен основал 5 ноября 1920 г. русскоязычную газету «Руль». В 1921—37 годах он издал 22-томный документальный сборник «Архив русской революции». Гессен написал две книги воспоминаний: «В двух веках» и «Годы изгнания». В 1936 г. Гессен переехал в Париж. После оккупации Франции немцами в 1941 году он уехал в США, поселившись в Нью-Йорке, где и умер.

За годы Советской власти имя И. В. Гессена было прочно забыто, его труды не переиздавались, в энциклопедиях он упоминался чаще всего как «враг Советской власти». Впервые имя И. В. Гессена прозвучало на Международной научной конференции «Культурное наследие российской эмиграции (1917–1939 гг.)», прошедшей в конце 1999 года в Петербурге. Сотрудники Государственного архива РФ выступили с инициативой создания в архиве специализированного фонда И. В. Гессена и его родственников из числа эмигрантов.

Руководитель семинара, сославшись на труды историка С. Г. Блинова, отметил, что «наступило время посмотреть на деятельность гениальных представителей Русского Зарубежья и критически оценить то, что было сделано ими для России. Среди них в первой когорте стоит фигура Иосифа Владимировича Гессена – одного из создателей конституционно-демократической партии России, сыгравшей историческую миссию по свержению самодержавия».

В заключение своего выступления профессор задал вопрос: «Кто из присутствующих прочитал книгу А. И. Гессена «Набережная Мойки, 12. Последняя квартира А. С. Пушкина»?». Я оказался в числе трех или четырех поднявших руку. Всем этим оперативным читателям предлагалось подготовить к следующему

семинару свое мнение об этой книге. Кроме того, Ивану Госсену, слушателю семинара из Политехнического института, поручалось сделать сообщение о жизни и деятельности ныне здравствующего профессора Виктора Юльевича Гессена (р. 1903 г.).

С Иваном Госсеном мы дружили, я спросил его, когда мы направлялись в общежитие, отчего вдруг он получил такое задание. В доверительной форме он сообщил, что сам напросился на это выступление, поскольку в последнее время его преследует мысль о том, не является ли он сам потомком древа «клана Гессенов», имея столь созвучную с ним фамилию – Госсен.

Из его выступления на следующем семинаре мы узнали такие вот подробности из жизни одного из племянников И. В. Гессена – В. Ю. Гессена. Он является сыном младшего брата И. В. Гессена – Иуды (Юлия) Савельевича Гессена (1875–1934), о его брате Константине (1903–1988) и сестре Лидии (1903–1969) краткие сведения были приведены выше. Сам В. Ю. Гессен окончил в свое время энергетический факультет Ленинградского политехнического института, в 1933—35 гг. принимал активное участие в разработке плана электрификации Белоруссии. В 1936—41 гг. руководил лабораторией Политехнического института, совмещая эту работу с преподавательской деятельностью. В самом начале войны добровольно ушел в народное ополчение как офицер запаса войск связи. Был отозван с фронта и преподавал в военных училищах войск связи. По окончании войны вернулся в ЛПИ, а затем в 1949 г. организовал кафедру техники высоких напряжений в Белорусском Политехническом институте, затем снова был преподавателем, но в Ленинградском сельскохозяйственном институте (с 1958 г. профессор, с 1963 г. – доктор технических наук). В. Ю. Гессен – автор свыше 160 научных работ в области электротехники, в 1948 году ему была присуждена Сталинская премия 2-й степени за создание мощной высоковольтной испытательной установки. Является заслуженным деятелем науки и техники РСФСР.

В доверительном разговоре Иван сообщил мне, что во время летних каникул он специально ездил в Ленинград, чтобы познакомиться с В. Ю. Гессеном, при этом сообщил некоторые подробности этой встречи.

Во-первых, В. Ю. Гессен сразу же признал в Иване Госсене своего родственника, поскольку он был похож не только на него самого, но и на начинающего писателя-пушкиниста А. И. Гессена, с которым он был хорошо знаком и поддерживал родственные отношения. Во-вторых, он высказал свое предположение, что один из сыновей Ицика Гессена положил начало еще одной ветви «клана Гессенов», к которой мог принадлежать как А. И. Гессен, так и

предки Ивана Госсена. Но сам А. И. Гессен разговор на эту тему не поддерживал.

Эта информация для меня была интересна в том плане, что, сделав свое сообщение на семинаре по книге А. И. Гессена, я не смог, конечно, ответить на вопросы слушателей о том, в каком родстве с «кланом Гессенов» находится автор книги «Набережная Мойки, 12. Последняя квартира А. С. Пушкина». Кроме того, слушателей интересовал вопрос: где раньше «пропадал» этот пушкинист, если первую книгу о Пушкине он написал в 82 года?

На эти и на ряд других вопросов я не мог ответить по той простой причине, что, кроме содержательной части самой книги, я ничего не знал о ее авторе. «Отбивался» от вопросов, повторяя как заклинание, что мне было поручено высказать свое мнение о книге, а не об ее авторе. Хотя именно с той поры занозой сидел в моем сознании вопрос: кто же он такой, этот «загадочный» пушкинист – А. И. Гессен?

Из информации, полученной от И. Госсена о том, что В. Ю. Гессен был уверен в принадлежности А. И. Гессена к «клану Гессенов», и начались мои многолетние поиски ответов на вышеприведенные вопросы.

С Иваном Госсеном мы были «шапочно» знакомы уже два года, а познакомились по весьма прозаическому поводу. Студенты-физики университета традиционно «дружили» со студентами физико-технического факультета Политехнического института, а еще точнее – его специального отделения, готовившего специалистов-атомщиков. Видимо, им трудно давался курс высшей математики, поэтому они обращались к физикам-«универсалам» за оказанием практической помощи. «Помощь» заключалась в том, чтобы сдать экзамен за тот или иной раздел математики, то есть попросту пойти за кого-то на экзамен с его зачеткой, но с переклеенной фотографией. Процедура «переоформления» зачетки на другое лицо была хорошо отработана. Справедливости ради, следует отметить, что студенты-атомщики политеха не были безнадежными «тупарями». Напротив, за «помощью» обращались как раз наиболее успевающие по всем остальным предметам индивиды, но неуверенные, сто сдадут математику на «отлично», что может повлиять на конечный результат учебы – получение «красного» диплома. Я сдавал за Ивана, насколько сейчас помню, курс дифференциальных уравнений и уравнений математической физики. «Расчет» за услуги был банальным – счастливый «политех», получивший свое «отлично», накрывал скромную «поляну» в комнате общежития физфака из расчета на всех ее обитателей по бутылке водки.

При всем при этом Иван был человеком одаренным и живо

интересовался весьма далекими от физики вопросами. Например, новую и новейшую историю он знал не хуже студентов старшекурсников ИФФ, любил литературу и пописывал в стол стихи. Имел прекрасный голос-баритон и пел в нашей университетской хоровой капелле. Вскоре наши пути-дороги разошлись и встретились мы совершенно случайно через четверть века.

Городом-спутником Томска был засекреченный город ядерщиков «Томск-7», в студенческом обиходе именуемый «А-Томск», где студенты-старшекурсники спецотделения проходили производственную практику и писали дипломные проекты под руководством высококвалифицированных специалистов ядерного объекта, которые сами когда-то заканчивали спецотделения ФТФ Политехнического института. Когда Иван ушел за «колючую проволоку» для написания дипломного проекта, связь с ним надолго прервалась.

В конце 80-х годов я оказался в служебной командировке в закрытом городе «Томск-7». На одном из совещаний с руководством службы безопасности я вдруг обратил внимание на весьма колоритную фигуру с бейджиком на груди: «Доктор технических наук, профессор И. А. Гусев». Какой такой Гусев, когда я отчетливо видел, что это, хотя и весьма заматеревший, немного поседевший, но все тот же Иван Госсен? Сидя в президиуме, он тоже время от времени посматривал в мою сторону, видимо также вспоминая годы нашей студенческой юности. В перерыве мы, словно сговорившись, направились друг к другу и, не произнеся еще ни слова, крепко пожали руки и по-братски обнялись.

Да, это был он – Иван Госсен! Но почему Гусев?[17] *Вечером он ввалился в мой гостиничный номер-люкс, в котором меня разместили заботливые организаторы встречи, с охапкой бархатистых роз, по-моему, прямо из Голландии, и баулом всего того, что требуется при встрече дорогих гостей.*

Рассказав друг другу о своем житье-бытье, повспоминав все самые заметные события нашей студенческой юности, и уже на исходе второй бутылки замечательного коньяка, мы приступили к обсуждению интересующих нас жизненных вопросов, которые возникли за 25 прошедших лет.

На последнем курсе физфака перед самой преддипломной практикой к нам стали наведываться «вербовщики» из областного КГБ, предлагали по окончании университета хорошо оплачиваемую, интересную, полную романтики работу по специальности. Последнее особо подчеркивалось, де мол, нам нужны специалисты разного профиля: и физики, и историки, и лирики. По-моему, двое выпускников нашего курса согласились на эти предложения. А

«отказникам», в числе которых был и я, было многозначительно сказано, как бы мы потом об этом не пожалели.

С физтеховцами Политехнического подобной вербовки не требовалось, поскольку они уже по определению были предназначены для работы на сверхсекретных объектах. Ивану Госсену эти «ребята» предложили нечто иное – сменить свою фамилию. Им хорошо известно о хлопотах носителя секретных сведений по выяснению природы своей фамилии, а также то, что он – Иван Госсен – является дальним родственником белоэмигранта И. В. Гессена, который и посмертно остается врагом Советского Союза. Чтобы исключить всякую возможность перемены фамилии Ивана с Госсена на Гессена, ему предложено взять девичью фамилию своей жены, и тогда никаких препятствий для работы по специальности у него не возникнет. Вот такой вариант «любви к отеческим гробам» пришлось испытать моему собеседнику, у которого к концу исповеди заблестели на глазах слезы.

Вот что удалось выяснить о своей родословной Ивану Александровичу Госсену (Гусеву). Его отец Александр Савельевич Госсен родился в 1898 году и в 1942 году, когда Ивану было около пяти лет, он погиб на фронте Великой Отечественной войны (пропал без вести). Его дед Савелий Исаевич (в обиходе Иванович), родившийся в 1866 году, умер в 1940 году, когда Ивану было немногим больше трех лет, так что ни от отца, ни от деда он не мог получить каких-либо сведений о своей родословной. Пришлось «действовать» по женской линии через мать, бабушку, а та в свою очередь знала кое-какие подробности о жизни прадедушки Ивана, который именовался Исай (Иван) Юлиевич Гессен, от своей свекрови, т. е. от прабабушки Ивана. Например, бабушка Ивана прекрасно знала, что ее свекор носил фамилию Гессен и был из ссыльных каторжников, происхождением то ли из немцев, то ли из жидов (по терминологии того времени). Он появился в Нарымском крае (север Томской области) где-то в начале шестидесятых годов девятнадцатого века, женился на местной крестьянке, которая родила ему сына Савелия (1866). Умер сравнительно молодым от чахотки, которую подхватил, будучи то ли в Петропавловской, то ли в Шлиссельбургской крепости. Судя по тому, что сыну тогда едва исполнилось семь лет, это случилось в 1873 году. Судя по тому, что на момент женитьбы (1859 г.) ему было около 30 лет, то он родился где-то в 1829 году. Дед Ивана Савелий стал Госсеном по весьма прозаической причине. Полуграмотный церковный писарь записал младенца по фамилии Госсен – отсюда искаженная фамилия передалась отцу, а от него и Ивану.

По рассказам бабушки, которые больше всего походили на легенду, ее свекор был грамотным человеком, знал «чужие языки»,

«ходил в народ», знал лидера народничества Искандера[18]. Из ближайших родственников, о которых рассказывал прадедушка Ивана, ему удалось выведать у своих «биографов», что предком многочисленного рода Гессенов был дед Исаак (Ицик) Гессен, который якобы доводился Исаю Юльевичу прадедушкой. Однако самым интересным для меня из всего этого экскурса Ивана в свою родословную оказался следующий момент.

Оказывается, у Исая Юльевича был двоюродный брат Илья, младше его лет на пятнадцать. Стоп! А не является ли этот Илья отцом Арнольда Ильича – нашего пушкиниста? Если Илья младше Исаи «лет на пятнадцать», то он родился где-то в 1845 г. или близкой тому дате. Арнольд Ильич родился в 1878 году, тогда его отцу (если это тот самый Илья) было 33 года, что вполне допустимо. И тогда Арнольд Ильич оказывается праправнуком родоначальника всего «клана Гессенов» Ицика (Исаака) Гессена, равно как и Иосиф Владимирович Гессен?!

Вот таким косвенным путем нам удалось «нащупать» еще одну ветвь генеалогического древа «клана Гессенов», ствол которой упирается в того самого легендарного Ицика Гессена. Спустя примерно пятнадцать лет, когда, к великому моему сожалению, уже не стало Ивана Гусева (Госсена, Гессена), я нашел «подтверждение» нашей догадки в книге Валерия Юльевича Гессена: «Жизнь и деятельность И. В. Гессена – юриста, публициста и политика». В разделе книги «Примечания» имеется вот такая запись: «Есть основания предполагать, что один из сыновей Ицика Гессена положил начало другой ветви этого рода («клана Гессенов» – А.К.), к которой мог принадлежать известный журналист и писатель-пушкинист Арнольд Ильич Гессен (1878–1976 гг.), один из потомков которого, например, живет в Бостоне»[19].

С родословной А. И. Гессена худо-бедно разобрались, хотя о достоверности конечного результата наших с Иваном Гусевым розысков можно судить с известной долей вероятности, не равной единице. Как ни вспомнить известное высказывание Н. Набокова, приведенное В. Ю. Гессеном в той же книге: «Когда дело касается предков, не обойтись без многочисленных «возможно» – предложений, которые порой вполне, а порой не слишком устраивают потомков»[20].

Я, в свою очередь, поделился с Иваном своими «успехами» в поисках разгадки некоторых аспектов жизнедеятельности «загадочного» пушкиниста Арнольда Ильича Гессена. Из-за отсутствия официальной биографии, я тщательно коллекционировал статьи и заметки писателя, появляющиеся в различных газетах и журналах. Из немногочисленных откровений

автора мало-помалу складывалась его биография, характерной особенностью которой было наличие весьма значительных временных интервалов, в течение которых было неясно, чем же занимался в это время пушкинист. Если 40 лет его дореволюционной жизни вопросов не вызывали, то советский период вплоть до хрущевской оттепели, а это тоже 40 лет, являл собой сплошную загадку. С выходом третьей книги – «"Все волновало нежный ум…" Пушкин среди книг и друзей» (1965 г.) – меня заинтересовал вопрос об отношении А. И. Гессена к древнему памятнику нашей отечественной словесности «Слово о полку Игореве». С одной стороны, получается, что он весьма поверхностно знал историю вопроса с обнаружением этого шедевра, а с другой – он приоткрыл некую тайну, которая владела умами не одного поколения «словистов» – тайну авторства шедевра.

– Погоди, – перебил меня Иван, – я, кажется, могу сообщить некую информацию, которая возможно тебя заинтересует.

Далее он рассказал, что за два года до смерти Виктора Юльевича Гессена, он второй раз навестил его уже в качестве отпрыска разрастающегося «клана Гессенов», с чем его поздравил новый родственник. Не отвлекаясь на иные детали этой встречи, он поведал мне, что А. И. Гессен прекрасно знал не только древний текст «Слова о полку Игореве», но с удовольствием читал наизусть некоторые «переводы» древнего памятника. Особенно он любил читать поэтический перевод советского поэта Н. Заболоцкого. Еще В. Ю. Гессен обратил внимание на такую деталь, что читал пушкинист «Слово» и его переводы в самом узком семейном кругу и никогда – на публике.

Не скрою, это сообщение буквально шокировало меня и дальнейшие поиски разрешения проблемы «А. И. Гессен и "Слово о полку Игореве"» пошли в совершенно ином направлении, о чем несколько ниже.

Наша случайная встреча с Иваном, первая после студенческих лет, но, к сожалению, она же и последняя… Обязательства друг перед другом о переписке и «перезвонке», как всегда бывает в таких случаях, быстро потонули в пучине жизненной рутины. Писать и говорить по телефону, по большому счету, было не о чем: пути у нас, конечно, были разными. Но вот в самом начале XXI века в моем кабинете раздался телефонный звонок из Томска. Звонил сын Ивана Савелий, в ту пору уже доцент Политехнического института, сообщил мне печальную весть о кончине своего отца. Из краткого телефонного разговора выяснилось, что его отец был одним из активных ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Работал в группе

академика В. А. Легасова (1936–1988) – главного идеолога и разработчика парадигмы безопасной эксплуатации ядерных реакторов, получив при этом изрядную дозу облучения.

Странно, конечно, но при нашей встрече ни он, ни я ни словом не обмолвились об этой аварии, хотя оба и, получается, одновременно были ликвидаторами ее последствий. Наша встреча могла произойти еще тогда, летом 1986 года, но, видно, не судьба.

С благодарностью вспоминаю совет Ивана по поводу моей «коллекции» вырезок из газет и журналов периода 1958–1974 годов, к тому времени уже изрядно пожелтевших. Он советовал опубликовать эти этюды о Пушкине в виде отдельной книги, седьмой книги пушкиниста А. И. Гессена, о чем говорил в свое время главный редактор издательства «Наука». В память о моем большом друге, одном из «отпрысков» «клана Гессенов», спустя четверть с небольшим века, я следую его совету.

Книга состоит из двух частей. В первой из них автор на фоне своих трудов по созданию эпопеи о жизни и творчестве А. С. Пушкина, ненавязчиво, с большим тактом знакомит читателя с некоторыми эпизодами своей биографии. Если эти заметки дополнить сведениями из нынешней Википедии, то есть интернетовской энциклопедии, то биография «загадочного» пушкиниста будет выглядеть более понятной.

Арнольд Ильич Гессен родился 4(16) апреля 1878 года в уездном городке Короча Курской губернии (ныне Белгородская область). Он был первенцем в многодетной еврейской семье, переехавшей в Корочу из города Бирюч Воронежской губернии. Его отец Илья Александрович Гессен после окончания военной службы вышел в отставку и около 30 лет занимался типографским делом: в разное время имел свои типографии в Короче, Белгороде и Харькове. Так, 14 февраля 1887 г. Курский губернатор П. П. Косаговский подписал ему свидетельство на право открытия типографии в уездном городе Короче «с одним типографским ручным станком». В семье Ильи Александровича и Евдокии (Иды) Авраамовны было 9 детей. По признанию Арнольда, самые яркие воспоминания детства были связаны у него с книгами. Мальчиком он помогал отцу переплетать книги «в его крошечной мастерской» и «доморощенным способом сшивал растрепанные листы до отказа зачитанных книг и часто с иглой в руке застывал над страницами пушкинских сказок и стихотворений».

В 1898 году Арнольд (Аарон) окончил 15-й выпуск Корочанской Александровской мужской гимназии и в этом же году поступил в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета (впоследствии он закончил и

юридический факультет) – так сказано в Википедии. Однако в своих мемуарах он говорит о себе как о студенте биологического отделения естественного факультета, с теплотой вспоминает профессора зоологии В. М. Шимкевича и профессора-гистолога А. С. Догеля, который читал студентам-первокурсникам вступительную лекцию, обронив при этом, что их «жизненный путь будет усеян не только розами, но на нем встретятся и шипы». Надолго запомнилась эта сентенция профессора, если спустя 80 лет он повторил ее в переиначенном виде: «Жизненный путь усеян не одними шипами, на нем встречаются и розы».

Первые «шипы» будущий пушкинист ощутил сразу же после окончания гимназии в 1895 году (?!): гимназию оканчивает в 17 лет, то есть три года прошло, прежде чем он смог поступить в университет. Почему? По очень простой причине – черта оседлости, для преодоления которой нужна мощная протекция, которую он, похоже, получил, благодаря хлопотам Иосифа Владимировича Гессена, который в это время занимал солидную должность в Министерстве юстиции. Хотя родство достаточно далекое (Арнольд и Иосиф были братьями в 4-м поколении), а их отцы (Илья и Саул) троюродными братьями, но клановая солидарность свою роль сыграла, и в 20 лет Арнольд становится студентом столичного университета. Студентом он был весьма беспокойным, о чем говорит следующий неприятный инцидент (Википедия, 2013 г.). 14 июня 1899 года начальник отделения при Санкт-Петербургском Градоначальнике по охранению общественной безопасности и порядка в столице под грифом «секретно» направил начальнику Курского губернского жандармского управления полковнику Логинову письмо, в котором сообщил, что «по распоряжению учебного начальства студент Санкт-Петербургского университета Аарон Ильич Гессен за участие в студенческих беспорядках, имевших место в С.-Петербурге в феврале и марте 1899 года, уволен из названного учебного заведения и как не петербургский уроженец удален из столицы. За выбытием Гессена из С.-Петербурга в г. Корочу Охранное отделение считает долгом уведомить об этом Ваше Высокоблагородие на предмет учреждения за названным лицом негласного надзора полиции». Однако в Короче А. Гессен находился недолго и в декабре 1899 г. был принят обратно в число студентов Санкт-Петербургского университета. То есть еще один «шип» пребольно уколол великовозрастного первокурсника, отправленного, похоже, навсегда за «черту оседлости». Но происходит чудо, и через полгода с небольшим опальный студент возвращается в свою «альма-матер». Какой кудесник совершил это чудо? Не иначе как четвероюродный брат Арнольда Иосиф

Владимирович Гессен. Мало того, опальный студент, находящийся под негласным надзором полиции, не имея никакого опыта журналистской работы, одновременно «устраивается» репортером газеты «Россия». В октябре 1900 г. ему как начинающему репортеру было поручено дать отчет об открытии памятника А. С. Пушкину в Царском Селе. На это торжество приехал и 68-летний генерал-лейтенант Александр Александрович Пушкин – старший сын поэта. Освещение этого события стало первым литературным трудом Гессена о Пушкине. В 1906–1917 гг. он специальный корреспондент «Русского слова» и «Биржевых ведомостей» в Государственной Думе. В 1909 г. известный издатель И. Д. Сытин дал поручение молодому журналисту поехать в Константинополь, где в то время началась младотурецкая революция. Оттуда он направился в Египет, а затем в Иерусалим.

То есть целых 18 лет, по его собственной терминологии, его жизненный путь буквально усеян лепестками роз. Кто мог поспособствовать продвижению студента из провинции, а затем постоянного представителя, похоже, от кадетской партии в пресс-центре всех четырех созывов (27.04.1906 – 6(19).10.1917 гг.) Государственной думы? Тут явно ощущается рука депутата 2-й Государственной думы И. В. Гессена. Ну, а дальше? А дальше, похоже, начинается сложный и опасный жизненный путь, где «шипы» явно превалируют над «розами».

Как могла отнестись новая власть к бессменному думскому репортеру, к тому же родственнику сразу двух депутатов 2-й Государственной думы: И. В. Гессена и В. М. Гессена, которые были объявлены врагами Советской власти как активные организаторы ненавистной большевикам кадетской партии? Той самой партии, о которой вождь мирового пролетариата говорил: «Нельзя не арестовывать, для предупреждения заговоров, всей кадетской и околокадетской публики. Преступно не арестовывать»[21].

Так ведь А. И. Гессен как раз и принадлежал к этой самой «околокадетской публике», а потому и зияют огромные пробелы в его биографии вплоть до 1956—57 гг., то есть до начала хрущевской оттепели, а это сорок лет под «шипами», ровно столько же лет досоветского периода, когда «роз» было гораздо больше, чем «шипов».

До сегодняшнего дня остается тайной за семью печатями, как складывался жизненный путь А. И. Гессена в течение этих 40 лет. Правда, в Википедии, как бы мимоходом, сказано: «В дальнейшем работал в издательствах (Московский ОГИЗ, заведующий издательством Госплана в Казахстане (как он попал в Казахстан, часом не через Карлаг? – А.К.). Заведовал редакцией журнала «Новый мир» (1938–1940 гг.). В 1927 году пытался выпустить

двухтомное собрание сочинений Анны Ахматовой, однако этот проект завершился неудачей. Еще бы! Ее антисоветский имидж подвергся уничижительной критике в известном партийном постановлении 1949 года.

В мемуарах, опубликованных в первой части книги, краткими штрихами помечены «розовые» периоды его послеоктябрьской жизни:

– Провел с семьей лето 1932 года в Михайловском.

– Присутствовал на торжественном собрании в Большом театре в феврале 1937 года, посвященном столетней годовщине гибели А. С. Пушкина.

– В 1943 году случилась встреча с баховским памятником Пушкина, на открытии которого присутствовал в 1900 году, о чем рассказал в статье «Бронзовый Пушкин», опубликованной в «Литературной газете» за 17.02.1962 г. И еще вот такое характерное признание А. И. Гессена: «Читатели задают вопросы, почему я, микробиолог и юрист по образованию, стал писать книги о Пушкине, почему так поздно стал писателем, чем объяснить мое долголетие и большой творческий подъем в столь поздние годы?» Действительно, почему так поздно? Вторая часть вопросов к этому не имеет никакого отношения, поскольку это дар природы. Как мы видели из «похода» в «клан Гессенов», многие его представители были долгожителями. Кстати, какое отношение к физико-математическому факультету (по Википедии) имеет будущий микробиолог?

Ответ самого А. И. Гессена на первый вопрос настолько наивен, что без всяких комментариев ясно: суровые обстоятельства 40-летней жизни после Октябрьской революции никак не соответствовали тем условиям, которые необходимы для свободного, творческого полета мысли гения. Да и его слишком «натянутые» славословия в адрес Советской власти и вождя мирового пролетариата, никого не могут ввести в заблуждение об истинном отношении А. И. Гессена к этим «символам». Кстати, об Иосифе Виссарионовиче – ни слова!

Другая «загадка» прямо-таки «выпирает» из воспоминаний А. И. Гессена: почему он нигде и словом не обмолвился ни о своем благодетеле И. В. Гессене, ни о каком-либо другом представителе «клана Гессенов»? Ладно, до хрущевской оттепели это было небезопасно, но он ничего и не написал до 1958 года. Однако все шесть его книг и более 30-ти статей и заметок в разных газетах и журналах были написаны в годы как хрущевской оттепели, так и в эпоху брежневского застоя – тогда-то чего боялся? Этому феномену нужно поискать вразумительное объяснение. Однако об этом несколько ниже. Кстати, все отмеченные создателем

представители «клана Гессенов» также хранили молчание в отношении своего родственника. Мало того, они недвусмысленно делали вид, что ни сном, ни духом ничего не ведали о существовании будущего «загадочного» пушкиниста. Почему?

О нем помнили лишь благодарные земляки, которые внимательно следили за успехами А. И. Гессена на писательском поприще и в октябре 1964 года, когда писателю уже «стукнуло» 84 года, пригласили его в Корочу. По случаю приезда гостя был организован обед, на который были приглашены местный поэт М. А. Фролов и учителя корочанской средней школы. Вечером для участников встречи было организовано выступление художественной самодеятельности коллектива школы-интерната. Арнольд Ильич на протяжении 10 дней был гостем корочанцев. В этот период были организованы встречи с ним в ряде школ района, в горсовете, с рабочими райпищекомбината. На протяжении последующих восьми лет писатель вел активную переписку с земляками, высылал в школы района и районную библиотеку все свои новые книги Пушкинианы.

В целях увековечения памяти выдающихся жителей области постановлением губернатора Белгородской области Е. С. Савченко от 3 июня 2005 г. № 91 была утверждена программа сооружения бюстов, скульптурных композиций и мемориальных досок. Ею было предусмотрено сооружение на областные средства бюста из меди Арнольду Ильичу Гессену – уроженцу г. Короча, писателю, журналисту, исследователю творчества А. С. Пушкина. Местом установки бюста был определен двор речевой школы-интерната. Церемония открытия памятника Арнольду Ильичу Гессену состоялась 3 октября 2006 г. на территории корочанской школы-интерната. По случайности это событие совпало с днем рождения поэта Сергея Есенина. Автор памятника – белгородец, член Союза художников России, скульптор Анатолий Сергеевич Смелый. В церемонии открытия приняли участие: глава местного самоуправления Корочанского района В. И. Закотенко, А. С. Смелый, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Михаил, директор школы-интерната Н. Д. Сухова, учащиеся, преподаватели, жители города.

Из Москвы на торжественное мероприятие приехала правнучка писателя – журналистка Мария Александровна Гессен[22]. Там же живет и Дина Арнольдовна – дочь А. И. Гессена, которая в феврале 2007 г. прислала в школу-интернат книги своего отца.

Еще раньше на здании бывшей мужской гимназии была установлена мемориальная доска с барельефом ее воспитанника и надписью: «В Корочанской мужской гимназии учился и в 1898 г.

окончил ее журналист, писатель-пушкинист Арнольд Ильич Гессен».

Кстати, это единственный случай увековечения памяти представителя «клана Гессенов», и пока остается лишь мечтой биографа клана Валерия Юльевича Гессена предложение об установлении мемориальной доски на доме 3, что в Петербурге на Малой Конюшинской улице, где длительное время проживал выдающийся политический деятель, ученый-юрист и публицист Иосиф Владимирович Гессен.

Вторая часть книги – это систематизированные статьи и заметки, то есть этюды о Пушкине, опубликованные А. И. Гессеном в течение последних пятнадцати лет жизни в различных изданиях, чаще всего тех, которые предназначались для детей и юношества, а также для педагогической общественности. Систематизация касается хронологии публикаций, как и в предыдущих книгах А. И. Гессена, этюды хронологически соответствуют биографии А. С. Пушкина. Как признается сам автор этих этюдов, они чаще всего на некоторое время упреждали отдельные фрагменты жизни Пушкина из готовящейся к изданию очередной книги его Пушкинианы. А поэтому в настоящей книге неизбежны повторы, которые отнюдь не снизят к ней интерес читателя («Повторение – мать учения»).

В заключение хотелось бы обратиться к руководству Министерства образования и культуры с предложением об издании полного собрания сочинений Арнольда Ильича Гессена, которое, на наш взгляд, стало бы своеобразной детской энциклопедией жизни и творчества А. С. Пушкина. Хорошо было бы в качестве иллюстраций этого издания использовать замечательные рисунки юной художницы Нади Рушевой, которая выполнила их по просьбе А. И. Гессена[23].

Александр Костин

Часть первая. «Арабески» моей жизни

На стыке двух эпох [24]

…Я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн…

А. С. Пушкин. «Осень»

Человек, проживший большую жизнь, склонен к воспоминаниям и размышлениям. Случайная встреча иногда молнией озарит весь пройденный путь. Неожиданно воскресит ожившие многоликие тени прошлого, вновь зазвучат навсегда, казалось, умолкнувшие голоса…

Самые яркие мои воспоминания связаны всегда с книгами. С тех детских лет, когда я, мальчиком, помогал отцу переплетать книги в его крошечной мастерской. Днем учился в гимназии, вечером работал.

И вот на Международной книжной выставке 50-летия Октября у меня произошла удивительная встреча с книгами, с давними моими друзьями.

В детстве были у меня свои любимые книги. Среди них – особо запомнившийся мне большой атлас зверей, животных, птиц и рыб в их ярких многоцветных природных окрасках.

Придя на выставку, я неожиданно увидел такой же только что изданный многокрасочный атлас. Перелистал его и неожиданно нашел очень поразившую мое детское воображение рыбу-меч. Вспомнилось: уже будучи студентом Петербургского университета, я как-то рассказал про рыбу-меч моему профессору зоологии В. М. Шимкевичу. Он улыбнулся, через несколько дней пригласил к себе домой и, также улыбаясь, раскрыл предо мною такой же точно экземпляр моего детского атласа, отыскал в нем рыбу-меч и здесь же, не отрываясь, прочитал о ней небольшую лекцию…

Так началось для меня на выставке книг неожиданное путешествие в страну моего детства, потом – юношества и зрелости. Вспомнилось, как доморощенным способом я сшивал в отцовской мастерской растрепанные листы до отказа зачитанных книг и часто с иглой в руке застывал над страницами пушкинских сказок и стихотворений, «Антона-Горемыки» и «Гуттаперчевого мальчика» Григоровича, «Слепого музыканта» Короленко, позже – над романами Гончарова, Тургенева, Достоевского. Все эти писатели были еще живы, когда я родился…

Как же радостна была мне встреча на книжной выставке и с

«Гуттаперчевым мальчиком» Григоровича, и со «Слепым музыкантом» Короленко, поразившими меня в детские годы глубоким гуманизмом, правдою и красотою созданных ими образов, волнующей музыкой чудесного русского языка.

Д. В. Григорович был секретарем Общества поощрения художества, и там мне пришлось встретиться с ним в 1898 году. Мог ли я думать, что через много десятилетий буду рассказывать в моей книге о декабристах и их героических женах, что отец его, русского писателя Григоровича, был женат на француженке Сидонии Ле-Дантю, а сестра ее, Камилла Ле-Дантю, тетка писателя, была женою декабриста В. П. Ивашева… И мог ли я представить себе, что моим частым гостем будет в советское время ее правнучка Е. К. Решко…

Мог ли я тогда вообще представить себе, что через три четверти века сам стану писателем и на Международной книжной выставке увижу написанные мною книги. На выставке, посвященной 50-летию Октября…

Это будило новые воспоминания: ведь пятьдесят лет тому назад, в 1917 году, я присутствовал в Таврическом дворце при рождении этого нового мира, новой эпохи человечества. На протяжении одиннадцати лет был специальным корреспондентом в Государственной думе всех четырех созывов.

Был свидетелем всех этапов крушения самодержавия, одним из редакторов вышедших 27 февраля 1917 года, в первый день революции, «Известий революционной недели», в течение семи дней осведомлявших население Петрограда о ходе революции. Мы, журналисты, и жены наши из окон машин под обстрелом засевших на чердаках жандармов и полицейских разбрасывали газеты эти по улицам и площадям восставшего Петрограда…

Два сохранившихся у меня комплекта этих газет я подарил Музею В. И. Ленина и библиотеке имени В. И. Ленина, третий передал Г. И. Петровскому для Музея Революции[25]. Со времен четвертой Государственной думы, членом которой он был, у нас на протяжении десятилетий сохранялись добрые, дружеские отношения. Помню, я встречал большевистскую пятерку, вернувшуюся в дни Февральской революции с каторги в Таврический дворец – Петровского, Бадаева, Шагова, Самойлова, Муранова.

В те бурные дни победившей революции я слушал в Таврическом дворце Владимира Ильича Ленина, докладывавшего свои знаменитые «Апрельские тезисы» на собрании большевиков – участников Всероссийского совещания рабочих и солдатских депутатов.

Одно воспоминание влекло за собою другое. Петровскому я подарил находящуюся сегодня в экспозиции Музея Революции

фотографию. На ней он изображен в момент, когда охрана Таврического дворца выводила его из зала заседаний за обструкцию во время выступления главного военного прокурора Павлова по запросу о ленских расстрелах в 1913 году. Сцена эта происходила у самой ложи журналистов, где я, как всегда, занимал свое место.

Предо мною точно пронеслись две эпохи: век нынешний и век минувший. Между ними – революционный водораздел 1917 года. Сорок лет моей жизни прошли в дореволюционной императорской самодержавной России, уже более полувека я – гражданин Советского Союза…

* * *

На одном из стендов выставки я увидел томик избранных произведений Александра Блока… Мне вспомнился мой первый день в Петербургском университете, в сентябре 1898 года.

По обычаю того времени, я уже на другой день после окончания гимназии облачился в серую студенческую форменную тужурку с голубыми петлицами и темно-зеленую фуражку с таким же голубым околышем.

В этом студенческом обличье я прямо с вокзала отправился в университет и смело вошел в одну из аудиторий университета. Лекцию читал очень известный впоследствии ученый-гистолог Александр Станиславович Догель.

Помню слово в слово, как начал он свою лекцию:

– Господа студенты! Сегодня вы начинаете новую главу вашей жизни. Помните, что жизненный путь усеян не одними розами, на нем встречаются и шипы…

Это было наивно и сентиментально – так люди мыслили еще в те далекие мирные годы конца прошлого столетия, – но мне, юнцу, слова эти показались значительными: я даже записал их тогда… Сегодня, через семьдесят лет, я сказал бы иначе:

– Жизненный путь усеян не одними шипами, на нем встречаются иногда и розы…

Час прошел быстро. Влекомый шумным студенческим потоком по огромному, почти полукилометровому университетскому коридору бывшего здания двенадцати петровских коллегий, я направился из аудитории главного здания в амфитеатр Химического института университета. Студенты всех факультетов заполнили его в то утро. Было молодо и шумно. Но общее волнение достигло крайнего напряжения, когда из маленькой двери, над которой во всю стену была начертана периодическая система химических элементов, вышел ее

создатель, Дмитрий Иванович Менделеев…

Это была неожиданная встреча с гением… Раздались аплодисменты… Дмитрий Иванович жестом руки остановил их… Меня поразило, что гений был небольшого роста, в обыкновенном форменном вицмундире с золотыми пуговицами…

Производила впечатление его большая, ниспадавшая на плечи львиная грива седых волос, сливавшаяся с седой бородой. И необыкновенно мудрые, молодо смотревшие глаза…

Рядом со мною сидел в то утро студент, невольно обращавший на себя внимание своим необычным, строгим классическим римским профилем.

Мы еще не знали, кто он, но скоро читали его первые стихи: «Муза в уборе весны постучалась к поэту», а после Кровавого воскресенья 9 января 1905 года уже вся передовая Россия читала его стихи и поэмы, в которых отражался отблеск грядущей революции:

Испепеляющие годы!
Безумья ль в нас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.
И позже, накануне Великого Октября:
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи…

Этот юный студент был будущий поэт Александр Блок, поступивший в Петербургский университет в том же 1898 году, что и я, и так рано, – я хорошо помню этот печальный августовский день 1921 года, – ушедший из жизни… В нашем доме бывала в двадцатых годах жена Блока – Любовь Дмитриевна, дочь Д. И. Менделеева. Читала поэму «Двенадцать» так, как учил ее муж…

Среди нас находился и поступивший тогда в университет студент Павел Елисеевич Щеголев, будущий замечательный пушкинист, автор классического труда «Дуэль и смерть Пушкина»… Так началось то чудесное утро, первое утро моего большого путешествия в новый век, в новый мир, в новую эпоху человечества.

Позже мне приходилось часто встречаться и беседовать с П. Е. Щеголевым. Дружеские отношения связывали меня и с другим замечательным пушкинистом начала веха, Николаем Осиповичем

Лернером…

* * *

Незадолго до Международной книжной выставки в печати отмечалось столетие со дня рождения известного дореволюционного издателя И. Д. Сытина. Я работал в издававшейся им газете «Русское слово» и на посвященных ему вечерах в Центральном доме литераторов, и у журналистов делился воспоминаниями о встречах с ним.

Среди книг я увидел прекрасно изданную Государственным издательством политической литературы книгу о Сытине, и воскресли в памяти его рассказы о том, как он пришел из деревни в Москву искать счастья. Здесь он создал крупнейшее в тогдашней России издательство, выпускал популярнейшую в то время газету, ему принадлежала нынешняя Первая образцовая московская типография, в которой работало три тысячи человек.

Особенно ярко запомнилась мне одна встреча с этим удивительным русским самородком. Это было в 1909 году.

Я жил тогда в Петербурге. Из петербургского отделения «Русского слова» раздался звонок:

– Арнольд Ильич, приехал Иван Дмитриевич… Просит вас зайти сейчас.

Сытин встретил меня приветливо, полувопросом, полуимперативом:

– Ну что же, поедем в Константинополь… Там началась младотурецкая революция… Выехать нужно завтра…

Государственная дума, где я работал постоянным специальным корреспондентом, была распущена на каникулы, такая поездка улыбалась мне, и я дал согласие.

– У вас есть наличные деньги? – обратился Сытин к заведывавшему отделением. – Нет?

Он вынул из кармана крупную сумму денег и передал мне:

– Вот вам на дорогу. Нужно будет еще, телеграфируйте, вышлем.

На другой же день я выехал в Одессу, оттуда морем. На пароходе оказался попутчик, корреспондент «Одесских новостей».

Остановка в Афинах, и мы в Константинополе. Столица Турции бурлила. Ощущалось жаркое дыхание революции. Была пятница, день селямлика. Восставший народ валом валил в Илтдыз-киоск, в парк, окружавший дворец, где обитал последний султан Турции Абдул-Гамид, вошедший в историю под именем Кровавого.

Наняли парный экипаж и влились в этот бурный поток. На мосту через Золотой Рог вытянувшиеся цепочкой солдаты неожиданно остановили нас, получили установленную за переезд через мост плату, и мы продолжили путь.

На площади перед дворцом войсковые части готовились к параду. Предстоял торжественный выезд султана из дворца в находившуюся неподалеку мечеть. Перед войсками гарцевал на белом коне Энвер-бей, возглавивший младотурецкое восстание.

Мы послали ему наши визитные карточки. Он подъехал к нам и, обращаясь по-французски, пригласил занять места в дипломатической ложе. Сопровождавшему его офицеру предложил доводить нас.

Вскоре начался выезд султана. В тот день народ впервые за десятилетия увидел его. Мне хорошо запомнилось зловещее мрачное лицо Абдул-Гамида, в красной феске на голове, с большой аккуратно подстриженной крашеной черной бородой.

Первую открытую карету пышного выезда занимал султан с молодой женой и наследником. Министры в красных фесках и мундирах, при орденах, бежали рядом с каретой, от времени до времени прикасаясь к ее покрытым пылью колесам, символически – праху следов падишаха.

Позади, в таких же открытых каретах, помещались старшие жены и приближенные.

Султан был вскоре свергнут…

Из Константинополя я направился в Египет. В годовщину открытия Суэцкого канала присутствовал в качестве журналиста в Каире на большом приеме во дворце Хедива.

Было душно, солнце нестерпимо палило, и всех пригласили на парадный спектакль в парке. На открытой сцене шла «Аида», опера, как известно, написанная композитором Верди по особому заказу, для торжеств в день открытия Суэцкого канала. Пели приехавшие в Каир по приглашению артисты миланского театра Ла Скала. Дирижировал Тосканини, партию Радамеса исполнял Энрико Карузо.

Мне довелось не раз слушать «Аиду» в прославленных московском Большом и петербургском Мариинском театрах, слушал шестьдесят лет тому назад в Париже, в знаменитые дягилевские русские сезоны.

Но ни один из этих спектаклей не оставил во мне такого сильного и яркого воспоминания, как этот, на родине Аиды, в насыщенный негой южный вечер, на берегу Нила, среди облитых лунным светом пальм – на краю Сахары, на виду у гигантского сфинкса и Хеопсовой пирамиды… И был я тогда на шестьдесят лет моложе, мне было всего тридцать…

Вся эта поездка была изумительна: после Египта – Малая Азия, Смирна, где, по преданию, Гомер слагал на берегу ручья свои песни, Яффа, Иерусалим.

Древний мир, поникшие руины, застывшие страницы библейских легенд и – мирная тогда жизнь на нашей планете… Окунувшись в эти далекие воспоминания, я неожиданно увидел портрет Сытина в посвященной ему «Жизни для книги»… Мне приходилось видеться с ним и в советское время. Как-то мы повстречались на улице Горького. Он пригласил меня зайти к нему, в принадлежавший ему у Пушкинской площади дом, где помещалось «Русское слово» и где он сам жил. В обширном кабинете, на камине, стояла небольшая бронзовая статуэтка – русского человека, в поддевке и высоких сапогах, подстриженного под скобку.

– Это мой благодетель, хозяин крошечной книжной лавки у Ильинских ворот, приютивший меня, когда я пришел из деревни в Москву, и научивший уму-разуму.

И тогда рассказал мне за чашкой чаю, как тепло и ласково принял его Владимир Ильич Ленин, когда он пришел к нему, через несколько дней после революции, в Смольный.

Ленин встал из-за стола, подал Сытину руку и сказал:

– Рад видеть вас, Иван Дмитриевич, что скажете мне?

– Владимир Ильич, вы знаете, что я полуграмотным парнишкой пришел из родной деревни в Москву. Здесь создал дело, которым всю свою жизнь служил просвещению русского народа. Все оно отошло к народу – так и должно быть… Ну, а с Иваном Дмитриевичем Сытиным что будете делать?

– Ивана Дмитриевича будем просить продолжать свою службу народу и помогать нам своим огромным опытом, – ответил Владимир Ильич.

И тут же выдал на бланке председателя Совета Народных Комиссаров, за своей подписью, охранную грамоту на неприкосновенность квартиры Сытина в принадлежавшем ему доме…

* * *

Совсем иные видения – далекие и близкие – пронеслись предо мною, когда я увидел на стенде издательства «Детская литература» написанную мною на 84-м году жизни книгу «Набережная Мойки, 12. Последняя квартира А. С. Пушкина», на 86-м – «Во глубине сибирских руд… Декабристы на каторге и в ссылке» и на стенде «Науки» – томик написанных на 88-м году

этюдов о Пушкине – «“Все волновало нежный ум…” Пушкин среди книг и друзей».

Вспомнился октябрь 1900 года. В царскосельском лицейском садике открывался памятник Пушкину – юный лицеист сидит в задумчивой позе на чугунной скамье. Сегодня этот памятник широко известен, тогда мы впервые увидели это прекрасное творение скульптора Р. Р. Баха. Мне, начинающему репортеру, редактор «России» В. М. Дорошевич, знаменитый фельетонист, мой газетный учитель, поручил дать в «Россию» отчет об открытии этого памятника. Я приехал в Царское Село задолго до торжества. У памятника встретился с известным историком литературы С. А. Венгеровым, поэтом И. Ф. Анненским и критиком А. М. Скабичевским. Больше поэтов и писателей не было. Вокруг покрытой белым полотнищем фигуры поэта собрались учащиеся царскосельских гимназий.

На открытие памятника Пушкину приехал его старший сын Александр Александрович. Ему было тогда 68 лет. Генерал-лейтенант, командир одного из гвардейских полков, он мало чем напоминал своего гениального отца, но привлекали его живые глаза, обрамленное седой бородой лицо в очках, приветливая улыбка.

Когда мы обратились к нему с вопросом об отце, он скромно ответил:

– Мне было всего четыре с половиной года, когда скончался отец. Что я могу сказать вам о нем?.. А вообще… Я ведь только сын великого человека…

Отчет об открытии царскосельского памятника был моим первым литературным трудом о Пушкине. Я долго и любовно работал над ним. Было в нем строк восемьдесят. Не могу судить сегодня о его литературных достоинствах, но, видимо, они были не очень высоки, и не слишком велик был тогда интерес к этому большому празднику русской культуры: из моего отчета редактор поместил в столбце газетной хроники ровно три строки. В библиотеке имени В. И. Ленина я разыскал недавно газету «Россия» с этим первым моим репортерским «отчетом».

* * *

Незадолго перед тем у меня произошла еще одна удивительная, связанная с Пушкиным встреча. Это было на одном из собраний Географического общества, отчет о котором я должен был дать в газету.

Председательствовал известный ученый, океанограф,

впоследствии почетный академик Юлий Михайлович Шокальский. Вместе с ним на собрание приехала его мать Екатерина Ермолаевна, стройная, восьмидесятилетняя женщина, с умными, ласковыми и теплыми глазами. Присутствовал еще прославленный путешественник Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, импозантный старик в белоснежных бакенбардах, с лорнетом в широкой черной тесьме.

Собрание проходило так, как всегда проходили и сегодня проходят собрания ученых обществ, и окончилось около десяти часов вечера. Но никто не расходился, и меня поразило, что речь зашла почему-то о Пушкине, причем чувствовалось, что всех объединяют какие-то связанные с поэтом глубоко личные воспоминания.

* * *

Совсем недавно, месяцев девять назад, я получил от моего друга, поэта Б. А. Шмидта, подарок: он поделился со мною куском воспетой Пушкиным, погибшей в 1965 году, в Тригорском, Елишатра. На нем его рукою надпись: «А. И. Гессену, к его 90-й весне. Ель-шатер. Апрель 1968».

Мне вспомнилась эта виденная мною много лет назад могучая ель – символ пережитых Пушкиным в Тригорском радостей. Ей он посвятил изумительные по яркости и поэтической фантазии стихи:

Но там и я свой след оставил,
Там, ветру в дар, на темну ель
Повесил звонкую свирель…

Эта драгоценнейшая реликвия украшает мой рабочий стол. Работая, я иногда беру ее в руки, мне кажется, она насыщена ароматом михайловских и тригорских рощ и вся пронизана звуками пушкинской звонкой свирели.

* * *

Я рассказал, как я стал в мои предельно поздние годы писателем, как пришел к моим книгам о Пушкине и его спутниках, декабристах. И невольно вспоминаю прочитанную в детстве автобиографическую повесть датского сказочника Андерсена. Он предпослал ей строки: «Я рассказал здесь сказку

моей жизни, рассказал ее искренно и чистосердечно, как бы в кругу близких людей».

Жизнь человека часто в самом деле складывается чудеснее и фантастичнее любой сказки. Мне кажется, что, вступив только что в мое десятое десятилетие, вспоминая и снова переживая мои былые яркие страницы, все виденное и слышанное в двадцати трех странах мира, встречи мои с выдающимися людьми двух эпох, и я рассказываю здесь сказку моей жизни. Сказку о моем путешествии из далекого прошлого полукрепостнической России последней четверти ушедшего века в настоящий день нашей великой Родины, где самые дерзкие мечты человечества становятся былью. И часто удивляюсь: как много может вместить в себя жизнь одного человека.

Мне хочется сказать, заканчивая, что изо дня в день целеустремленный труд, всегда радостная работа с книгой и над книгой, ежедневное общение с Пушкиным и его творчеством, непреодолимое желание щедро отдавать людям все накопленное не дают мне стареть, сохраняют молодость души и сердца. И в осень жизни, которая может быть так же прекрасна, как и осень в природе, все это является неиссякаемым источником оптимизма, воли к жизни, больших радостей и подлинного счастья…

«Бронзовый» Пушкин [26]

Шестьдесят три года тому назад в столетнюю годовщину со дня рождения А. С. Пушкина в царскосельском лицейском садике заложен был и через полтора года в погожий осенний день открыт памятник А. С. Пушкину.

Я только что переехал тогда из глубокой провинции в Петербург, поступил в университет и начал работать в газете «Россия», которую возглавляли два крупнейших фельетониста того времени – В. М. Дорошевич и А. В. Амфитеатров.

Мне предложили поехать в Царское Село и дать в газету отчет об открытии памятника. Приехал я рано, возле памятника было еще совсем немного людей. Автор памятника, скульптор Роберт Романович Бах был уже здесь. Он сидел поодаль и, видимо волновался: сумел ли он отразить в облике поэта те чудесные мгновения первых творческих восторгов, о которых говорили высеченные на монументе пушкинские строки:

Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.

Памятник открыли в скромной и совсем не торжественной обстановке. Были еще живы дети поэта, но приехал лишь старший сын Александр Александрович. Ждали президента Российской академии наук, великого князя Константина Константиновича, но он не приехал.

Из литераторов присутствовали лишь историк литературы С. А. Венгеров, критик А. М. Скабичевский и живший в Царском Селе поэт И. Ф. Анненский.

Открыл торжество старейший лицеист Л. Ф. Кабенко, впоследствии директор Петербургской публичной библиотеки.

Скрывавшая Пушкина пелена спала. Сейчас царскосельский памятник широко известен, но в этот день мы впервые увидели прекрасное создание Баха.

Вскоре после открытия царскосельского памятника мне пришлось присутствовать на одном из заседаний Русского географического общества. После заседания мы разговорились со знаменитым путешественником Петром Петровичем Семеновым-Тян-Шанским. Речь зашла о Пушкине. Оказалось, что Семенов-Тян-Шанский десятилетним мальчиком стоял у гроба поэта, был знаком со всеми детьми Пушкина и рассказывал о том, как 6 июня 1880 года присутствовал вместе с ними на открытии московского

памятника поэту. Он был знаком с автором памятника А. М. Опекушиным и передавал интересные подробности о том, как создавался памятник.

Памятник этот должен был поставлен в Петербурге, но когда на сооружение его уже были собраны по подписке, по рублям и копейкам 106 575 рублей, выяснилось, что «…в Петербурге, уже богатом памятниками царственных особ и знаменитых полководцев, мало надежды найти достойное поэта и достаточно открытое место для памятника Пушкину…». Так доложил на заседании комитета по сооружению памятника его председатель академик Я. К. Грот.

В Петербурге не нашлось места для памятника национальному поэту России! И тогда решено было поставить его в Москве, куда Пушкин всегда уезжал, когда ему невыносимо и душно становилось в пышном и холодном Петербурге. Забегая вперед, скажу, что лишь в советском Ленинграде было найдено «достойное поэта и достаточно открытое место» для памятника Пушкину – на площади Искусств, перед Русским музеем.

На создание проекта московского памятника были объявлены один за другим три конкурса. Перед скульпторами поставлена была задача создать памятник, «отвечающий идеалу простоты и единства, которые желательно видеть осуществленными в памятнике поэту, отличавшемуся именно этими чертами творчества». В конкурсах приняли участие виднейшие скульпторы того времени С. С. Пименов, М. М. Антокольский, П. П. Забелло и другие. Судьями были И. Е. Репин, Н. Н. Крамской, В. В. Стасов. Принял участие в конкурсе и победил А. М. Опекушин.

Проект Опекушина, не отвечавший установившимся академическим канонам, был встречен официальными кругами Петербурга враждебно.

«Чему же учат в Академии художеств, – писала тогдашняя реакционная газета «Голос», – когда на пушкинском конкурсе всех академиков заткнул за пояс какой-то крестьянин Опекушин!»

Опекушин работал над созданием образа Пушкина восемь лет. Памятник был открыт в Москве 6 июня 1880 года при огромном стечении народа и поразил всех своей величавой красотой.

Эти далекие воспоминания закончу рассказом о моей новой встрече с баховским Пушкиным.

…Рвавшихся к осажденному Ленинграду гитлеровцев только что изгнали из города Пушкина (бывшее Царское Село. – А.К.).

В царскосельский лицейский садик пришел взвод красноармейцев с ломами, лопатами и веревками. Памятник Пушкину при приближении фашистов был спрятан под землю. И первое, сто сделали освободившие город бойцы, – пришли освободить Пушкина.

Начали рыть землю, осторожно вскрывая лопатами пласты земли. Наконец, показалась голова поэта. Он казался усталым, на лице лежали какие-то тени.

Молодой красноармеец долго смотрел на хорошо знакомые черты поэта, потом вынул из гимнастерки белый носовой платок и, придерживая голову рукой, любовно очистил от земли прекрасное лицо. И потом тем же платком украдкой смахнул слезу.

Три памятника [27]

Мысль о создании памятника Пушкину возникла у его лицейских товарищей еще в 1860 году. Было собрано по всероссийской подписке 106 575 рублей.

Первый памятник Пушкину, созданный скульптором А. М. Опекушиным, был поставлен в 1880 году в Москве.

Проект Опекушина официальными кругами Петербурга был встречен враждебно. Он не соответствовал издавна установившимся канонам академического искусства. Да и сам скульптор, выходец из крепостных крестьян-лепщиков деревни Рыбницы Ярославской губернии, не импонировал правительству.

На следующий день после открытия памятника А. М. Опекушин пришел на Тверской бульвар и долго стоял у созданного им из бронзы Пушкина. Сюда же пришел и И. С. Тургенев. Он обнял Опекушина.

– Точно солнце озарило мое сердце! – вспоминал этот день скульптор.

Созданный А. М. Опекушиным памятник известен сейчас всей стране. Он производит большое впечатление своей величавой простотой. Поэт стоит в крылатке, склонив голову набок, в задумчиво-созерцательной позе. Одну руку он заложил за жилет, другой держит за спиной шляпу.

* * *

26 мая 1899 года – сотый май со дня рождения Пушкина… В этот день был заложен памятник Пушкину в Царском Селе, в небольшом садике при лицее, где поэт учился.

В конкурсе по созданию памятника приняли участие виднейшие скульпторы того времени: Бах, Чижов, Позен, Беклемишев. Победителем вышел Бах.

Памятник этот теперь широко известен. На гранитном пьедестале – чугунная скамейка. Опершись головой на правую руку, поэт сидит в задумчивой позе. Его лицейский сюртук расстегнут, на скамейке – лицейская фуражка.

Царскосельский памятник Пушкину был открыт в 1900 году в скромной обстановке.

* * *

Созданный молодым советским скульптором М. К. Аникушиным вдохновенный бронзовый Пушкин встал в дни 250-летия города на одной из красивейших площадей Ленинграда – площади Искусств.

Трудно было найти лучшее место для памятника поэту. Пушкин находится здесь в окружении Русского музея, Малого оперного театра, Государственной филармонии, театра комедии. Здесь же, на площади, и дом М. Ю. Виельгорского – поэта, композитора и музыканта, у которого Пушкин не раз бывал. И сама площадь – чудесное творение Карла Росси, с которым Пушкин когда-то вместе жил в старой Коломне, на Фонтанке, в доме Клокачева.

Памятник Пушкину М. К. Аникушина дополнил великолепный ансамбль Росси, и сегодня уже трудно представить себе площадь Искусств без Пушкина…

* * *

Три памятника Пушкину – три запечатленных в бронзе образа любимого поэта. Но какие они все разные!

Царскосельский памятник – это юный Пушкин. Памятник прекрасен по замыслу и композиции, но изваянное Бахом лицо юного поэта слишком серьезно и мужественно. Это не тот пятнадцатилетий мальчик-лицеист, который только что прочитал в актовом зале Лицея «Воспоминания в Царском Селе» и стремительно убежал, спасаясь от похвал и поцелуев Державина.

Памятник в Москве…

Серьезный, ушедший в себя, глубокий своим внутренним содержанием поэт. Это Пушкин зрелых лет, который в годы ссылки и изгнания писал:

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!

И, наконец, великолепный, оживший в бронзе, необычайно выразительный образ Пушкина на площади Искусств. Он весь порыв и вдохновение, живой и обаятельный Пушкин, народный поэт – именно таким он запечатлен в наших сердцах.

* * *

В Москве, на том месте, где стоял когда-то старый деревянный дом «коллежского регистратора Ивана Васильевича Скворцова», в котором родился поэт, сейчас высится многоэтажное здание школы имени А. С. Пушкина.

К ней примыкают небольшой сад и два сохранившихся еще с пушкинских времен одноэтажных флигеля.

В школе и в саду ежегодно, 6 июня, собираются многочисленные потомки тех друзей и почитателей Пушкина, которые праздновали день рождения поэта при его жизни. День обычно заканчивается в Библиотеке имени Пушкина на Бауманской площади.

Уже девять лет в саду перед школой стоит небольшой гранитный камень с надписью, что здесь, на месте рождения поэта, будет сооружен памятник.

В будущем году исполняется сто шестьдесят лет со дня рождения Пушкина. Жители Москвы ждут открытия этого памятника.

Мой путь к Пушкину [28]

Пушкин… В последнем, 1900 году прошлого столетия мне довелось встретиться со старшим сыном поэта Александром Александровичем при открытии памятника лицеисту Пушкину в царскосельском лицейском садике.

Передо мною сидел на чугунной скамейке в распахнутом лицейском сюртуке юный поэт. Против него с большой теплотой и любовью во взоре, стоя, смотрел на отца 67-летний генерал. Он был в парадном мундире, при орденах, с лицом, обрамленным седою бородою, в очках – командир Нарвского уланского гвардейского полка.

Прощаясь, он ласково протянул мне руку в ответ на мои вопросы к нему об отце…

Меня постигла в тот день величайшая удача… Я возвращался в Петербург под сильнейшим впечатлением этой необычной, я бы сказал, встречи сказочной. Я размышлял дорогой об удивительной судьбе и происхождении этой ветви Пушкина и его детей.

Ведь великий наш поэт был внуком, а сын его, блестящий генерал, правнуком арапа Петра Великого, Абрама Петровича Ганнибала…

Вскоре после этого у меня произошла еще одна, не менее удивительная встреча – с дочерью Анны Керн, Екатериной Ермолаевной. Это произошло на одном из заседаний Географического общества, где председательствовал сын ее, внук Анны Керн, знаменитый ученый, океанограф, почетный академик Юлий Михайлович Шокальский.

В девичьи свои годы мать его, Екатерина Ермолаевна, часто встречалась с Пушкиным. Ей было 19 лет, когда поэт погиб.

Ею увлекался М. И. Глинка. По ее просьбе он написал музыку к посвященному Пушкиным ее матери стихотворению «Я помню чудное мгновенье…».

В тот вечер, когда я встретился с нею, ей было уже около восьмидесяти. Прощаясь, я поцеловал ей руку. Присутствовавший при этом известный путешественник П. П. Семенов-Тян-Шанский, взяв меня под руку, тихо сказал:

– Молодой человек! Вы только что поцеловали руку, к которой прикасались Пушкин и Глинка… Вспоминаю, мне было девять лет, когда я присутствовал с отцом у гроба Пушкина, и эта самая значительная страница моей жизни… Запомните и вы этот вечер… Десятилетия пройдут, но этой встречи вы никогда не забудете…

С тех пор протекло 72 года.

Мне было тогда 22 года, я работал репортером в газете «Россия», возглавлявшейся моим учителем в литературе В. М. Дорошевичем… Сейчас я встретил уже мою 95-ю весну, но эти две встречи тех дней всегда вспоминаю с волнением неописуемым… Они, конечно, явились первым моим шагом на большом, долгом и радостном пути моем к Пушкину…

* * *

Не могу не рассказать сегодня об удивительной моей встрече тогда с гениальными людьми ушедшей эпохи. Это было в 1898 году.

Я только что приехал в Петербург из маленького – всего пять тысяч жителей – городка Курской губернии, где родился, учился в гимназии и одновременно помогал отцу, переплетчику, в его мастерской…

Уплатив три копейки, я взобрался на империал конки, запряженной тремя лошадьми, и отправился в Петербургский университет. Это был единственный в то время способ передвижения по Невскому проспекту…

В университете я прослушал первую лекцию. Ее читал известный ученый, гистолог Александр Станиславович Догель. И затем, влекомый шумной студенческой волной, оказался в амфитеатре большой химической аудитории университета, где должен был читать лекцию Дмитрий Иванович Менделеев.

Я занял место на одной из скамей амфитеатра. Близ меня сидел поступивший в том же 1898 году, что и я, еще никем не знаемый будущий великий поэт Александр Блок. И здесь же – такой же юный студент, будущий замечательный пушкинист Павел Алексеевич Щеголев…

С ним сложились у меня позже многолетние дружеские отношения… Все поразило меня в то незабываемое утро… На стене против амфитеатра была начертана во всю стену периодическая система Менделеева…

Прошло несколько минут, и из маленькой двери в стене показался сам Дмитрий Иванович, ее гениальный создатель.

На нас, юных студентов, он произвел впечатление неизгладимое.

Я и сегодня, через три четверти века, вижу его пред собою таким, каким видел в тот далекий день.

Гениальный ученый с мировым уже именем потряс нас своим внешним обликом: ниспадающая до плеч грива седых волос и

мудрое, вдохновенное лицо глубокого мыслителя… Мы не могли оторвать от него глаз…

Весь под впечатлением этой неожиданной встречи с гением, я вышел из университета, перешел через Дворцовый мост и направился по набережной Невы к Летнему саду…

В то памятное утро все складывалось для меня сказочно. Утро это как бы предопределяло весь мой дальнейший необычный жизненный путь…

* * *

В Летнем саду меня ожидала в тот день еще одна незабываемая встреча…

В одной из аллей я увидел шедшего впереди меня человека с большой седой бородой, в осеннем пальто и высоких сапогах. В руках палка, на голове потерявшая уже свою форму черная шляпа. Он заинтересовал меня, и я стал невольно наблюдать за этим человеком…

Ускорил шаг, поравнялся с ним. Он повернул в мою сторону голову, бросил на меня мимолетный, проницательный взгляд и продолжал свой путь…

Я оторопел и замедлил шаг… Это был Лев Николаевич Толстой… Позже я не раз встречался с ним в редакциях, где работал, но эту встречу с ним в аллее Летнего сада и сегодня вспоминаю с большим волнением…

Так началось то необычайное и удивительное, первое петербургское утро моей жизни…

* * *

Невольно вспоминаю сегодня любопытную запись писателя А. И. Куприна. Ему довелось встретиться с человеком, видевшим Пушкина. Тогда же он увидел в Крыму на пароходе Льва Толстого и записал, что пройдут десятилетия и уже на людей, видевших Толстого, будут смотреть, как на чудо…

Толстой, как известно, скончался в 1910 году. Куприн вернулся в Россию после многолетней чужбины в 1937 году.

Я работал тогда в Гослитиздате, заведовал художественной редакцией. Меня вызвал к себе покойный директор Гослитиздата Н. Н. Накоряков и познакомил с А. И. Куприным.

Я улыбнулся и напомнил писателю, что мы с ним познакомились еще в начале века:

– Как давно это было… Не вспомните ли вы, Александр Иванович, студента тех лет с большой шевелюрой?.. Не узнаете?.. Мы встречались с вами в редакциях газет, а иногда «У Давыдка», в небольшом ресторанчике на Владимирской, 14, где в уютной, красной комнатке, с графинчиком на столе, вы нередко писали свои чудесные рассказы…

Слово за словом мы стали вспоминать те далекие дни… Вспомнили, улыбнулись, пожали друг другу руки, дружески обнялись.

Поражен был и директор Н. Н. Накоряков, присутствовавший при этой встрече…

Со дня этой новой и последней моей встречи с Куприным протекло уже тридцать пять лет. Они промелькнули как сон… Почти столько же протекло после записи писателя о чуде человеческого долголетия.

Это вынуждает меня рассказать здесь и о собственном долголетии и возразить Куприну по поводу его записи в дневнике о чуде. Никакого чуда здесь нет…

* * *

В 1899 году газета «Россия» направила меня, репортера, на собрание в общество поощрения художников, на Морской. Там я неожиданно оказался в окружении крупнейших художников той поры: Репина, Поленова, Крамского, Серова, Куинджи, Левитана, Сурикова, скульптора Антокольского.

Позже приехал Шаляпин, и Серов стал набрасывать эскиз его портрета, во весь рост, украшающего сегодня Московскую Третьяковскую галерею. Во время работы Серова над эскизом Шаляпинского портрета к нему подошел Владимир Васильевич Стасов, могучий гигант с большой седой бородой, и заметил:

– Валентин, ты рисуешь портрет артиста, молодца с волжских берегов, выражение глаз его такое, будто он только что спел «Элегию» Массне.

Серов улыбнулся, двумя-тремя штрихами придал глазам совсем иное, озорное выражение и снова улыбнулся. Улыбнулся и Стасов, дружески поощряя талантливого художника.

* * *

Рассказать о моей встрече в конце прошлого столетия со Стасовым побудило меня сегодня неожиданное обстоятельство.

Только что я прочитал в журнале статью «С Маршаком» о пребывании этого замечательного поэта и писателя в ноябре 1963 года в Ялте.

Автор статьи Василий Субботин рассказывает, что В. В. Стасов, глава «могучей кучки», объединивший в своем лице художников, писателей, музыкантов, композиторов, родился при жизни Пушкина, мог знать Крылова, знал Некрасова, встречался с Тургеневым, дружил с Толстым.

Статья эта меня поразила. Я отнесся к сообщению автора с недоверием. Ведь я лично встретился в 1899 году в обществе поощрения художеств со Стасовым… Как же он мог родиться при жизни Пушкина?..

Между тем и автор статьи «С Маршаком» рассказывал, что однажды Стасов повез к Льву Толстому маленького Маршака, в котором чутьем ощутил будущего талантливого поэта и писателя.

Оба они стояли у привезенного в Ясную Поляну фото: сверху – могучий великан с длинной, длинной седой бородой Стасов, улыбающийся стоящему внизу маленькому Маршаку…

Я стал проверять даты рождения и смерти Стасова и Пушкина и был поражен: Стасов действительно родился в 1824 году, за тринадцать лет до гибели Пушкина, в 1837 году, после дуэли. Со Стасовым же я встретился в 1899 году, за семь лет до его кончины, в 1906 году. Он скончался на 82-м году жизни.

Стасов, как известно, рос в доме родителей, в обстановке и окружении людей высокой культуры. Гибель Пушкина после дуэли потрясла тогда всю Россию, и Стасов, которому тогда было уже тринадцать лет, мог, конечно, выразить свое отношение к этому общему горю, постигшему в те дни Россию…

* * *

Обстоятельства, связанные с жизнью В. В. Стасова, неожиданно прервали нить моих личных воспоминаний о моем сложном и долгом пути к Пушкину.

Должен сказать, что образ Пушкина я с детских лет носил в сердце. В дни 100-летия со дня его гибели и 150-летия со дня рождения я встречался в Большом театре и в Доме литераторов с внучками и правнуками поэта. Сегодня встречаюсь с их потомками.

Почему же, спрашивают меня, был так долог мой путь к Пушкину? Почему так поздно я написал и выпустил мою первую книгу «Набережная Мойки, 12», о последней квартире Пушкина?

Нужен был, видимо, какой-то толчок, сильный толчок, чтобы

пробудить меня к действию, к новой жизни, к Пушкину… Таким толчком явилось первое посещение мое последней квартиры поэта 10 февраля 1956 года в день памяти его гибели.

Я вышел тогда из квартиры Пушкина под сильнейшим впечатлением, сразу же бросился в публичную библиотеку и до глубокой ночи погрузился в ознакомление с материалами о жизни и творчестве поэта.

Вернувшись в Москву, я уже не мог расстаться с Пушкиным. Писал очерки и этюды о нем, выступал по радио и телевидению… Пять лет я посвятил этому, и лишь на 84-м году жизни выпустил первую мою посвященную поэту книгу.

Сейчас выходят уже четвертыми изданиями две первые мои книги: «Набережная Мойки, 12. Последняя квартира А. С. Пушкина» и «Во глубине сибирских руд…». Печатаются и скоро выйдут две новые мои книги: в издательстве «Детская литература» – «Жизнь поэта» и в издательстве «Наука» Академии Наук СССР – второй томик моих этюдов о Пушкине среди книг и друзей «Рифма, звучная подруга…».

Пушкин явился для меня неисчерпаемым источником не только больших радостей и счастья, но, думается мне, и долголетия…

В журнале «Дошкольное воспитание» читатели познакомятся с отдельными очерками и этюдами первых двух глав моей книги «Жизнь поэта».

* * *

В последний вечер восемнадцатого столетия, 31 декабря 1800 года, у Пушкиных собрались гости. Стол был парадно накрыт. Ждали наступления Нового года, нового, девятнадцатого столетия.

Поэты читали стихи, хозяйка дома Надежда Осиповна, «прекрасная креолка», внучка арапа Петра Великого, вполголоса подпевая, исполняла на клавесине романсы.

Ровно в полночь раздался звон часов. Первый удар, за ним второй, третий… последний – двенадцатый… Гости подняли бокалы, поздравили друг друга:

– С Новым годом! С новым столетием!

Звон бокалов и громкие голоса гостей разбудили спавшего в соседней комнате маленького сына Пушкиных, Александра. Ему было всего полтора года. Как гласит легенда, он соскочил с кроватки, тихонько приоткрыл дверь в комнату, где собрались гости, и в одной рубашонке, ослепленный множеством свечей,

остановился у порога.

Испуганная, за ребенком бросилась няня, крепостная Пушкиных Ульяна Яковлева. Но мать Надежда Осиповна остановила ее.

Тронутая неожиданным появлением сына на пороге нового века, она взяла его на руки, высоко подняла над головой и сказала, восторженно обращаясь к гостям:

– Вот кто переступил порог нового столетия!.. Вот кто в нем будет жить!..

Это были вещие слова, пророчество матери своему ребенку…

Друзья поэта [29]

Пушкин умирал…

Он лежал в кабинете на диване в окружении книг своей библиотеки.

В соседней гостиной находились его близкие друзья – поэты и писатели, с которыми он только что трогательно и взволнованно простился.

У постели умиравшего безотлучно находились врачи, и среди них – В. И. Даль, его друг, писатель и врач, с которым он сблизился во время поездки на места пугачевского восстания.

– Мне приятно видеть вас, – сказал ему Пушкин, – и не только как врача, но и как близкого мне человека по общему нашему литературному ремеслу…

Положение его ухудшалось. Он попросил принести детей, благословил их, попрощался с ними.

– Кто еще приходил навестить меня? – не раз спрашивал он среди тяжких страданий.

– Кого хотелось бы вам видеть? – спросил его доктор Спасский.

– Мне было бы приятно видеть их всех, но у меня нет сил говорить с ними, – сказал Пушкин.

И затем тихо промолвил, обращаясь к книгам своей библиотеки:

– Прощайте, друзья!

Вот с этими друзьями поэта мы знакомимся при посещении хранилища личной библиотеки, рукописей и рисунков Пушкина в Пушкинском доме Академии наук СССР.

* * *

Открывая большим ключом огромную стальную дверь комнаты-сейфа, девушка тихо сказала:

– Это – святая святых. Здесь сердце Пушкинского дома…

Строго и чинно стоят здесь книги в высоких, до потолка, шкафах, принадлежавших в недавнем прошлом профессору С. А. Венгерову, редактору собрания сочинений Пушкина. Высокие, светлого дерева шкафы, большой письменный стол, за которым в конце прошлого века работал драматург П. П. Гнедич, старинные кресла у стола, бронзовый бюст поэта на возвышении – вся эта торжественная обстановка хранилища производит большое впечатление. Но нас охватывает глубокое волнение,

когда девушка раскрывает двери одного из шкафов, и мы оказываемся лицом к лицу с книгами, которые Пушкин держал в своих руках, разрезал своим ножом, читал.

Пушкин имел обыкновение читать книги с карандашом или пером в руках, и многие страницы их испещрены пометками поэта. При этом он вписывал в особую тетрадь те или иные заинтересовавшие его выдержки из прочитанного.

Отметки Пушкина на книжных полях дают возможность судить о том, какие темы его больше всего интересовали.

Очень много пометок в «Песне ополчения Игоря Святославовича, князя Новгород-Северского» А. Ф. Вельтмана, в мемуарах Байрона, опубликованных в 1830 году Томасом Мором, в сочинениях Вольтера и других.

Многочисленные отметки на «Записках о службе А. И. Бибикова», изданных в 1817 году, дают возможность предполагать, что Пушкин пользовался ими при работе над «Историей Пугачева». На многих страницах поставлены вопросы и рукою поэта написано: «Вздор!», «Откуда?». Слова «велел бить монеты с именем императора Петра III, рассылал повсюду Манифесты» Пушкин перечеркнул и написал: «Вздор!.. Пугачев не имел времени чеканить деньги и вымышлять затейливые надписи».

На чистом листе в томике стихотворений Андре Шенье издания 1819 года вписаны неизданные французские стихи этого поэта.

Многочисленными пометками испещрены страницы Байрона на французском языке. Рядом Байрон на английском – подарок с надписью на польском языке: «Байрона Пушкину дарит почитатель обоих А. Мицкевич».

В томике произведений Гейне остался лежать листок с записью, сделанной Пушкиным: «Освобождение Европы придет из России».

На втором томе басен Лафонтена надпись: «13 июля 1817, в Михайловском» и цитата из Лагарпа, карандашом, на обороте титула: «Не нужно хвалить Лафонтена, его нужно читать, перечитывать и снова перечитывать».

На некоторых книгах имеются шутливые надписи. Например, на одной из страниц «Собрания 4291 древних русских пословиц» рукою Пушкина вписана пословица: «В кабак далеко, да ходить легко. В церковь близко, да ходить склизко».

Особо отмечены в этой книге 47 пословиц. Сорок восьмую – «Ворон ворону глаза не выклюнет; а хоть и выклюнет, да не вытащит» – Пушкин записал на оборотной стороне письма к Чаадаеву от 19 октября 1836 года – даты последней лицейской

годовщины, на которой присутствовал поэт.

Две шутливые пословицы написаны Пушкиным на полях французской книги «Физиология вкуса»: «Не откладывай до ужина того, что можешь съесть за обедом»; «Желудок просвещенного человека имеет лучшие качества доброго сердца: чувствительность и благодарность».

* * *

Из составленного Б. Л. Модзалевским каталога пушкинской библиотеки мы узнаем, что в ней было 1523 названия в 3560 томах, из которых 529 названий на русском языке и 994 – на четырнадцати иностранных.

В каталоге 22 раздела, и охватывают они самые разнообразные отрасли знания: историю, изящную словесность – поэзию и прозу, драматические произведения, народную словесность, теорию словесности, историю литературы, историю церкви, географию, путешествия, описания государств, статистику, этнографию, естествознание, медицину, юридические науки, языкознание, лечебники, месяцесловы, письменники, песенники, поваренные книги, руководства к играм.

В библиотеке имеются старинные издания, отпечатанные еще в конце XVI века, и очень редкие книги. Среди них – один из немногих уцелевших экземпляров первого издания (1790 года) «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева в красном сафьяновом переплете с золотым тиснением и обрезом. В тексте много отметок красным карандашом.

* * *

В книгах пушкинской библиотеки ярко отразились душа и мысли поэта. Невольно вспоминается, как, посетив кабинет Онегина,

Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает

То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.

Приходят на память еще две строки из «Евгения Онегина»:

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей…

На одной из страниц изданной в Париже в 1835 году книги Мармье «Etudes sur Qoethe» против строк о еврейской, арабской и персидской поэзии мы видим сделанную Пушкиным резкую отметку ногтем…

Два часа среди книг личной библиотеки Пушкина… Мы точно перенеслись в прошлый век, в пушкинскую эпоху, встретились с живым Пушкиным, ощутили биение его сердца.

Волшебные сказки [30]

Над колыбелью маленького Александра склонились две добрые феи. Не сказочные – земные, две русские женщины: бабушка Мария Алексеевна Ганнибал и няня Арина Родионовна.

Обе они с детских лет лелеяли Сашу, а няня стала для него как бы второй матерью; до конца дней не расставалась она со своим питомцем. Пушкин относился к ней нежно и посвятил ей несколько стихотворений.

С детства окунулся Александр Пушкин в мир волшебных сказок, старинных былей и небылиц, пословиц и поговорок, которые замечательно рассказывали няня и бабушка.

В сельце Захарове под Москвой, где мальчик жил летом с бабушкой и нянею, он часто слышал, как на заре пастух играет на свирели. И вся эта прелесть сельской жизни, поэзия бабушки и няни слились у него в один милый, незабываемый образ, и в зрелые годы он писал:

…в вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой,
И надо мной сидела в шушуне.
В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.

В стихотворении «Муза» Пушкин так вспоминал свои первые детские стихи – он писал их в Захарове, часто на коре берез:

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила.
Она внимала мне с улыбкой – и слегка
По звонким скважинам пустого тростника
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной…

«Девой тайной» Пушкин называет Музу – богиню поэзии.

Учась в Царскосельском лицее, Пушкин не раз вспоминал сказки няни о мертвецах и подвигах Бовы. В одном из стихотворений он пишет:

Все в душу страх невольный поселяло,
Я трепетал – и тихо, наконец,
Томленье сна на очи упадало.
Тогда с толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал я здесь Полканов и Добрыней
И в вымыслах носился юный ум.

Советские дети очень любят сказки Пушкина. А ведь сказки эти маленькому Саше рассказывала няня, он заслушивался ими и позже, когда ему было уже двадцать пять лет и царь сослал его в Михайловское за его вольнолюбивые стихи.

В долгие зимние вечера, когда за окном бушевала метель, а в печной трубе гудел ветер, Пушкин любил слушать «шепот старины болтливой», как называл он сказки.

От Арины Родионовны Пушкин услышал впервые и про избушку на курьих ножках, и про тридцать витязей прекрасных, и сказку о мертвой царевне и семи богатырях, и о попе и работнике его Балде.

Часто, когда на душе было грустно, просил няню, как в далеком детстве:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Семь сказок записал Пушкин в свою большую тетрадь со слов няни. Позже, расцветив их своей чудесной поэтической фантазией, превратил в замечательные поэмы и песни, которыми все мы, и дети и взрослые, зачитываемся сегодня, через полтора столетия.

Все эти записи хранятся, как величайшее сокровище, в Пушкинском доме Академии наук СССР. Здесь собрано почти все написанное рукою Пушкина, все рисунки, которые он часто делал на полях рукописей. Среди них – стихи, посвященные Арине Родионовне, и два ее письма. Пушкин очень дорожил ими и хранил в

особом ларце.

Ель-шатер [31]

Недавно ушел из жизни еще один свидетель пушкинского вдохновения: это знаменитая Ель-шатер в Тригорском.

Она родилась в тот год, когда юный Пушкин уезжал в Царскосельский лицей.

Тоненькая, прямая, она тянулась к голубому весеннему небу в самой глубине Тригорского парка. Ель росла на небольшой поляне и на фоне светлой легкой листвы лип и дубов казалась стройной и статной красавицей с тонкой талией.

В разные годы являлся Пушкин под сень михайловских и тригорских рощ. Ель-красавица в первый раз увидела поэта, когда он был еще беспечным, веселым юношей. Только что окончив Царскосельский лицей, Пушкин приехал в Михайловское и провел много чудесных дней в соседнем селе Тригорском у хозяйки усадьбы Прасковьи Александровны Осиповой.

Возвращаясь в Петербург, Пушкин вписал в альбом Осиповой стихотворение, в котором прощался с Тригорским:

Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей,
И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!

Лишь через семь лет он вернулся под его липовые своды, вернулся не вольным поэтом, а опальным изгнанником.

Уже в зрелом возрасте поэт с грустью вспоминал михайловские и тригорские рощи:

…Годы
Промчалися, и вы во мне прияли
Усталого пришельца; я еще
Был молод, но уже судьба и страсти
Меня борьбой неравной истомили…

Возмужала за эти годы и ель. Темные густые ветви ее опустились до самой земли, образуя шатер. Они-то и дали ей имя: Ель-шатер.

Два года жизни ссыльного поэта были печальными и радостными по-своему. Муза и рифма, звучная подруга, не расставались с ним. Его навестили любимые лицейские товарищи

Дельвиг и Пущин. Здесь мимолетным видением явилась пред ним Анна Керн…

В 1830 году, в свою изумительную Болдинскую осень, Пушкин в «Евгении Онегине» благодарно вспоминает Тригорское и его обитателей:

Везде, везде в душе моей
Благословлю моих друзей!
Нет, нет! нигде не позабуду
Их милых, ласковых речей;
Вдали, один, среди людей
Воображать я вечно буду
Вас, тени прибережных ив,
Вас, мир и сон тригорских нив.
……
И берег Сороти отлогий,
И полосатые холмы,
И в роще скрытые дороги,
И дом, где пировали мы, —
Приют, сияньем муз одетый…

Ель-шатер становится символом пережитых в Тригорском поэтических радостей. Пушкин вспоминает, как явился в Тригорское Языков «и огласил поля кругом очаровательным стихом». И заканчивает строфу тремя изумительными по яркости и поэтической фантазии стихами:

Но там и я свой след оставил,
Там, ветру в дар, на темну ель
Повесил звонкую свирель.

Ель-шатер больше чем на столетие пережила своего поэта. Она поднялась к концу своих дней на высоту сорока метров. Широко раскинувшиеся во все стороны темные ветви придавали дереву сказочный вид, образуя настоящий зеленый шатер, под которым могли укрыться от дождя больше десяти человек…

В начале нашего века красавица стала болеть. Не выносила больше сильных морозов. Преобразилась и внешне – ветви ее приобрели своеобразную, благородную седину.

В сороковые годы ель сильно пострадала от нанесенных ей фашистами пулевых и осколочных ранений. За ней ухаживали, ее, как человека, лечили. Но поправиться она уже не могла.

В яркий майский день 1965 года ель закончила свою жизнь. На

месте, где росла Ель-шатер, поставили надпись, рассказывающую людям историю ее жизни, и посадили стройную десятилетнюю елочку, по своей форме очень напоминающую знаменитую Ель-шатер.

Возрождение из праха [32]

Хранитель знаменитой «Тайной вечери» в монастыре Санта-Мария делле Грацие рассказывал в свое время Оресту Кипренскому, что Наполеон, придя с войсками в Милан, несколько часов подряд в глубокой задумчивости провел перед гениальным творением Леонардо да Винчи: уничтожающие силы войны стороной обошли великое создание искусства.

Этот эпизод невольно вспоминался, когда после изгнания гитлеровцев мы стояли перед гигантским остовом творения Растрелли – разрушенным Екатерининским дворцом в городе Пушкине, бывшем Царском Селе: варвары ничего не пощадили…

Мы в Пушкине. Кругом кипит жизнь. Люди заполняют чудесный парк, где все овеяно памятью великого русского поэта, приходят к бронзовому юноше-Пушкину, который по-прежнему сидит на скамейке в лицейском садике, заходят в восстановленный лицейский актовый зал и «келью», где жил поэт. Полной жизнью живут и «огромные чертоги» Камероновой галереи: здесь открыта большая пушкинская выставка.

Кажется, лишь Екатерининский дворец застыл в своем трагическом безмолвии. Но строительные леса уже начали закрывать изуродованную лепку фасадов. Много лет научные сотрудники дворца-музея собирали и изучали архивные материалы, пожелтевшие листы старинных планов и чертежей, сохранившиеся рисунки и акварели. В залах Екатерининского дворца устроена выставка, посвященная возрождению этого великолепного создания русского зодчества.

Идет восстановление наиболее сохранившегося северного корпуса дворца. В первую очередь воссоздаются пять «камероновых комнат» и «зеленая столовая» – один из ценнейших интерьеров дворца, отделанный в конце XVIII века по проекту Камерона, с орнаментами, медальонами и скульптурой, выполненными по моделям Мартоса[33].

Здесь по-прежнему стоит вывезенная во время войны и ныне возвращенная на свое место мебель русской работы середины XVIII века. Заново делается утраченный паркет. По старой фотографии выполнена живопись филенок на дверях. По найденным в архивах рисункам Камерона чеканятся новые ручки для дверей. Камин собран из частей, найденных на территории дворца. Встало на прежнее место прекрасное бюро из моржовой кости работы архангельских костерезов.

В «официантской комнате» закончена роспись под мрамор пилястров и реконструирован наборный паркет. Стены украшают

сохраненные архитектурные пейзажи Гюбер-Робера.

«Голубая гостиная» принимает вид, какой у нее был до пожара 1820 года. Сгоревший тогда плафон заменили станковой картиной. После войны в результате научных и архивных исследований найдены материалы, позволившие воссоздать первоначальный живописный плафон Камерона. Новый шелк для обивки стен изготовлен в Москве комбинатом «Красная Роза».

«Китайская голубая гостиная» также восстанавливается по старым снимкам и случайно найденным за каминной рамой обрывкам китайского штофа с изображением охотничьих сцен. Фоновая голубая ткань выткана тем же комбинатом «Красная Роза»; тематика рисунков каждого полотнища установлена реставраторами по старым фотографиям.

Плафон и фризы «китайской гостиной» написаны заново по хранящимся в Эрмитаже рисункам Камерона и по аналогии с росписью «китайской оранжевой гостиной» в Ломоносовском дворце. Находившийся в «китайской гостиной» камин обнаружили в близлежащей деревне, в крестьянском доме, где жил немецкий офицер. Камин водворили на место.

Стены «предхорной» комнаты были обтянуты ярким, красочным шелком работы русских мастеров с изображением лебедей и фазанов. В фондах дворца нашли второй комплект такого же шелка, которым и покрываются обнаженные стены «предхорной». В комнате восстановлены живописный плафон и фризы. Возвращена на место старинная золоченая мебель.

Несколько лет назад автор этих строк видел, как два человека подбирали в руинах Петродворца, в хаосе повергнутых стен, уцелевшие обломки карнизов и лепных орнаментов, кусочки штукатурки с едва заметными следами росписи, обгоревшие части резной позолоты. Тщательно и осторожно стирали они пыль и грязь с обломков, которые сохранили следы прежней окраски дворцовых стен, подбирали и разглаживали обрывки тканевой обивки. Это были архитекторы В. Савков и Е. Казанская, авторы проекта реставрации Большого петергофского дворца. Полуобгоревшие искромсанные обломки представляли для них огромную ценность: они должны были помочь восстановить дворец в его первозданном виде. Так началась реставрация Большого дворца в Петергофе, превращение мертвого остова послевоенных руин в прежний великолепный памятник русского национального искусства.

Такую же большую и кропотливую работу проделал автор проекта реставрации Екатерининского дворца в городе Пушкине А. Кедринский – не только архитектор, но и инженер-строитель, художник, скульптор, археолог, человек, влюбленный в свой труд,

в искусство восстановления памятников старины.

Реставраторы тщательно изучали старинные архивные документы. На их рабочих столах можно было видеть копии подлинных растреллиевских планов и чертежей, извлеченные из руин драгоценные обломки с едва сохранившимися следами былой красоты разрушенных дворцов.

После войны от великолепия дворцовых интерьеров сплошь и рядом оставались одни голые каменные стены. Все уничтожили фашисты, и все нужно было создавать заново. Из подвалов Екатерининского дворца саперы извлекли одиннадцать авиабомб, каждая весом в тонну: варварам мало было причиненных разрушений. На территории города и парка начали собирать фрагменты и детали внешней отделки и внутреннего убранства дворца. В соседних деревнях, где жили гитлеровские офицеры, находили разрозненные части мебельных гарнитуров и столовых сервизов, старинные картины, изделия из цветного камня, драгоценнейшие вазы и люстры – фашистские бандиты бросали награбленное при своем поспешном отступлении.

В Петергофе от Большого дворца после войны остался лишь обгоревший остов. Перед реставраторами стояла задача – не консервировать руины, как это сделали, например, афиняне с Акрополем, а воссоздать дворец в том виде, в каком он был в пору осуществления замысла самого зодчего. На основе изучения всех собранных материалов и документов нужно было убрать все позднейшие архитектурные наслоения. Нужно было проникнуться замыслами его создателя и видеть ансамбль в целом – торжественный апофеоз победам России в ее двадцатилетней Северной войне и борьбе за выход к морю.

Между тем все было в развалинах… Заново нарисовать линии кровли и фронтонов помогли сохранившиеся чертежи, снимки и зарисовки, но восстановить растреллиевские купола над угловой дворцовой церковью было исключительно сложно и трудно. Малейшее отклонение в рисунке их форм могло нарушить изящество силуэтов.

Помог случай. В руинах и обломках обнаружили исковерканный каркас луковки, завершавшей один из куполов. Это была ценная находка: исходный масштаб и форма. Реставратор В. Савков начал лепить одну модель за другой. Изучая снимки и зарисовки, он постепенно приближался к первоначальной, растреллиевской, форме купола. Наконец был готов макет купола. Подняли его на высоту. Сфотографировали с той точки, с какой снято было лежавшее перед реставратором фото, чуть-чуть подправили образующие линии, и стало ясно: растреллиевская форма купола найдена!

Но одно дело восстановить детали по сохранившимся, хотя и очень пострадавшим образцам, другое – воссоздать утраченную лепку, орнаменты балконных решеток, золотой декор куполов. Здесь помогают сохранившиеся изобразительные материалы, обмеры и так называемый, метод аналогии, когда детали восстанавливаются сопоставлением с фрагментами других сооружений того же зодчего.

Очень трудно бывает, когда нужно воссоздать декоративные материалы прошлых эпох или уникальную роспись. Так, к примеру, при восстановлении дворца Монплезир, первой постройки петергофского ансамбля, понадобилось стекло, уже изменившее от времени свою прозрачность. Реставраторы обратилась в лабораторию стекла Ленинградского технологического института. Опытному мастеру-специалисту предложили забыть на время всю современную технику и вернуться к петровской поре. И он изготовил стекло по данному ему образцу, «состарив» его путем особой обработки. Когда сопоставили осколок стекла петровского времени, найденный в руинах Монплезира, со стеклом, изготовленным мастером, оказалось, что оба образца неразличимы!

Подобная история произошла и с «лаковой каморой» Монплезира. Все украшавшие ее филенки с лаковой живописью «на китайский манер» погибли. В развалинах бывшего гитлеровского дота нашли несколько кусков полуобгоревших филенок. По этим единственно сохранившимся обломкам нужно было воссоздать всю «лаковую камору». Существовало мнение, что украшали ее китайские живописцы, но по ажурной технике письма роспись на найденной филенке напоминала палехские миниатюры. В Монплезир пригласили известного палехского художника А. Котухина. Тот посмотрел и сказал:

– Да ведь эта наша, русская работа!

Обнаруженная на обороте филенки надпись подтвердила его мнение: двести пятьдесят лет назад русские мастера создавали произведения искусства по привезенным из Китая образцам.

Палешане под руководством своего старейшего мастера Н. Зиновьева восстановили все филенки «лаковой каморы», украсив ее, как говорили в старину, живописью «на китайский манер». Писали они на специально обработанной фанере, материалы взяли другие, современные, но созданные ими росписи по общему своему характеру, стилю полностью отвечают заданию. Сейчас лаковый кабинет уже полностью восстановлен.

Такой же сложный путь прошли реставраторы и при восстановлении печей Монплезира, облицованных старыми голландскими изразцами: производство их на основании

уцелевших фрагментов освоил мастер-керамист А. Богатов…

Так шаг за шагом реставраторы восстанавливают, казалось бы, погибшие произведения искусства.

Автор этих заметок впервые побывал в «камероновых комнатах» Екатерининского дворца более полувека назад и с тех пор не раз любовался их красотой. И если в человеческой жизни «мечтам и годам нет возврата», то здесь, в этих залах, чувствуешь, что искусство вечно и творения его не умирают. Здесь, в этом на первый взгляд хаотическом беспорядке восстановительных работ, среди собираемых фрагментов лепки и орнаментов восстанавливаемой росписи заново живет дух творчества ушедших веков. Руками, умением самоотверженных, влюбленных в свое искусство мастеров возрождается к жизни бессмертная русская красота.

Библиотека Пушкина [34]

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей…

А. С. Пушкин.

«Евгений Онегин»

Рассказывая о работе Пушкина над «Современником», необходимо ознакомить читателя и с библиотекой поэта.

Книги были его друзьями, он никогда не расставался с ними, в кармане у него всегда была книга, когда он выходил из дому.

В библиотеке Пушкина было много печатных и старинных рукописных книг по истории Петра, широко представлена была литература по «Слову о полку Игореве». Все те книги, о которых Пушкин дал свои отзывы в «Современнике», имелись в библиотеке поэта.

При своих обычно стесненных материальных обстоятельствах Пушкин на покупку книг тратил много денег. С середины июня до середины июля 1836 года, например, Пушкин истратил на книги: 16 июня 58 руб., 18 июня 199 руб., 20 июня 5 руб. и затем в другом магазине 68 руб., 23 июня 40 руб., 25 июня 19 руб., 2 июля 316 руб. 75 коп., 7 июля 16 руб., 8 июля 9 руб., 17 июля 27 руб., 18 июля 198 руб. и т. д.

Ознакомиться с книгами библиотеки Пушкина – значит ознакомиться с мыслями, интересами и настроениями великого поэта, с его «друзьями».

* * *

Книги Пушкин любил с детства. По словам его младшего брата Льва, он уже в ранние годы тайком забирался в кабинет отца и проводил там ночи напролет за чтением книг. Без разбора мальчик «пожирал» все, что попадалось ему под руку.

Отец Пушкина рассказывал, что Александр уже в младенчестве своем обнаружил большое уважение к писателям. Ему не было шести лет, но он уже понимал, что Николай Михайлович Карамзин – не то, что другие.

«Одним вечером, – рассказывал отец, – Н.М. был у меня. Сидели долго; во все время Александр, сидя против меня,

вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз».

Обладая памятью необыкновенной, Пушкин уже на одиннадцатом году был хорошо знаком с французской литературой. Девяти лет он читал биографии Плутарха, «Илиаду» и «Одиссею» Гомера. Своей начитанностью мальчик поражал лицейских товарищей.

Эту большую любовь к книге Пушкин сохранил до конца своих дней. Находясь в ссылке, он часто обращался к друзьям с просьбой прислать ему ту или иную книгу.

Почти с каждой почтой получал он книжные посылки, а живя в Петербурге, часто посещал известную книжную лавку Смирдина и вообще московские книжные лавки.

Уезжая в путешествия, Пушкин всегда брал с собой книги. На юг он взял Шекспира, в Болдино – английских поэтов, в Арзрум – «Божественную комедию» Данте. Возвращаясь в 1827 году из Михайловского в Петербург, Пушкин, перед неожиданной встречей на станции Залазы с лицейским товарищем Кюхельбекером, читал «Духовидца» Шиллера…

Пушкин жил всегда в окружении книг. Посетивший его как-то 15 сентября 1827 года сосед по имению, А. Н. Вульф, рассказывал, что он застал Пушкина за рабочим столом, на котором, наряду с «принадлежностями уборного столика поклонника моды», «дружно… лежали Монтеськe с «Bibliothèque de campagne» и «Журналом Петра I», виден был также Альфиери, ежемесячники Карамзина и изъяснения снов, скрывшиеся в полдюжине русских альманахов».

Посетив тещу в 1833 году в ее родовом имении Яропольце, Пушкин пишет жене: «Я нашел в доме старую библиотеку, и Наталья Ивановна позволила мне выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три, которые к нам и прибудут с вареньем и наливками».

В мае 1834 года Пушкин пишет жене, что он вместе со своим приятелем, страстным библиофилом и автором остроумных эпиграмм, С. А. Соболевским, приводит в порядок библиотеку и что «книги из Парижа приехали, и… библиотека растет и теснится».

Осенью 1835 года, находясь в Михайловском, Пушкин пишет жене, что вечером ездит в Тригорское и роется в старых книгах.

Пушкин жадно собирал книги, и его библиотека представляет тем большую ценность, что она дает возможность проникнуть во внутренний мир и в творческую лабораторию величайшего русского поэта.

Библиотека Пушкина между тем на протяжении десятилетий кочевала из одного места в другое. Наталья Николаевна после

смерти мужа сразу уехала в деревню, дети были еще малы, держать книги было негде, и библиотеку отправили на хранение в кладовую Гостиного двора, а затем перевезли в подвал Конногвардейского полка, которым командовал второй муж Пушкиной, П. П. Ланской. Библиотеку перевозили затем из имения в имение, и в конце концов она попала в сельцо Ивановское, Бронницкого уезда, Московской области, к внуку Пушкина.

Литератор К. А. Тимофеев, встретив как-то в 1859 году в Михайловском кучера Пушкина, Петра, спросил:

– Случалось ли тебе видеть Александра Сергеевича после его отъезда из Михайловского?

– Видел его еще раз потом, как мы книги к нему возили отсюда, – ответил тот.

– Много книг было?

– Много было. Помнится, мы на двенадцати подводах везли, двадцать четыре ящика было; тут и книги его, и бумаги были.

«Где-то теперь эта библиотека, – записал свои впечатления К. А. Тимофеев, – любопытно было бы взглянуть на нее: ведь выбор книг характеризует человека. Простой каталог их был бы выразителен. Найдется ли досужий человек, который занялся бы этим легким, почти механическим делом? Если бы перелистать, хоть наудачу, несколько книг, бывших в руках у Пушкина, может быть, внимательный взгляд и отыскал бы еще какую-нибудь интересную черту для истории его внутренней жизни.

Может быть, и у Пушкина, как у его героя,

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей… —

и по этим отметкам и «чертам его карандаша» внимательный и опытный взгляд мог бы уследить,

Какою мыслью, замечаньем
Бывал наш Пушкин поражен,
В чем, молча, соглашался он…

где он невольно обнаруживал свою душу

То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.

К. А. Тимофеев перефразировал здесь пушкинские строки из двадцать третьей строфы седьмой главы «Евгения Онегина»…

В 1900 году нашелся такой человек, «с внимательным взглядом», который занялся разборкой библиотеки Пушкина. Но это вовсе не был «досужий» человек, и дело это вовсе не оказалось «легким, почти механическим». Им занялся, по поручению Академии наук, крупнейший ученый и исследователь, написавший десятки серьезных трудов о жизни и творчестве Пушкина, один из основателей и руководителей Пушкинского дома Академии наук – Б. Л. Модзалевский.

Внук поэта, А. А. Пушкин, встретил его в сельце Ивановском очень радушно, и ученый имел возможность спокойно и серьезно выполнить стоявшую перед ним задачу. Библиотека оказалась, к сожалению, в весьма плачевном состоянии: многие книги были попорчены сыростью и изгрызаны мышами, многие были помяты или растрепаны.

Одну за другой перелистывал ученый страницы, к которым прикасались руки Пушкина, внимательным, любовным и опытным глазом изучал он каждую строку, каждую букву, каждый штрих, начертанный рукой поэта, и дал подробнейшее, в несколько сот страниц научно-библиографическое описание пушкинской библиотеки. Между страницами книг он нашел несколько автографов Пушкина.

При разборе библиотеки в ней не оказалось многого, что должно было бы быть налицо, судя по сочинениям Пушкина, его переписке и различным монографиям. В библиотеке вовсе не оказалось сочинений самого Пушкина, если не считать цензурного экземпляра его изданных в 1835 году стихотворений. Очевидно, родственники и друзья брали себе на память книги из его библиотеки, а при частых перевозках многое портилось и расхищалось.

Книги были уложены в тридцать пять ящиков и доставлены в Петербург 1 октября 1900 года, через шестьдесят три года после смерти поэта. Библиотека была приобретена Академией наук и хранится теперь в Пушкинском доме Академии наук, в Ленинграде. В музее-квартире поэта находятся лишь тщательно подобранные дублеты книг пушкинской библиотеки.

Некоторые принадлежавшие Пушкину книги были позже обнаружены в Ленинградской публичной библиотеке и у частных лиц. Изучение описи книг пушкинской библиотеки, произведенной в 1837 году опекой над детьми и имуществом поэта, показало, что в библиотеке находилось еще 187 принадлежавших Пушкину книг, не сохранившихся до наших дней. Всего, таким образом, в библиотеке Пушкина, вместе с приобретенными Академией наук книгами в

количестве 1522 названий, находилось 1709 названий.

Среди книг библиотеки Пушкина находилась и рукопись «Истории Петра», над которой он работал в последние месяцы своей жизни. Рукопись эта была зарегистрирована жандармами во время описи бумаг после смерти поэта, но затем исчезла, считалась утерянной и лишь случайно была найдена.

История этой находки необычайна. 23 октября 1932 года внук поэта Г. А. Пушкин сообщил редактору собрания сочинений Пушкина, П. С. Попову, что при переезде в 1917 году в лопасненскую усадьбу, неподалеку от Москвы, его родственница, Н. И. Гончарова, обратила внимание на исписанные листы, которыми была устлана висевшая в усадьбе клетка с канарейкой.

Убедившись, что листы написаны рукой деда, Г. А. Пушкин стал выяснять, откуда они появились, и тогда только нашли затерявшийся в кладовой и уже раскрытый ящик с пропавшей рукописью «Истории Петра» – двадцатью двумя тетрадями большого формата. Его забыли в Лопасне в девяностых годах прошлого столетия при вывозе хранившейся там пушкинской библиотеки. Найденная «История Петра» была опубликована лишь через сто лет после смерти автора.

* * *

Что читал Пушкин, какие книги останавливали на себе его внимание, какие книги стояли на полках его кабинета?

Исчерпывающий ответ на этот вопрос дает составленный Б. Л. Модзалевским каталог пушкинской библиотеки. В нем двадцать два раздела. Их интересно перечислить и указать, какое количество книг имелось в приобретенной Академией наук библиотеке Пушкина, на русском и иностранных языках.

Изящная словесность, общий отдел (сочинения в прозе и стихах, собрания сочинений): 58 названий на русском языке, 183 на иностранных;

изящная словесность, проза (романы, повести, рассказы): 11 названий на русском языке, 80 на иностранных;

изящная словесность, поэзия: 44 названия на русском языке, 89 на иностранных;

драматические произведения: 24 названия на русском языке, 68 на иностранных;

народная словесность (собрания песен, сказок, пословиц, поговорок): 9 названий на русском языке, 18 на иностранных;

теория словесности: 6 названий;

история литературы: 12 названий на русском языке, 61 на иностранных;

языкознание (учебники, хрестоматии, словари): 51 название; философия: 45 названий;

история: 155 названий на русском языке, 222 на иностранных;

география: 2 названия по общей географии, 26 по географии России, 14 по географии чужеземных стран;

путешествия: 58 названий;

современные описания государств: 17 названий;

статистика: 5 названий;

этнография: 5 названий;

естествознание и медицина: 15 названий;

юридический отдел: 20 названий;

смесь (лечебники, месяцесловы, письмовники, песенники, поваренные книги, руководства к играм, разные описания и прочее): 107 названий;

альманахи: 17 названий;

периодические издания: 118 названий;

незначительное число названий было еще по двум разделам – богословию и истории церкви.

Всего в библиотеке 3560 томов – 1522 названия, из них 529 на русском языке и 993 на четырнадцати иностранных языках. Имеются старинные издания, отпечатанные еще в конце XVI века.

* * *

В библиотеке есть редкие книги. Имеется, между прочим, один из немногих уцелевших экземпляров первого издания (1790 год) «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, в красном сафьяновом переплете с золотым тиснением и обрезом. На книге рукою Пушкина написано: «Экземпляр, бывший в тайной канцелярии, заплачено двести рублей». В тексте и на полях этой книги много отметок красным карандашом.

В библиотеке много книг с дарственными надписями. Среди них сочинения Байрона, издания 1826 года, с дарственной надписью известного польского поэта Адама Мицкевича: «Байрона Пушкину посвящает поклонник обоих А. Мицкевич».

Пушкин знал много иностранных языков – французский и английский, немецкий, итальянский, испанский, латинский, греческий, славянские. Одни языки он знал в совершенстве, другие не переставал изучать на протяжении всей жизни. Имея в виду переводить «Иова», изучал древнееврейский язык.

По словам современников, Пушкин глубоко понимал и чувствовал особенности каждого языка. Одушевленный разговор его, по отзыву Н. А. Полевого, был красноречивой импровизацией… Он страстно любил искусство, имел на него оригинальный взгляд, и разговор его был тем более занимателен, что обо всем он судил умно, блестяще и чрезвычайно оригинально.

Пушкин имел обыкновение читать книги и журналы с пером или карандашом в руке, и многие книги его библиотеки испещрены пометками поэта. При этом Пушкин обычно вписывал в особую тетрадь те или иные заинтересовавшие его выдержки из прочитанных книг.

Собственноручные отметки Пушкина на полях книг дают возможность судить о том, какие темы его больше всего интересовали.

Очень много отметок имеется на книге А. Ф. Вельтмана «Песнь ополчению Игоря Святославича, князя Новгород-Северского», на мемуарах Байрона, опубликованных в 1830 году Томасом Муром, на сочинениях Вольтера и других. Многочисленные отметки на книге А. И. Бибикова «Записки о службе А И. Бибикова», изданной в 1817 году, дают возможность предполагать, что книгой этой Пушкин пользовался при работе над «Историей Пугачева». Интересен характер отметок Пушкина на полях этой книги. На многих страницах поставлены вопросы и рукой поэта написано: *«Вздор!», «Откуда?».*

Слова «велел бить монеты с именем императора Петра III, рассылал повсюду Манифесты» Пушкин перечеркнул и написал: «Вздор!.. Пугачев не имел времени чеканить деньги и вымышлять затейливые надписи».

На книге сочинений Андрея Шенье, издания 1819 года, переплетенной в красный сафьяновый переплет с золотым тиснением, на чистом листе после переплета рукою Пушкина вписаны карандашом на французском языке неизданные стихи А. Шенье. Это – переведенное им 17 сентября 1827 года на русский язык стихотворение «Близ мест, где царствует Венеция златая…». Во Франции стихи эти были впервые опубликованы в одном из парижских журналов лишь в январе 1828 года.

Во втором томе собрания сочинений Гейне, на французском языке, парижского издания 1834–1835 годов, включающем «Путевые записки», между страницами 162 и 163 оказался отрывок какого-то письма, на котором сохранилась лишь надпись: «22-го апреля 1825. Его Высокобл. А. С. Пушкину».

На этом отрывке Пушкин сделал запись на французском языке:

«Освобождение Европы придет из России, так как только там

предрассудок аристократии не существует вовсе. В других местах верят в аристократию, одни, чтобы презирать ее, другие, чтобы ненавидеть, третьи, чтобы извлекать из нее выгоду, тщеславие и т. п. В России ничего подобного. В нее не верят, вот и все».

Запись эта – не выписка из Гейне, а, судя по всему, лично высказанная Пушкиным мысль, возникшая при чтении произведений немецкого мыслителя и поэта…

Подобно Татьяне, посетившей библиотеку Евгения Онегина, мы видим, что в библиотеке Пушкина

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей.

Такая отметка имеется на полях 54-й страницы вышедшей в 1824 году в Брюсселе книги Барри О'Меара «Наполеон в изгнании, или Отклики с острова св. Елены. Рассуждения о важнейших обстоятельствах и моментах его жизни и управления Францией». Пушкин сделал резкую отметку ногтем против строк: «Это всегда была моя главнейшая мысль – человек должен проявить больше всего истинной храбрости и смелости в тех случаях, когда на него обрушивается клевета, и в условиях, когда его постигают несчастья. Это помогает ему избавиться от них». Это были слова Наполеона… Много истинной храбрости и смелости проявил и сам Пушкин, когда на него обрушилась в ноябре 1836 года клевета…

На первом томе басен Лафонтена, парижского издания 1785 года, имеется дарственная надпись на французском языке, сделанная рукою отца, С. Л. Пушкина: «Моей дорогой Олиньке». И дальше неизвестною рукою цитата из Лагарпа: «Не нужно хвалить Лафонтена, его нужно читать, перечитывать и снова перечитывать». И в конце книги, перед переплетом, написано рукою Пушкина, юношеским почерком на французском языке: «13 июля 1817 года, в Михайловском».

На втором томе той же рукою: «Моей дорогой Олиньке», та же цитата из Лагарпа и на обороте титула надпись карандашом на французском языке: «Книга эта принадлежала Ольге Пушкиной, теперь она передана ею Александру Пушкину, чтобы он наслаждался ею в лицее, но, к несчастью, он забыл ее на столе».

В библиотеке сохранился переплетенный цензурный экземпляр третьей и четвертой частей стихотворений Пушкина, вышедших в 1832 и 1835 годах. На них имеются цензорские разрешения и печати. Пренебрегая ими, Пушкин внес в «Сказку о рыбаке и рыбке» две поправки.

В стихе «Пришел невод с золотой рыбкою» поэт зачеркнул слово «золотой» и на поле написал вместо него слово «одною».

Против стиха «Жемчуги окружили шею» он написал на поле карандашом: «огрузили»…

На некоторых книгах имеются иногда надписи шутливые. Например, «Собрание 4291 древних русских пословиц», издания 1770 года, испещрено карандашными отметками и крестиками, из них 47 особо отмечены Пушкиным. И на одной из страниц рукою Пушкина вписана карандашом еще одна пословица: «В кабак далеко, да ходить легко – в церковь близко, да ходить склизко».

Имеется еще на полках пушкинской библиотеки двухтомное сочинение в 786 страниц на французском языке, под сложным и многословным названием: «Физиология вкуса, или Размышления о гастрономии. Теоретическое и историческое сочинение о порядке дня. Издано парижским гастрономом, профессором, членом многих научных обществ. Четвертое издание. Париж. 1834».

Автор этой книги, из которой многие изречения вошли в обиход и сделались поговорками, – Антельм Брилль-Саварин.

Между страницами 18 и 19 вложен листок бумаги, формата книги, на котором чернилами рукою Пушкина написано:

«Не откладывай до ужина того, что можешь съесть за обедом».

Под этими словами написаны были Пушкиным и зачеркнуты слова: «Не предлагай своему гостю того, что сам…» Дальше идет запись рукою поэта: «Желудок просвещенного человека имеет лучшие качества доброго сердца: чувствительность и благодарность».

И, наконец, запись рукою Пушкина на французском языке: «Точность – вежливость поваров»…

На чистом листе одной из книг мы читаем шутливые стихи, видимо написанные Пушкиным в присутствии Анны Керн, которая поставила под ними справа свои инициалы: «А. К.».

Внизу, слева, она пометила дату: «19 окт. 1828-го года, С-П-г.».

19 октября 1828 года… Это был день, когда Пушкин, впервые после возвращения из ссылки, присутствовал в Петербурге на праздновании лицейской годовщины.

Судя по шутливым строкам и подписи под ними Анны Керн, которой Пушкин посвятил за несколько лет перед тем свое замечательное стихотворение «Я помню чудное мгновенье…», поэт находился в то время в радостном, беззаботном настроении.

Так, в радости и в горе, дома и в пути, книги всегда были друзьями Пушкина. Среди них он всегда принимал у себя в кабинете литературных друзей.

Три сосны [35]

На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят – одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко…

Такими видел их Пушкин в 1824 году, когда приехал из южной ссылки в михайловскую, где ему суждено было еще провести «изгнанником два года незаметных».

Сидя на холме лесистом, глядя в озеро, он с грустью вспоминал «иные берега, иные волны» – только что покинутую Одессу, Воронцову…

Через год, в лицейскую годовщину 1825 года, в те дни, когда «роняет лес багряный свой убор», Пушкин писал лицейским товарищам:

Пылай, камин, в моей пустынной келье;
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.

И вспоминал друзей, которые «на берегах Невы»» его «сегодня именуют». Вспоминал всех, с кем впервые встретился четырнадцать лет тому назад, в первый «день лицея», и спрашивал:

Кто не пришел? Кого меж вами нет?

Прошло одиннадцать лет… В 1835 году Пушкин приехал в Михайловское в предпоследний раз. Все было до боли знакомо, но как все изменилось! Вспомнилось, как встретили его михайловские рощи, когда веселым юношей он впервые оказался под их сенью и «беспечно, жадно приступал лишь только к жизни». И как после четырехлетней южной ссылки он приехал под их сень продолжать свою новую, северную ссылку:

…годы
Промчалися, и вы во мне прияли
Усталого пришельца; я еще
Был молод, но уже судьба и страсти
Меня борьбой неравной истомили.
Я зрел врага в бесстрастном судии,
Изменника – в товарище, пожавшем
Мне руку на пиру, – всяк предо мной
Казался мне изменник или враг.
Утрачена в бесплодных испытаньях
Была моя неопытная младость.
И бурные кипели в сердце чувства,
И ненависть, и грезы мести бледной.
Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.

Этими сохранившимися в черновиках стихами Пушкин хотел закончить свое написанное тогда стихотворение «Вновь я посетил…», но отбросил и закончил широко известным обращением – *«Здравствуй; племя младое, незнакомое…».*

Глубоких размышлений полно было написанное им тогда стихотворение «Вновь я посетил…»:

Уж десять лет ушло с тех пор – и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я…

И жене Пушкин писал: «…делать нечего: все кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым русским языком. Например, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменилась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарился да и подурнел…».

Эти лирически выраженные размышления о жизни, о вечной и непрерывной смене бытия, о могучем росте новой жизни Пушкин отразил и в письме к своему близкому другу П. В. Нащокину.

«Мое семейство, – писал он, – умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть новые, молодые поколения; один отец семейства смотрит без зависти на молодость, его окружающую…».

* * *

Весною 1836 года Пушкин снова приехал в Михайловское. В последний раз. Приехал хоронить мать. В том тревожном и сумрачном настроении, в каком он находился после похорон матери, вдохновение не приходило. В те дни разрешен был к печати первый том «Современника», и Пушкин приглашал своих друзей принять участие в журнале.

Поэту Н. М. Языкову он писал:

«Будьте моим сотрудником непременно. Ваши стихи: вода живая; наши – вода мертвая; мы ею окатили «Современника». Опрысните его Вашими кипучими каплями».

С Пушкиным Языков был в «поэтическом союзе». Дерптский студент, однокашник и товарищ А. Н. Вульфа, сына владелицы Тригорского П. А. Осиповой, Языков часто приезжал в Тригорское и посещал Пушкина. Он был его почитателем и посвятил ему не одно стихотворение.

Получив как-то от Осиповой цветы, Языков писал ей:

И часто вижу я во сне:
И три горы, и дом красивый,
И светлой Сороти извивы…
……
И те отлогости, те нивы,
Из-за которых вдалеке,
На вороном аргамаке,
Заморской шляпою покрытый,
Спеша в Тригорское, один —
Вольтер и Гёте и Расин —
Являлся Пушкин знаменитый…

Семь стихотворений посвятил Языков своему пребыванию в Тригорском и Михайловском, и в одном из них – «Тригорское», обращенном к Осиповой, писал, вспоминая грозовую ночь на берегу Сороти:

Уже не мирно и темно
Реки течение ночное;
Широко зыблются на нем
Теней раскидистые чащи.
Как парус, в воздухе дрожащий,
Почти упущенный пловцом,
Когда внезапно буря встанет,

Покатит шумные струи,
Рванет крыло его ладьи
И над пучиною растянет.
Тьма потопила небеса;
Пустился дождь; гроза волнует,
Взрывает воды и леса,
Гремит, и блещет, и бушует.
Мгновенья дивные!..

Вот в такую сверкавшую зубчатыми молниеносными извивами грозовую летнюю ночь налетевшая буря сразила 5 июля 1895 года последнюю из трех воспетых Пушкиным сосен.

Поверженную сосну обнаружили на другой день. Ранним утром ее бережно подняли и перенесли в Михайловское. Здесь жил тогда младший сын Пушкина, шестидесятилетний Григорий Александрович. Он распилил ее на куски и раздал эти драгоценнейшие реликвии родным, друзьям и знакомым… В Михайловском и Тригорском царило в тот вечер грустное настроение: ушел еще один живой свидетель вдохновения и поэтического творчества Пушкина.

В 1899 году Михайловское было передано Академии наук, Григорий Александрович переехал в небольшое имение своей жены, Маркучей, на окраине Вильнюса. Сюда он привез с собой и бережно хранившийся им кусок ствола последней поверженной пушкинской сосны.

Здесь, в большом доме, где жили Пушкины, сегодня музей имени поэта. Вблизи дома, рядом с могилою жены, могила Г. А. Пушкина, скончавшегося 15 августа 1905 года.

Кусок от сосны, переданный Григорием Александровичем старшему брату, Александру Александровичу, хранится сегодня в семье проживающего в Брюсселе правнука поэта, Александра Николаевича Пушкина, директора издательства спортивной газеты. Он родился в Туле, был увезен в годы империалистической войны из занятого белогвардейцами Крыма в Турцию, оттуда попал в Югославию и с 1923 года проживает в Бельгии.

Хранящийся у него кусок сосны вправлен в две серебряные пластинки. На одной из них выгравированы строки пушкинского стихотворения:

На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят – одна поодаль, две другие

Друг к дружке близко…

На другой пластинке – надпись:

«Часть последней сосны, сломанной бурей 5 июля 1895 года. Село Михайловское…».

На месте трех погибших сосен выросли три новые сосны – их посадили потомки тригорских крестьян.

Уже не одно поколение нового века встречают они своим приветным шумом. И всякий раз чудится нам поэт, проезжающий мимо них верхом, при свете лунном, и его обращение к нам, «племени младому, незнакомому»:

…Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда
С приятельской беседы
Возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас
во мраке ночи
И обо мне вспомянет.

Часть вторая. «Россыпь» этюдов о Пушкине

Утро жизни [36]

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые
Не зная горестей и бед…

А. С. Пушкин.

«Воспоминания в Царском Селе»

Маленький Александр Пушкин гулял с нянею, Ульяною Яковлевой, по набережной Невы. Из Летнего сада, уже одетого в багряные одежды поздней осени, неожиданно вышел и направился им навстречу небольшого роста офицер, в мундире, ботфортах и треуголке. У него был странный вид: широкий вздернутый нос на невыразительном лице, строгий, ищущий взгляд, стремительные движения. Его маленькая фигурка, казалось, тонула в огромных ботфортах с широкими отворотами, но повадка была повелительная.

Быстрым военным шагом он приблизился к годовалому Пушкину, строгим взглядом окинул крепостную няню и, тыча пальцем в голову ребенка, крикнул:

– Сними картуз!

Накрапывал дождик. Но няня, смутившись, не посмела перечить повелительному приказу и сняла с головы мальчика картуз.

Только что приехавшая из деревни и приставленная к нему нянькой Ульяна не могла, конечно, знать, кто был повстречавшийся им офицер. Мать Александра, Надежда Осиповна, разъяснила ей дома, что это был сам царь – император Павел I, недовольный тем, что они не приветствовали его.

Через четыре месяца после этой встречи, в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, император Павел I, самодержавный тиран и самодур, был задушен ночью во дворце своими приближенными.

Через шестнадцать лет, окончив Лицей, глядя на этот дворец, Пушкин в своей знаменитой оде «Вольность» отразил многие реальные черты той эпохи и расправы с Павлом его придворных.

Стремясь «на тронах поразить порок», Пушкин закончил оду строфой:

И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Каким большим мужеством должен был обладать только что покинувший Лицей восемнадцатилетний Пушкин, чтобы в годы мрачнейшей самодержавной реакции бросить царям в лицо смелый и гордый вызов!..

Сыновья его, Александр I и Николай I, никогда не переставали преследовать поэта и привели к гибели… Они ненавидели и боялись Пушкина за то, что на протяжении всей своей короткой жизни он презирал их и не переставал бороться с их самодержавием, рабством и крепостничеством.

* * *

Необычно началась и складывалась жизнь будущего поэта России. Необычна была и родословная Пушкина: в его жилах текла африканская кровь…

Мать его, Надежда Осиповна, была внучкой, а сам он правнуком знаменитого арапа Петра Великого – Ибрагима.

Сын владетельного абиссинского князька Ибрагим был привезен восьмилетним мальчиком, вместе с другими двумя арапчатами, в Россию в подарок Петру I.

В Центральном государственном архиве древних актов недавно найден любопытный документ, дающий основание предполагать, что вместе с ним в Петербург привезен был и его старший брат. Определенный вскоре гобоистом в оркестр Преображенского полка, он был четырнадцатилетним мальчиком крещен в том же полку. Восприемником его был Петр I, назвали его Алексеем Петровичем.

Брат его Ибрагим был на шесть лет моложе Алексея и в 1707 году, девятнадцатилетним юношей, был также крещен в сохранившейся до наших дней старинной церкви Вильнюса, сооруженной на месте бывшего капища языческого идола Рагутиса. Восприемниками его были – супруга польского короля Августа и Петр I. Он получил тогда имя Абрама Петровича

Ганнибала.

До 1716 года – ему было тогда уже двадцать восемь лет – он состоял личным камердинером Петра I. Но о родине никогда не забывал. За ним приезжал из Африки другой брат, хотел его выкупить, но Петр I привязался к своему приемному сыну, полюбил и, заметив большие способности и даровитость Абрама Петровича, направил его для получения образования во Францию.

В своей повести «Арап Петра Великого» и в воспоминаниях – «Начало автобиографии» – Пушкин рассказывает, что Ганнибал обучался в парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в испанской войне и, тяжело раненный, возвратился в Париж. Император часто справлялся о своем любимце, и по его зову тот вернулся в Петербург. Вернулся образованным инженером.

Описывая его возвращение, Пушкин рассказывает: «Оставалось 28 верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого роста, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим? – закричал он, вставая с лавки. – Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приблизился, обнял его и поцеловал в голову. «Я был предуведомлен о твоем приезде, – сказал Петр, – и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же, – продолжал государь, – твою повозку везти за нами, а сам садись со мною, и поедем ко мне». Подали государеву коляску. Он сел с Ибрагимом, они поскакали. Через полтора часа приехали в Петербург».

* * *

Пушкин уже не застал своего прадеда – Абрам Петрович Ганнибал скончался в возрасте 93 лет, в 1781 году, – но младшего сына его, своего деда, Осипа Абрамовича Ганнибала, хорошо помнил, хотя ему было всего семь лет, когда тот скончался. Он даже гордился своим «черным прадедом», так проникновенно замеченным и пригретым Петром I, преобразователем России. Пушкин гордился и своим двоюродным дедом, Иваном Абрамовичем, «наваринским Ганнибалом», победившим турок в 1770 году.

Абрам Петрович Ганнибал дослужился до чина генерал-аншефа. В 1745 году ему пожаловано было за большие заслуги

село Михайловское под Псковом. Впоследствии в Михайловском, ставшем имением Пушкиных, поэт в одном из стихотворных посланий вспоминал прадеда:

В деревне, где Петра питомец,
Царей, цариц любимый раб
И их забытый однодомец,
Скрывался прадед мой Арап.
Где, позабыв Елизаветы
И двор, и пышные обеты,
Под сенью липовых аллей
Он думал в охлаждены леты
О дальней Африке своей…

* * *

Не только прадеда своего по материнской линии, Ганнибала, вспоминает Пушкин в «Моей родословной», но и предков со стороны отца. Это были служилые люди, воины и государственные деятели, сподвижники Александра Невского, Ивана Грозного, Бориса Годунова, Петра I.

В конце XVIII века, когда родился Александр Пушкин, отец его, Сергей Львович, уже отошел от военной и государственной службы. Он жил светской жизнью, участвовал обычно во всяких празднествах, собраниях. Был прекрасным актером в домашних спектаклях, очень любил и мастерски читал Мольера. Дружил с Карамзиным, поэтами Дмитриевым, Батюшковым, Жуковским. Сам тоже писал стихи по-французски и по-русски.

Отец не любил всего, что нарушало его покой, беспечно проживал свое состояние, к детям относился равнодушно, как и жена его Надежда Осиповна, мать Пушкина, женщина властная, не оставлявшая еще завещанных ей предками крепостнических замашек.

* * *

Позже, на лицейском экзамене 1815 года, Пушкин взволнованно вспоминал свое московское детство, свои «края Москвы, края родные». Это были так называемая Немецкая слобода и Огородники, где прошли детские годы Пушкина.

Немецкая слобода на берегу протекавшей вблизи речки Кукуй

считалась аристократической частью тогдашней Москвы. Здесь в петровское время селились иноземцы. Их всех называли тогда «немцами», отсюда и название – Немецкая слобода. Сюда, приезжая в Москву, направлялся и здесь любил веселиться Петр Первый. К этому центру Москвы тяготели тогда профессора, ученые, писатели. И Пушкины стремились не отрываться от их круга.

До наших дней сохранились в бывшей Немецкой слободе Лефортовский дворец и Слободской, в котором помещается сегодня Высшее техническое училище имени Баумана.

В Немецкой слободе и родился Пушкин, на Немецкой, ныне улице Баумана, 40, в небольшом деревянном домике, на месте которого высится сегодня многоэтажное здание 353-й школы имени поэта. На нем мемориальная доска с надписью: «Здесь был дом, где 26 мая (6 июня) 1799 г. родился А. С. Пушкин». Перед фасадом – скульптурный бюст юного поэта.

Неподалеку от школы, в «церкви Богоявленья, что в Елохове», сохранилась старинная церковная книга с записью: «Мая 27. Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильевича Скварцова у жильца ево Моэора Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр. Крещен июня 8 дня. Восприемник граф Артемий Иванович Воронцов, кума мать означенного Сергия Пушкина вдова Ольга Васильевна Пушкина».

Каждый год в день рождения Пушкина в этой школе собираются многочисленные почитатели поэта, а вечером – в библиотеке имени А. С. Пушкина на Бауманской, бывшей Елоховской, площади, 9. Библиотекой этой заведовала до конца своих дней старшая дочь Пушкина Мария Александровна Гартунг, скончавшаяся уже в наше время, в 1919 году.

* * *

Совсем иной характер, чем Немецкая слобода, носили Огородники, куда вскоре переселились Пушкины. Детские впечатления тех лет Пушкин отразил в позднейшем своем сочинении «Путешествие из Москвы в Петербург». Он дал в нем яркую картину былой Москвы и Москвы начала XIX века.

В ноябре 1804 года Пушкины переехали в не сохранившийся до наших дней флигель при великолепном доме князя Н. Б. Юсупова, по Большому Харитоньевскому переулку, 17. Этот великолепный памятник архитектуры XVII века прекрасно сохранился и украшает сегодняшнюю Москву.

Таинственный, погибший в 1812 году тенистый сад против

этого дома, «Юсупов сад», явился, видимо, первым сильным впечатлением маленького Пушкина. Ему было тогда всего пять лет. Задумав впоследствии писать «Записки», Пушкин запечатлел в стихотворении «В начале жизни школу помню я…» свои ранние детские взволнованные поэтические впечатления и настроения.

И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.

Там нежила меня теней прохлада;
Я предавал мечтам свой юный ум,
И праздно мыслить было мне отрада.

Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.

Все – мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры —

Все наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья,
При виде их, рождались на глазах…

* * *

Кто же лелеял ранние детские годы маленького Александра? Кто научил его «предавать мечтам свой юный ум»? Кто была та «наперсница волшебной старины», которую Пушкин с любовью вспоминал в южной ссылке в 1822 году:

Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила…

Через всю свою жизнь пронес Пушкин нежную, трогательную любовь к бабушке Марии Алексеевне Ганнибал и к няне Арине Родионовне. Обе они склонялись над его колыбелью, баловали, пестовали его гений и в сердце поэта слились в единый

трогательный образ «веселой старушки… в больших очках и с резвою гремушкой».

Бабушка Мария Алексеевна, дочь тамбовского воеводы Пушкина, вышедшая замуж за деда поэта Осипа Абрамовича Ганнибала, была женщина умная и рассудительная. Брак ее был несчастлив. Муж вскоре оставил ее, и она сама воспитала малолетнюю Надежду, вышедшую впоследствии замуж за Сергея Львовича Пушкина.

Все в доме Пушкиных говорили по-французски, так было принято в то время в дворянских семьях. Но Мария Алексеевна, владея сильной, образной русской речью, стала первой наставницей внука в русском языке. Письма бабушки внуку в Лицей восхищали товарищей.

Александра она любила, но, наблюдая его шалости и проказы, недоумевала: «Не знаю, – говорила она, – что выйдет из моего старшего внука: мальчик умен, охотник до книжек, а учится плохо, редко когда урок свой сдаст порядком; то его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что его ничем не уймешь; из одной крайности в другую бросается. Бог знает, чем все это кончится, если он не переменится».

Она знакомила внука со стариной, от нее Пушкин слышал много семейных преданий, кои любил вспоминать в зрелые годы. Рассказывала о его прадеде, знаменитом арапе Петра Великого, о предках. И часто журила за проделки:

– Помяни ты мое слово, не сносить тебе головы…

В стихотворении лицейского периода (1816 г.) «Сон» Пушкин с любовью к бабушке Марии Алексеевне восклицает:

Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы…
От ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы.
.....
Все в душу страх невольный поселяло.
Я трепетал – и тихо наконец
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой с лазурной высоты

На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней,
И в вымыслах носился юный ум.

Некоторые исследователи творчества А. С. Пушкина предполагали, что эти строки посвящены юным лицеистом няне Яковлевой Арине Родионовне (1758–1828 гг.), однако в пору детства поэта она еще не была старухой:

Под образом простой ночник из глины
Чуть освещал глубокие морщины,
Драгой антик, прабабушкин чепец
И длинный рот, где зуба два стучало…

В 1806 году Мария Алексеевна приобрела небольшое сельцо Захарово под Москвою, близ Звенигорода. Александру было тогда семь лет, и она обычно проводила там с ним летние месяцы.

Мальчик любил Захарово. На коре белых берез писал иногда свои детские стихи, вечерами слушал песни девушек, кружился в их хороводах.

«Мое Захарово», – называл он это селенье своего детства и в лицейские годы мысленно переносился туда.

Создавая через два десятилетия в михайловской ссылке «Бориса Годунова», Пушкин вспоминал Захарово и рядом лежащие исторические Большие Вязёмы, куда бабушка возила внука в церковь к обедне.

Большие Вязёмы принадлежали когда-то Борису Годунову. Здесь встречали в Смутное время кортеж с Мариной Мнишек, и Пушкин мог прочесть начертанные в начале XVII века на фресках в церкви надписи на польском и латинском языках. Здесь находился загородный дворец Дмитрия Самозванца, позднее это была дворцовая вотчина первых царей Романовых. В 1812 году в Больших Вязёмах остановился Наполеон, стоял корпус Евгения Богарне, отступавшего из Москвы после бегства императора… И здесь же в ограде церкви был похоронен в 1807 году маленький брат Пушкина Николай.

Так уже в детские годы накапливались в душе и сознании поэта образы его будущих творений…

* * *

Рядом с бабушкой Марией Алексеевной, лелеявшей детство Пушкина, оживает образ его чудесной няни Арины Родионовны. Нет в мировой литературе другой няни, чье имя так тесно сплелось бы с именем ее питомца. Простая неграмотная русская женщина, крепостная крестьянка стала спутницей великого русского поэта…

И нет в нашей стране ребенка, кому не было бы знакомо имя Арины Родионовны.

Зимний вечер 1826 года. В трубе гудит ветер. «Буря мглою небо кроет». Кажется, путник запоздалый стучится в окошко. Пушкин, уже прославленный поэт, отбывает михайловскую ссылку, вспоминает детские годы и просит няню:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла…

Арине Родионовне было двадцать три года, когда она вышла замуж за крепостного крестьянина Федора Матвеева. У нее было уже четверо детей, когда у Пушкиных родилась в 1797 году дочь Ольга, а через полтора года – сын Александр, будущий поэт. Ее взяли к детям нянею, и она вырастила их, как и младшего брата Льва. Были у Пушкиных еще три мальчика: Павел, Михаил, Платон и дочь Софья, – но все они умерли в младенчестве. Николенька, родившийся через два года после Александра, скончался в шестилетнем возрасте. Остались жить два брата и сестра Ольга.

Когда Александра Пушкина отправили в 1811 году учиться в Царскосельский лицей, бабушка, Мария Алексеевна Ганнибал, предложила Арине Родионовне «вольную» – решила освободить ее со всей семьей от крепостной зависимости. Но та отказалась: «На что мне, матушка, вольная!» – ответила няня.

Так она и осталась до конца своих дней в семье Пушкиных.

Все мы хорошо знаем эту «старушку бедную», с богатой душою, заворожившую младенческую душу будущего поэта своими чудесными преданиями волшебной старины. Мы встречаемся с нею на страницах многих произведений Пушкина. Она – оригинал Филиппьевны, няни Татьяны в «Евгении Онегине», мамки царевны Ксении в «Борисе Годунове», мамки княгини в «Русалке», Орины Егоровны в «Дубровском».

* * *

Расставшись в 1811 году с няней, Пушкин шесть лет учился в Лицее, три года прожил после этого в Петербурге, был выслан затем за свои вольнолюбивые стихи на юг России. Оттуда, после четырехлетней подневольной жизни в Кишиневе и Одессе, был направлен в Михайловское, где ему предстояло отбыть еще два года ссылки.

Здесь Пушкин снова встретился с Ариной Родионовной. Это был уже не тот шаловливый мальчик, с которым она рассталась тринадцать лет назад. Это был уже поэт, имя которого знала вся Россия.

Он много пережил, много испытал и безмерно устал в свои двадцать пять лет. Но для Арины Родионовны он оставался все тем же любимым питомцем.

Они поселились в двух горницах маленького михайловского домика няни, о котором Пушкин писал в стихотворении «Зимний вечер»:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

Читая первую сказку Пушкина, ребята и не представляют себе, что сказку эту поэту рассказывала в детстве Арина Родионовна.

В деревне Кобрино, бывшей Петербургской губерний, где Арина Родионовна провела свои детские годы, была открыта в 1937 году и названа ее именем изба-читальня. Этот памятник – дань

глубокого уважения и признательности замечательной русской женщине, неграмотной крепостной крестьянке, талантливой сказительнице, спутнице великого русского поэта.

* * *

Рассказывая о няне Пушкина Арине Родионовне, нельзя не помянуть добрым словом и его дядьку Никиту Тимофеевича Козлова.

В ранние годы Александра он был свидетелем и участником его детских игр и шалостей, сопровождал во время прогулок по Москве, взбирался с ним на колокольню Ивана Великого в Кремле.

Болдинский крепостной крестьянин, Никита Тимофеевич был верным и преданным Пушкину слугою и другом. Он разделил с Пушкиным южную ссылку, перевозил его книги. Был очевидцем выступления декабристов на Сенатской площади. Когда Пушкина высылали из Петербурга на юг, не дал подосланному шпиону Фогелю прочесть пушкинские стихи, несмотря на то, что тот сулил ему за это 50 рублей. Никита Тимофеевич ездил с Пушкиным в Болдино и, видимо, жил у него в Москве перед его женитьбой.

В 1836 году Козлов перевозил с Пушкиным в Михайловское тело его матери, а 27 января 1837 года принял из кареты смертельно раненного на дуэли поэта, внес на руках в дом. Козлов присутствовал при его кончине и вместе с А. И. Тургеневым проводил в Святогорский монастырь тело поэта.

* * *

Каким был Александр в те ранние детские годы, о которых он тепло вспоминает в своих стихотворениях, обращенных к бабушке и няне Арине Родионовне? Как выглядел маленький Пушкин?

Уже с детских лет мы хорошо знакомы с Пушкиным. Знакомы с его сказками, стихотворениями, поэмами и повестями. Взглянув на портрет Пушкина, среди многих тысяч портретов мы сразу узнаем его:

– Это Пушкин!..

Самым ранним его изображением был до последнего времени прижизненный портрет четырнадцатилетнего Пушкина, гравированный Е. Гейтманом.

Недавно отыскался живописный портрет трехлетнего Пушкина – миниатюра размером 10 × 7,8 см.

Интересно происхождение его. В начале прошлого столетия в

Москве проживал профессор М. Я. Мудров, первый русский врач, посланный для обучения за границу. Вернувшись в Москву, он приобрел большую популярность.

Дружеские отношения связывали профессора Мудрова с тремя братьями Тургеневыми и друзьями Пушкина. Человек культурный и образованный, он посещал литературные вечера в доме Пушкиных и стал их домашним врачом. Летом он посещал и Захарово, где проживал с бабушкой маленький Пушкин. К этому времени относится и миниатюра, выполненная неизвестным художником, крепостным Пушкиных.

В 1831 году разразилась холера. Мудров погиб в борьбе с нею. Смерть его опечалила всех, и Надежда Осиповна, мать Пушкина, подарила эту миниатюру юной дочери Мудрова Софье Матвеевне, выходившей замуж за И. Е. Великопольского, с которым у Пушкина установились позже приятельские отношения.

Переходя из поколения в поколение, портрет маленького Александра бережно хранился потомками Мудрова. Но во время блокады Ленинграда пострадали от разорвавшейся бомбы дом и комната, где висел портрет. К счастью, пострадала лишь его рамка. Портрет перешел к праправнучке Мудрова Е. А. Чижовой, которая преподнесла его артисту В. С. Якуту, исполнявшему во время гастролей в Ленинграде театра имени Ермоловой роль Пушкина в одноименной пьесе А. Глобы.

Якут подарил эту миниатюру музею А. С. Пушкина в Москве.

* * *

Александр вышел из детского возраста, и в доме Пушкиных появились, рядом с бабушкой и няней, гувернантки и гувернеры, англичане, немцы. Это были люди, хлынувшие после французской революции в Россию в поисках счастья.

Встречались среди них люди достойные и образованные, но, как вспоминала позже сестра Пушкина Ольга, большая часть их по образованию и уму стояла ниже всякой критики, поражала своей некультурностью и наивностью. Так, одна гувернантка удивлялась, почему волки не прогуливаются по улицам Москвы, как ей о том рассказывали на родине, в Швейцарии; а другая тоже удивлялась, что в России десертом после обеда не служат сальные свечи.

Родители Александра мало интересовались воспитанием детей. Отец, Сергей Львович, передал все управление домом жене, Надежде Осиповне, а та не менее его обожала свет и

веселое общество и «в управление домом внесла только свою вспыльчивость, да резкие, частые переходы от гнева и кропотливой взыскательности к полному равнодушию и апатии относительно всего происходившего вокруг».

Дети росли вне всякого влияния и участия в их воспитании родителей.

В этом семействе перебывал легион иностранных гувернеров и гувернанток, – писал со слов матери племянник Пушкина Л. Н. Павлищев. Он особо выделял среди них француза Русло, капризного и самоуверенного самодура. Имея претензию писать стихи, ставя себя рядом с Корнелем и Расином, Русло жестоко издевался над Александром, заметив его склонность к поэзии.

Не лучшим был и его преемник Шедель, который свободное от занятий с детьми время проводил в передней, играя с дворней в «дурачки», за что в конце концов получил отставку.

Единственно кто выделялся из среды чудаков, воспитателей детей, был французский эмигрант граф Монфор, человек образованный, гуманный.

Все эти настроения и впечатления лицейских лет Пушкин хотел отразить в написанных им в тридцатых годах «Программах записок»: «Первые впечатления. Юсупов сад. – Землетрясение. – Няня. Отъезд матери в деревню. – Первые неприятности. – Гувернантки. Ранняя любовь. – Рождение Льва. – Мои неприятные воспоминания. – Смерть Николая. – Монфор-Русло – Кат. П. и Ан. Ив. – Нестерпимое состояние. – Охота к чтению. Меня везут в Петербург. Езуиты».

* * *

«Первые неприятности… Мои неприятные воспоминания… Нестерпимое состояние…», которые Пушкин особо отмечает в своих «Программах записок», были, бесспорно, связаны с этими гувернерами и гувернантками и несправедливым отношением матери.

Вначале толстый, неповоротливый и молчаливый ребенок, Александр, взрослея, стал резвым и шаловливым. Но мать не любила его, особенно ее раздражал его настойчивый, самолюбивый, склонный к самостоятельности характер. Он никогда не раскаивался в своих поступках, даже если чувствовал себя неправым, хмурился и, забившись в угол, угрюмо молчал.

Она отвечала ему, по воспоминаниям сестры Ольги, тем же. «Никогда не выходя из себя, не возвышая голоса, она умела дуться по дням, месяцам, и даже годами. Так, рассердясь за что-то

на Александра, которому в детстве доставалось от нее гораздо больше, чем другим детям, она играла с ним «в молчанку» круглый год, проживая под одною кровлею; оттого дети, предпочитая взбалмошные выходки и острастки отца, Сергея Львовича, игре «в молчанку» Надежды Осиповны, боялись ее несравненно более, чем отца».

Чтобы отучить маленького Александра от дурных привычек – тереть одну ладонь о другую, кусать ногти и терять носовые платки, Надежда Осиповна придумала ему наказание: завязала ему однажды руки назад и целый день проморила голодом. Затем сказала: «Жалую тебя моим бессменным адъютантом», – прикрепила в курточке мальчика в виде аксельбанта носовой платок. Платочки меняли два раза в неделю. В таком виде она заставляла его выходить к гостям.

* * *

Такое отношение матери и, под ее влиянием, гувернанток и гувернеров, оскорбляло гордого и самолюбивого мальчика. Лишь нежная дружба со старшей сестрой Ольгой (она родилась двумя годами раньше его) смягчала это «нестерпимое состояние» раннего детства будущего поэта.

В то время Александра заинтересовали встречи в доме отца с выдающимися поэтами той поры и увлекли собственные ранние поэтические настроения.

Любимым делом его было пробираться в кабинет отца, когда у него были гости, и прислушиваться к разговорам старших.

«В самом младенчестве своем, – вспоминал отец, – он показал большое уважение к писателям. Не имея шести лет, он уже понимал, что Николай Михайлович Карамзин – не то, что другие. Одним вечером Николай Михайлович был у меня, сидел долго, – во все время Александр, сидя против него, вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз. Ему шел шестой год».

И брат Пушкина Лев Сергеевич рассказывал, что «страсть к поэзии проявилась в нем с первыми понятиями: на восьмом году возраста, умея читать и писать, он сочинял на французском языке маленькие комедии и эпиграммы на своих учителей…

Ребенок проводил бессонные ночи и тайком в кабинете отца пожирал книги одну за другой. Пушкин был одарен памятью неимоверною и на одиннадцатом году уже знал наизусть всю французскую литературу».

Об этих годах своего младенчества, о первых своих трепетных поэтических волнениях Пушкин сам вспоминал впоследствии в

стихотворении «Муза»:

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила,
Она внимала мне с улыбкой – и слегка.
По звонким скважинам пустого тростника
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной;
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала.
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.

* * *

Сестра Ольга была единственным в доме другом детства Александра. Ей он поверял свои детские тайны, с нею делился своими первыми поэтическими замыслами.

Ночью мальчик долго не засыпал и, когда она спрашивала его, почему он не спит, отвечал вполне серьезно:

– Стихи сочиняю…

И вот, начитавшись в библиотеке отца французских книг, наслушавшись, как отец читал вслух Мольера, девятилетний Александр сам стал сочинять небольшие комедии на французском языке. Одну из них «L'Escamoteur» («Похититель») маленький драматург решил поставить на домашней сцене.

Сестре Ольге, единственной зрительнице этого спектакля, пьеса не понравилась, и она освистала автора:

– Ты сам и есть похититель, ибо ты похитил комедию у Мольера!.. – упрекала сестра братца.

Александр сам на себя написал после этого эпиграмму по-французски:

За что, скажи мне, «Похититель»
Был встречен шиканьем партера?
Увы, за то, что сочинитель
Его похитил у Мольера!

Вскоре мальчик начал сочинять, тоже по-французски, шуточную поэму в шести частях «Tolyade». Это было уже подражание «Генриаде» Вольтера. Героем ее был карлик короля Дагобера.

Поэма эта попала к гувернеру Русло, и он нанес своему питомцу оскорбление – расхохотался ему в лицо, когда тот прочел по его приказанию сцену, изображавшую битву между карликами и карлицами. Осмеяв безжалостно каждое слово этого четверостишия, он довел Александра до слез.

Больше того, он пожаловался еще Надежде Осиповне, обвиняя мальчика в лености и праздности, и та наказала сына, а самодуру за педагогический «талант» прибавила жалованье. Оскорбленный ребенок разорвал и бросил в печку свои стихи, а Русло возненавидел «со всем пылом африканской крови своей».

* * *

Поэтическое вдохновение племянника развивал и дядя Василий Львович, довольно известный поэт того времени, член литературного общества «Арзамас». В позднейшем стихотворном послании «К Дельвигу» Пушкин признавался, что именно дядя пробудил в нем поэта.

Василий Львович искренне любил племянника. Чувствуя в нем поэтического соперника, он переписывался с ним, творчески состязался и часто ревновал. Пушкин тоже сердечно любил дядю, но уже с ранних лет относился к нему, как к поэту, снисходительно:

Я не совсем еще рассудок потерял,
От рифм бахических, шатаясь на Пегасе,
Я не забыл себя, хоть рад, хоть и не рад.
Нет, нет – вы мне совсем не брат;
Вы дядя мне и на Парнасе!..

Василий Львович очень ценил дарование племянника, гордился им и все же убеждал не избирать себе поэтического пути.

Уже в детские годы, тем более в отроческие, Александр слыл в кругу взрослых поэтом. О нем спорили. Одни восхищались его ребяческим поэтическим даром, другие покачивали головами. Дядя Василий Львович соглашался, что племянник даровит, но решительно отрицал в нем способность превзойти его.

– Ты знаешь, – говорил он Собеседнину, перемежая русские слова с французскими, – что я люблю Александра, он поэт, поэт в

душе, но я знаю, что он еще слишком молод, слишком свободен, и, право, не знаю, установится ли он когда, – говоря между нами, – как мы остальные…

* * *

Вместе с родителями Александр часто посещал живших по соседству друзей, таких же страстных книголюбов, какими были его отец и дядя. Один из них – просвещеннейший человек своего времени Д. Н. Бутурлин, библиотека которого состояла из двадцати пяти тысяч томов.

Очень известен был и другой просвещеннейший книголюб той поры А. И. Мусин-Пушкин, у которого хранилась найденная в 1795 году в Спасо-Ярославском монастыре старинная рукопись «Слова о полку Игореве». Оба они охотно разрешали желающим пользоваться их библиотеками.

Бывая с родителями у Бутурлиных, Пушкин всегда забирался в огромную библиотеку хозяина. Часто встречался там с дядей и такими корифеями литературы того времени, как К. Н. Батюшков, И. И. Дмитриев, В. А. Жуковский, И. А. Крылов.

В его присутствии начался однажды спор о достоинствах басен двух баснописцев той поры – И. А. Крылова и И. И. Дмитриева. Василий Львович горячился и, отдавая предпочтение Дмитриеву, критиковал Крылова:

– В них нету изящества, вкуса. Площадный язык, площадные картины. «Свинья в навозе извалялась; в помоях выкупалась… пришла свинья свиньей, – как вам это нравится?»

Горячность дяди забавляла Александра, но басни Крылова нравились ему куда больше…

В споры взрослых Александр никогда не вмешивался. Он сидел обычно в уголочке, примостившись к стулу какого-нибудь читавшего свои произведения литератора. Если произведение было, с его точки зрения, слишком уже забавное, он все же не стеснялся выразить свое отношение к нему.

У Бутурлиных на него обратил внимание гувернер детей, образованный человек, доктор словесных наук француз-эмигрант Жиле, и как-то предсказал:

– Чудное дитя! как он рано все начал понимать! Дай бог, чтобы этот ребенок жил и жил; вы увидите, что из него будет…

* * *

Так проходили детские годы Пушкина. С отцом и матерью у него до конца дней оставались холодные, напряженные отношения. Брата Льва он нежно любил, посвятил ему трогательное, взволнованное стихотворение «Брат милый, отроком расстался ты со мной…», но тот относился к нему небрежно и не оправдал его доверия.

Покинув отчий дом, Пушкин впоследствии тепло и сердечно вспоминал лишь сестру Ольгу, спутницу детства, бабушку, няню и свою детскую любовь – Сонечку Сушкову.

Бабушка Мария Алексеевна и няня Арина Родионовна слились в сердце Пушкина в единый трогательно нежный и любимый образ.

Рядом с бабушкой и няней вставал перед Пушкиным образ ранней любви его, семилетней изящной и хрупкой Сонечки Сушковой.

Ему было тогда восемь лет. Вместе с сестрой Ольгой его возили по четвергам на детские балы к танцмейстеру Иогелю, в другие дни – на детские танцевальные вечера к их дальним родственникам Трубецким и близким друзьям Сушковым. Здесь маленький Александр встретил Сонечку Сушкову.

Позже Пушкин так тепло и взволнованно вспоминал ее:

Подруга возраста златого,
Подруга красных, детских лет,
Тебя ли вижу, взоров свет,
Друг сердца, милая Сушкова?

* * *

Когда настало время дать Александру образование, родители поехали в Петербург, чтобы поместить сына в иезуитский коллегиум.

Основанный Игнатием Лойолой в 1534 году орден иезуитов играл на протяжении веков во всей Европе большую политическую роль. Он являлся удобным и надежным орудием в руках католической реакции.

Родителей Пушкина прельщала мысль определить сына в петербургский коллегиум иезуитского ордена. Окончив его, Александр мог рассчитывать на хорошую карьеру. Но в газетах был опубликован в те дни правительственный указ об основании Царскосельского лицея. Это закрытое учебное заведение основывалось «исключительно для юношества благородного

происхождения, предназначенного к важным частям службы государственной».

Мысль об иезуитах была оставлена. Начались хлопоты об определении Пушкина в это новое учебное заведение. Родители, видимо, полагали, что «императорский» Царскосельский лицей вернее, чем иезуитский коллегиум, предохранит их сына от «малейшего проявления религиозного и философского свободомыслия».

Лицей, однако, не спас Пушкина от этих «опасных» настроений. И сам Пушкин был, конечно, доволен, что не попал к иезуитам, понятие о которых у мальчика связывалось с представлением о человеческом лицемерии, двуличии и вероломстве. Ему было всего четырнадцать лет, когда он написал своего «Монаха» и героя поэмы, святого старца, назвал «мятежным иезуитом»…

Родители возвратились в Москву, а в Царское Село мальчика отвез Василий Львович.

С отчим домом Александр расставался без всякого сожаления…

Собирая Сашу в дорогу, бабушка и тетушка дали ему сто рублей ассигнациями – «на орехи». Василий Львович принял эти деньги на сохранение.

Сидя в Михайловской ссылке без денег, Пушкин через четырнадцать лет, в 1825 году, напомнил Василию Львовичу о взятых им ассигнациях. На обороте своего письма к Вяземскому он написал: «При сем деловая бумага, ради бога употреби ее в дело». На отдельном листе Пушкин шутливо писал:

«1811 года дядя мой Василий Львович, по благорасположению своему ко мне и ко всей семье моей, во время путешествия из Москвы в Санкт-Петербург, взял у меня взаймы 100 рублей ассигнациями, данных мне на орехи покойной бабушкой моей Варварой Васильевной Чичериной и покойной тетушкой Анной Львовною. Свидетелем оного займа был известный Игнатий; но и сам Василий Львович, по благородству сердца своего, от оного не откажется. Так как оному прошло уже более 10 лет без всякого с моей стороны взыскания или предъявления, и как я потерял уже все законное право на взыскание вышеупомянутых 100 рублей (с процентами за 14 лет, что составляет более 200 рублей), то униженно молю его высокоблагородие, милостивого государя дядю моего заплатить мне сии 200 рублей по долгу христианскому – получить же оные деньги уполномочиваю князя Петра Андреевича Вяземского, известного литератора.

Коллежский секретарь
Александр Сергеев сын Пушкин».

Вряд ли рассчитывал Александр Пушкин получить «сии 200 рублей» и вернул ли их дядя племяннику – об этом никаких сведений не сохранилось. Видимо, не вернул. Если бы вернул, Пушкин не преминул бы письмом же поблагодарить Вяземского за то, что тот внял его просьбе и употребил присланную ему поэтом бумагу «в дело».

Василий Львович, нужно отдать ему справедливость, очень усердно хлопотал о зачислении племянника на одно из объявленных мест первого приема в Царскосельский лицей. И столь же усердно помогал ему в этом А. И. Тургенев, ставший впоследствии одним из самых верных и близких друзей поэта.

Утром 12 августа 1811 года в здание Царскосельского лицея вошли известный тогда поэт Василий Львович Пушкин и безвестный подросток Александр Пушкин, которого дядя вел за руку. Мальчик не знал, что с Москвой он расстался на долгие пятнадцать лет, и меньше всего помышлял, что здесь, в лицее, его ждет слава.

* * *

Двенадцатилетний Александр прибыл в Царскосельский лицей вовсе не недорослем, как его поименовали в официальном документе. Несмотря на свои еще очень малые годы, это был рано созревший мальчик, почти юноша, с широким кругозором, острый, мыслящий, «француз» и – поэт.

Откуда, казалось, мог он почерпнуть столь много и в такой короткий срок? Ни Русло, ни Шедель и ни безграмотная гувернантка Лорж не могли так образовать своего питомца. Здесь сыграли важную роль литературное окружение в отчем доме, книги из библиотеки отца и Бутурлина и няня, чудесная Арина Родионовна.

Товарищи по лицею поражались тому, как далеко ушел от них вперед их товарищ, как много он знает, и все относились к нему с большой любовью, даже своего рода детским уважением. Маленький Пушкин вскоре стал центром лицейской жизни.

В пятнадцать лет он создает свой «Городок» – фантазию о книжном городке, обитателем которого автор якобы является. В этом книжном царстве —

На полке за Вольтером

Виргилий, Тасс с Гомером
Все вместе предстоят.
В час утренний досуга
Я часто друг от друга
Люблю их отрывать.

Здесь и Державин, и «чувствительный Гораций», и Вольтер —

Фернейский злой крикун,
Поэт в поэтах первый…

Здесь и «Ванюша Лафонтен», «мудрец простосердечный», и «Дмитриев нежный» с Крыловым.

Здесь Озеров с Расином,
Руссо и Карамзин,
С Мольером-исполином
Фонвизин и Княжнин…

На самой нижней полке хозяин «городка»

…спрятал потаенну
Сафьянную тетрадь —

«свиток драгоценный», который ему, быть может, удалось скрыть от посягательств Русло и гувернантки и тайком от них увезти с собою в лицей.

Всё-всё, всех этих «любимых творцов», привез с собою юный Пушкин из Москвы —

Из родины смиренной
В великий град Петра…

Знакомясь сегодня с книгами дошедшей до нас личной библиотеки Пушкина – она помещается в Пушкинском доме Академии наук СССР, числом 1552 названия в 3560 томах, – мы убеждаемся, что все почти книги, названные Пушкиным в его фантастическом «Городке», находились и ныне хранятся на полках пушкинской библиотеки.

Лицейская республика [37]

Здесь каждый шаг в душе рождает
Воспоминанья прежних лет.

А. С. Пушкин.

«Воспоминания в Царском Селе»

На фасаде здания бывшего Царскосельского лицея висит мемориальная доска с надписью: «Здесь воспитывался Александр Сергеевич Пушкин с 1811 по 1817 год».

В 1949 году, когда отмечалось 150-летие со дня рождения поэта, здесь был открыт мемориальный музей.

Лицей восстановлен в том самом виде, какой он имел при Пушкине. Это помогли сделать сохранившиеся записи современников и ценнейшие воспоминания лицейского товарища Пушкина – И. И. Пущина.

Когда мы входим в актовый зал, нам прежде всего бросается в глаза большое полотно И. Е. Репина «Пушкин на лицейском экзамене».

Об этом своем творении великий художник писал: «Лицо и вся фигура мальчика Пушкина составляют радость моей жизни. Никогда мне еще не удавалось ни одно лицо так живо, сильно и с таким несомненным сходством, как это – героя ребенка».

В поисках учебного заведения, куда можно было бы определить Александра, родители поехали в Петербург.

В те дни, когда Пушкины озабочены были устройством сына, стало известно, что император Александр I решил учредить особое учебное заведение – Лицей, в котором могли бы получить образование два его брата, великие князья Николай и Михаил. Для лицея отведено было роскошно отделанное четырехэтажное здание, непосредственно примыкавшее к царскосельскому большому Екатерининскому дворцу, соединенное с ним крытым переходом.

Учрежден был лицей исключительно «для юношества благородного происхождения, предназначенного к важным частям службы государственной».

Но в лицей попали отпрыски не слишком знатного происхождения, и императрица воспротивилась сближению с ними своих сыновей, особ царственных. Великие князья пошли своими

особыми путями…

Сергей Львович подал прошение о приеме сына в царскосельский лицей. Много помог ему в этом А. И. Тургенев, впоследствии один из самых близких друзей поэта.

* * *

Во второй половине июля 1811 года дядя Василий Львович увозил Александра в Петербург. При отъезде из Москвы мальчик получил от сестры Ольги подарок: два тома избранных басен Лафонтена, в кожаных переплетах, на французском языке, изданных в 1785 году в Париже.

Когда-то отец, Сергей Львович, подарил их дочери и написал на каждом из них, перед титулом, по-французски: «Моей дорогой Олиньке». Кто-то добавил чернилами, тоже по-французски: «Лафонтена не нужно хвалить, его нужно читать, перечитывать и снова перечитывать» – это были цитаты из Энциклопедии Лагарпа.

Уезжая в лицей, Александр забыл этот подарок на столе, и сестра сделала об этом надпись карандашом, на обороте титула: «Книги эти принадлежали Ольге Пушкиной, сегодня они подарены ею Александру Пушкину, чтобы он мог наслаждаться ими в лицее. К несчастью, он забыл их на столе».

Пушкин, конечно, еще в детстве читал в этом двухтомнике басню Лафонтена «Молочница», в которой рассказывается, как девушка Пьеретта, направляясь на рынок продавать кувшин с молоком, размечталась и разбила его. Грустно взволнованная, она смотрела, как струйкой течет из разбитого кувшина молоко.

Через три года после окончания Пушкиным лицея, в 1820 году, в царскосельском парке установлена была на огромном камне изваянная скульптором П. П. Соколовым лафонтеновская Пьеретта. Пред нею разбитый кувшин, из которого неиссякаемой струей течет ключевая вода.

Гуляя как-то позже, в жаркий летний день, Пушкин утолил жажду ключевой водою из разбитого девушкой кувшина и написал в 1830 году небольшое чудесное стихотворение «Царскосельская статуя»:

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок,
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой:
Дева над вечной струей вечно печальна сидит.

Сегодня принадлежавшие Александру Пушкину и его сестре Ольге басни Лафонтена с памятными надписями на них хранятся среди книг личной библиотеки поэта в Пушкинском доме Академии наук СССР.

* * *

Около месяца прожил Александр с дядей в Петербурге, в гостинице Демута, посещая друзей, готовясь к испытаниям.

12 августа Александр Пушкин держал приемные экзамены.

Судя по данной экзаменаторами оценке знаний Пушкина, они были не очень высоки: «В грамматическом познании языков: российского – очень хорошо, французского – хорошо, немецкого – не учился, в арифметике – знает до тройного правила, в познании общих свойств тел – хорошо, в начальных основаниях географии – имеет сведения, в начальных основаниях истории – имеет сведения».

В лицей были приняты после экзаменов тридцать мальчиков. Александр занял среди них особое положение.

Товарищи видели, что он во многом опередил их, прочитал многое такое, о чем они и не слыхали, и великолепно все помнил. И удивило их, что он совсем не важничал, как это часто бывает с детьми-скороспелками – всем им ведь было лет по двенадцать.

Как вспоминал его лицейский товарищ И. И. Пущин, Александр «все научное считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и проч… Случалось только удивляться переходам в нем: видишь, бывало, его поглощенным не по летам в думы и чтения, и тут же внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучшее неспособный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли».

* * *

До открытия лицея оставалось еще больше двух месяцев. Александр в это время не раз наезжал с дядей в Царское Село.

Назначенный первым директором Царскосельского лицея В. Ф. Малиновский деятельно готовился к торжеству.

В одно из воскресений у министра народного просвещения А. К. Разумовского состоялась репетиция торжественного открытия лицея. Профессор Н. Ф. Кошанский прочитал перед министром первую пробную лекцию.

Через несколько дней репетиция была повторена уже в актовом зале лицея, а накануне торжества Малиновский читал в присутствии министра и лицеистов речь, с которой должен был выступить на торжестве.

Лицеистов вводили при этом определенным порядком в актовый зал, вызывали по списку и учили, как им нужно кланяться, обращаясь лицом к месту, где должен был сидеть император с семейством.

Были при этих своего рода театрализованных репетициях неизбежные сцены неловкости и ребячьей наивности…

Наступило, наконец, 19 октября 1811 года – исторический день открытия Царскосельского лицея, многократно воспетого впоследствии Пушкиным.

Большой, покрытый красным сукном с золотой бахромой стол стоял между колоннами актового зала Лицея. На нем лежала роскошно оформленная грамота об учреждении Лицея.

По одну сторону стали в три ряда только что принятые воспитанники Лицея с директором, инспектором и гувернерами во главе, по другую – профессора. На креслах перед столом заняли места высшие сановники и педагоги Петербурга.

По приглашению министра Разумовского в зал вошел Александр I с семьей. Директор департамента министерства народного просвещения И. И. Мартынов прочитал манифест об учреждении Лицея, и слово предоставлено было директору Лицея Малиновскому.

Это был человек образованный, передовых взглядов. В опубликованном им «Рассуждении о мире и о войне» он выступил с проповедью вечного мира. Он же был автором проекта создания Союза всех европейских держав, в качестве постоянного органа, на котором лежала бы обязанность улаживать возможные международные осложнения.

Малиновский очень волновался, когда поднялся на трибуну и начал тихим голосом читать по рукописи свою речь. Волновался он потому, что произносил совсем не свою речь: заготовленный им текст выступления подвергся жесточайшей цензуре и в конце концов от него ничего не осталось. Ему пришлось прочитать речь, написанную для него тем же Мартыновым.

Малиновского сменил профессор Н. Ф. Кошанский. Ему поручено было представить царю юных лицеистов.

– Александр Пушкин! – гулко прозвучало в наступившей тишине, и на середину конференц-зала вышел живой, курчавый, быстроглазый мальчик.

Александр Пушкин!.. Мог ли его тезка император Александр I думать, что через несколько лет этот двенадцатилетний мальчик

будет разить его своими эпиграммами и вольнолюбивыми стихами, будет призывать к свержению самодержавия!

И выступивший вслед за этим профессор А. П. Куницын начал бодро и смело говорить в присутствии императора об обязанностях гражданина и воина, причем ни разу не упомянул имени Александра I. В своем «Наставлении воспитанникам Царскосельского лицея» он призывал юных лицеистов не к проявлению раболепных верноподданнических чувств, а к гражданскому служению родине. Приглашал их действовать так, как думали и действовали древние россы:

– Любовь к славе и отечеству должна быть вашими руководствами…

Эта смелая и необычная речь произвела впечатление не только на присутствующих, но и на самого императора: он был тогда еще либерально настроен и наградил за нее Куницына Владимирским крестом – весьма лестной наградой для только что возвратившегося из-за границы молодого ученого.

* * *

После открытия Лицея гостей пригласили осмотреть помещения Лицея, приспособленные для учебного заведения известным архитектором Стасовым.

В первом этаже здания размещены были квартиры инспектора и гувернера; во втором – столовая, буфетная, больница, аптека, малый конференц-зал и канцелярия Лицея; в третьем – актовый зал, классы, физический кабинет, библиотека, газетная комната; в четвертом – помещения для воспитанников.

Вдоль длинного коридора, от одного конца здания до другого, шли небольшие комнатки, отделенные одна от другой не доходившими до потолка оштукатуренными, окрашенными зеленой краской перегородками. Каждому лицеисту полагалась такая отдельная комнатка. Они были очень просто обставлены – Пушкин называл их кельями: стол-конторка для занятий, стул, комод, железная, с медными украшениями кровать с матрацем, бумазейным одеялом и полупуховой подушкой, зеркало, умывальник. На столе чернильница, свеча и щипцы для снятия нагара.

Лицеистов повели после торжества в столовую обедать. За ними последовала императрица, и здесь произошел смешной, но характерный для того времени эпизод.

Русские цари женились обычно на иностранных принцессах, и русские императрицы плохо говорили по-русски.

Когда лицеисты заняли столы, императрица подошла к лицеисту Александру Корнилову.

– Карош суп? – спросила она.

Корнилов смутился от неожиданности вопроса, чуть не расхохотался от этого не русского «карош суп?» – и ответил невпопад, по-французски: Oui monsieur! («Да, господин!»).

Императрица, видимо, тоже смутилась, не поняв, почему лицеист принял ее за мужчину, но, сохраняя свое царское достоинство, улыбнулась, отошла и никому уже больше не задавала любезных вопросов.

Корнилов и сам не мог объяснить, почему он ответил на «карош суп?» по-французски и в мужском роде. Но товарищам попал на зубок – его наградили кличкой: Monsieur…

Вечером лицеистов угощали сластями.

Уже выпал снег, и, окруженные горевшими вокруг Лицея плошками, они играли в снежки. На снежном фоне ярко выделялись красные воротники и обшлага на темных мундирах и треугольные шляпы, которыми лицеисты щеголяли.

В заключение – яркий, многоцветный фейерверк.

* * *

На протяжении трех дней лицеисты устраивались и знакомились друг с другом.

23 октября начались учебные занятия.

Вставали все по звонку, в шесть утра. После молитвы, от 7 до 9 часов – классы; в 9 – чай; до 10 – прогулка; от 10 до 12 – классы; от 12 до 1 часу – прогулка; в 1 час – обед; от 2 до 3 – чистописание или рисование; от 3 до 5 – классы; в 5 часов – чай; до 6 – прогулка. Потом повторение уроков или вспомогательный класс. В 9 часов ужин по звонку. После ужина, до 10 часов – встречи и отдых в рекреационном зале. В 10 часов – вечерняя молитва и чай. По средам и субботам – уроки танцев и фехтования. Каждую субботу – баня.

Программа Лицея была обширна: российская и латинская словесность, языки французский и немецкий, нравственные, исторические и физико-математические науки, риторика (теория красноречия), география, статистика, изящные искусства, чистописание, рисование, пение и гимнастические упражнения – фехтование, верховая езда, плавание.

Вскоре после начала занятий лицеистам было объявлено, по распоряжению министра, что до скончания шестилетнего курса никто не имеет права выезжать из Лицея. Родным разрешено

было посещать лицеистов по праздникам.

Общий лицейский курс делился на два: первый назывался начальным, второй – старшим. При переходе с одного на другой проводились публичные экзамены.

* * *

Что представлял собою Царскосельский лицей? Какие принципы были положены в основу воспитания нового поколения русских государственных деятелей?

В разработке устава Лицея приняли участие два деятеля резко противоположных воззрений: М. М. Сперанский, один из самых передовых людей Александровской эпохи, попавший впоследствии в опалу за свои либеральные воззрения, и Жозеф де Местр, писатель и художник, посланник низложенного сардинского короля, реакционер и иезуит.

В результате борьбы этих двух направлений родился «двуликий» устав: с одной стороны, запрещение телесно наказывать лицеистов и показной либерализм, которым любил щеголять в первые годы своего царствования Александр I, с другой – иезуитски-полицейские принципы управления Лицеем и шпионская направленность лицейских надзирателей и дядек.

Таковы были вообще методы управления Александра I, которого Пушкин заклеймил «двуязычным» властелином, «к противочувствиям привычным».

Жизнь опрокинула эти расчеты царя и его советников. В борьбу с ними с первого же дня Лицея выступили профессора и сами воспитанники.

Уже речь Куницына на торжестве открытия Лицея прозвучала необычно и призывно. Пушкин, юный Пушкин, поэтический летописец трудов и дней Лицея, через десятилетия вспоминал, как глубоко она запала в их юные сердца и какую большую роль сыграла в направлении и воспитании гражданского и политического миросознания лицеистов. Куницын и «на кафедре беспрестанно говорил против рабства и за свободу».

Пушкин вспомнил Куницына в 1825 году, когда лицеисты праздновали четырнадцатую годовщину лицея. Мы читаем в черновиках стихотворения «19 октября»:

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена…

И снова вспомнил Пушкин своего лицейского профессора через одиннадцать лет, за три месяца до своей гибели, когда, 19 октября 1836 года, в последний раз присутствовал среди товарищей на праздновании двадцать пятой лицейской годовщины:

Вы помните: когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын,
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей…

Под влиянием исторического хода событий ярким пламенем вспыхнула и разгорелась в Лицее возженная Куницыным «лампада». Здесь сыграли свою роль: победоносная война с Наполеоном, дотоле дремавшие и пробудившиеся силы русского народа, вольнолюбивые настроения, вывезенные из Франции офицерами стоявших в Царском Селе гвардейских полков, общение с ними лицеистов и, конечно, лицейские наставники и «ликующая муза»…

* * *

Особый дух благородной дружбы и верности, жажды знаний и вольности, творческого горения и соревнования царил в Царскосельском лицее.

«Мы скоро сжились, свыклись, – вспоминал Пущин. – Образовалась товарищеская семья, в этой семье – свои кружки; в этих кружках начали обозначаться, больше или меньше, личности каждого; близко узнали мы друг друга, никогда не разлучаясь: тут образовались связи на всю жизнь».

Это был тот особый дух, который заставлял Пушкина так вспоминать самого близкого своего лицейского товарища и друга – Дельвига: «С ним читал я Державина и Жуковского, с ним толковал обо всем, что душу волнует, что сердце томит…»

Уже с первых лицейских дней Александр Пушкин занял особое место среди товарищей. Свет его гения озарял всю жизнь Царскосельского лицея. С Пушкина начиналась и Пушкиным заканчивалась его история.

Стоило стайке лицеистов появиться в аллеях царскосельского парка, как среди них обязательно искали Пушкина.

В Лицее была прекрасная библиотека и газетная комната. Лицеисты, совсем еще мальчики, знакомились здесь с мировой литературой и новостями дня. Здесь можно было прочитать

последние номера «Вестника Европы», «Русского вестника», «Пантеона».

«Мы также хотим наслаждаться светлым днем нашей литературы, – писал одному из своих друзей лицеист А. Д. Илличевский, – удивляться цветущим гениям Жуковского, Батюшкова, Крылова, Гнедича. Но не худо иногда подымать завесу протекших времен, заглядывать в книги отцов отечественной поэзии: Ломоносова, Хераскова, Державина, Дмитриева… Не худо иногда вопрошать певцов иноземных (у них учились предки наши), беседовать с умами Расина, Вольтера, Делиля…»

Чаще всех засиживались в библиотеке три друга – Пушкин, Дельвиг и Кюхельбекер. Пушкин впитывал в себя знания, на память цитировал их, а Кюхельбекер вписывал в свой лицейских лет «Словарь» особо будоражившие его мысли и выдержки. Например: «Несчастный народ, находящийся под ярмом деспотизма, должен помнить, если хочет расторгнуть узы свои, что тирания похожа на ярмо, которое суживается сопротивлением. Нет середины: или терпи, как держат тебя на веревке, или борись, но с твердым намерением разорвать петлю или удавиться. Редко, чтобы умеренные усилия не были пагубны».

Здесь зарождались и зрели у юного Пушкина мысли о «вольности», о «барстве диком, без чувства, без закона», о насильственной лозе в порабощенной русской «Деревне»… У Кюхельбекера – те же вольные мысли, приведшие его на усеянный терниями и страданиями путь тридцатилетней каторги и ссылки…

* * *

Кто же прививал юным царскосельским лицеистам эти чудесные, вдохновляющие творческие настроения? Кто были учителями и наставниками будущего великого поэта?

К кому обращал Пушкин 19 октября 1825 года слова благодарности:

Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.

Мы познакомились с профессором А. П. Куницыным, блестяще выступившим перед собравшимися на торжестве открытия Лицея.

Познакомимся и с другими лицейскими наставниками.

После первого директора Лицея, В. Ф. Малиновского, человека доброго и простодушного, малообщительного и слабого, большой и глубокий след оставил в сердцах лицеистов Е. А. Энгельгардт, второй директор Лицея. Они всегда его вспоминали добрым словом.

Знакомя питомцев с правилами внутреннего лицейского распорядка, Энгельгардт говорил, что «все воспитанники равны, как дети одного отца и семейства», и потому никто не может презирать других или гордиться чем-либо. Он запрещал лицеистам кричать на служителей и бранить их, даже если они были крепостные люди.

Простые человеческие отношения установились у директора с лицеистами. Он часто принимал их у себя на дому, посещал после вечернего чая в Лицее, устраивал совместные чтения, знакомил с правилами и обычаями светской и общественной жизни. Летом совершал вместе с ними дальние прогулки, зимой ездили на тройках за город, катались с гор и на коньках. Во всех этих увеселениях принимала участие семья директора, а женское общество придавало всему этому особую прелесть и приучало лицеистов к приличному обращению. «Одним словом, – вспоминал Пущин, – директор наш понимал, что запрещенный плод – опасная приманка, и что свобода, руководимая опытною дружбой, удерживает юношу от многих ошибок».

Когда Александр I надумал «познакомить лицеистов с фронтом», Энгельгардт решительно воспротивился этому. Он отразил и предложение царя посылать лицеистов дежурить камер-пажами при императрице во время летнего ее пребывания в Царском Селе. Многие лицеисты считали такого рода обязанности лакейскими…

Нельзя не сказать здесь и о том, что до конца дней сохранились у Энгельгардта дружеские отношения с своими бывшими лицейскими питомцами. Когда, после 14 декабря 1825 года Пущин, Кюхельбекер и Вольховский оказались, за участие в восстании, на каторге и в ссылке, Энгельгардт не боялся вести с ними переписку, всегда насыщенную сердечным теплом, любовью и большим уважением.

* * *

Общей любовью лицеистов пользовался доктор философии и свободных искусств, один из лучших знатоков античной литературы, профессор российской и латинской словесности Н. Ф. Кошанский.

«При самом начале – он наш поэт, – читаем мы в «Записках» Пущина. – Как теперь вижу тот послеобеденный класс Кошанского, когда, окончив лекцию несколько раньше обычного часа, профессор сказал:

– Теперь будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами.

Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочел два стихотворения, которые всех нас восхитили. Жаль, что не могу припомнить этого первого его поэтического лепета».

Предлагая лицеистам описать стихами розу, Кошанский познакомил их с стихотворением Державина:

Юная роза
Лишь развернула
Алый шипок;
Вдруг от мороза
В лоне уснула,
Увял цветок.

Написанное тогда двенадцатилетним Пушкиным стихотворение не дошло до нас: Кошанский взял рукопись себе.

Позже, в 1815 году, Пушкин написал стихотворение «Роза». Обладая прекрасной памятью, не воспроизвел ли он то самое стихотворение, которое вылилось из-под пера его на предложенном Кошанским поэтическом состязании:

Где наша роза,
Друзья мои?
Увяла роза,
Дитя зари.
Не говори:
Так вянет младость!
Не говори:
Вот жизни радость!
Цветку скажи:
Прости, жалею!
И на лилею
Нам укажи.

Судя по ритму, оно навеяно державинской «Розой», но в нем уже чувствуется глубина и зрелость:

– Так вянет младость!..

В этом первом открытом состязании юных лицейских поэтов

проявили себя еще Илличевский, Кюхельбекер и особенно Дельвиг. Принимали участие в лицейских состязаниях еще два поэта и талантливых музыканта – Корсаков и Яковлев…

Кошанский сыграл значительную роль в жизни лицейских поэтов.

– Дельвиг, где ты учился языку богов? – спросил его однажды П. А. Плетнев.

– У Кошанского! – ответил Дельвиг.

В оценке успехов Александра Пушкина Кошанский отмечал их «не столько твердость, сколько блистательность».

* * *

Вскоре профессор Кошанский заболел, и его сменил в Лицее талантливый А. И. Галич, только что вернувшийся из-за границы, где заканчивал образование и готовился к профессорскому званию.

Он обращался с лицеистами дружески, как старший товарищ. На уроках они часто окружали его, задавали вопросы, спорили с ним, озорничали. Когда дело заходило слишком далеко, Галич брал в руки Корнелия Непота и, предлагая приступить к переводу его с латинского на русский, говорил:

– Ну, теперь потреплем старика!

Лицеисты очень любили Галича, часто посещали его на дому. Это он предложил юному Пушкину написать для лицейского экзамена свои «Воспоминания в Царском Селе». Пушкин тепло и дружески упоминает Галича в своих позднейших стихотворениях.

В «Пирующих студентах» он приветствует его и приглашает:

Апостол неги и прохлад,
Мой добрый Галич, vale[38]
Ты Эпикуров младший брат,
Душа твоя в бокале.
Главу венками убери,
Будь нашим президентом.
И станут самые цари
Завидовать студентам!

* * *

Отличался от всех лицейских профессоров историк

И. К. Кайданов. К его лекциям лицеисты относились серьезно, несмотря на некоторые его странности.

– Пушкин господин!.. Вольховский господин! – обращался он обычно к лицеистам.

И если был, например, недоволен леностью лицеиста Ржевского, то обращался с ним грубо.

Но был Кайданов человек добрый. Поймав однажды Пушкина за сочинением непристойного стихотворения, увидев, что Пушкин вносит в него, смеясь, какие-то поправки, он взял его за ухо и тихонько сказал:

– Не советую вам, Пушкин господин, заниматься такой поэзией, особенно кому-нибудь сообщать ее. И вы, Пушкин господин, не давайте воли язычку!..

* * *

Профессор физико-математических наук Я. И. Карцов не сумел заставить лицеистов полюбить свой предмет. Человек черноволосый и смуглый, острый и язвительный, он любил рассказывать на уроках разные истории и анекдоты, вызывавшие общий непрерывный хохот.

Если, стоя на уроке математики у доски, лицеист отвечал невпопад, он издевался над ним:

– А плюс Б равно красному барану.

Или:

– Тяп да ляп и состроим корабль.

Математикой увлекался лишь один Вольховский, и Карцов, по существу, занимался только с ним. Остальные лицеисты готовились на его лекциях к другим урокам, писали стихи или читали романы.

Однажды он вызвал к доске Пушкина и задал ему алгебраическую задачу. Пушкин, переминаясь с ноги на ногу, молча писал на доске какие-то формулы – математика и алгебра ему явно не давались.

– Что же вышло? Чему равняется икс? – спросил Карцов.

– Нулю! – ответил, улыбаясь, Пушкин.

– Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи.

О Куницыне, Кошанском, Кайданове, Карцове, очень серьезных педагогах П. В. Анненков писал: «Можно сказать без всякого преувеличения, что все эти лица должны были считаться передовыми людьми эпохи на учебном поприще. Ни за ними, ни около них не видим, в 1811 году, ни одного русского имени,

которое бы имело более прав на звание образцового преподавателя, чем эти, тогда еще молодые имена».

* * *

Особо *следует отметить лицейского профессора французской словесности Д.И. де-Будри. Он потому интересовал всех, что был младшим братом Жана-Поля Марата, знаменитого «друга народа» в эпоху Великой французской революции.*

Это был забавный, коротенький старичок, довольно объемистый, в засаленном, слегка напудренном парике. Но преподаватель был строгий и дельный. Он гордился своим братом-революционером, но, – писал Пушкин, – «Будри, несмотря на свое родство, демократические мысли, замасленный жилет и вообще наружность, напоминавшую якобинца, был на своих коротеньких ножках очень ловкий придворный».

Ему, конечно, Пушкин обязан был в значительной степени своим блестящим знанием французского языка.

О Пушкине де Будри писал, в декабре 1811 года, в рапорте об успехах воспитанников: «Он проницателен и даже умен. Крайне прилежен, и его приметные успехи столь же плод его рассудка, сколь и его счастливой памяти, которые определяют ему место среди первых в классе по французскому языку».

* * *

Особые отношения сложились у лицеистов с С. Г. Чириковым.

Учитель рисования и гувернер, С. Г. Чириков был человек тактичный и обходительный. Лицеисты не имели права пользоваться отпусками, и свободное время нередко проводили у Чирикова в его лицейской квартире.

Сорок лет прослужил в лицее учителем чистописания и гувернером Ф. П. Калинич, обладавший великолепным почерком. Все грамоты и выдаваемые лицеистам похвальные листы переписывались его рукой. Образованием и умом, при своей осанистой, импозантной внешности, он не обладал.

Любили лицеисты своего учителя музыки и пения Теппере де Фергюсона, часто проводили в его доме вечера, пели, музицировали, пили чай, дружески беседовали. Это был вдохновенный старик, не только учивший лицеистов петь, но и сочинявший разные концерты. Он написал музыку лицейской прощальной песни «Шесть лет промчались, как мечтанье» на

слова Дельвига. Песня эта на протяжении сорока лет исполнялась на лицейских выпускных актах.

Тепло относились лицеисты к врачу Ф. О. Пешелю, остряку, весельчаку и балагуру. Всегда приглашали своего старого доктора на празднование лицейских годовщин. 19 октября 1837 года Пешель обратился к ним с посланием на немецком и латинском языках: «Я прошу моих старых друзей для их собственного блага на мировом театре не забывать моих прежних увещаний, именно: что все покоится на отношениях и что единственное утешение – терпеливо следовать девизу: «Ничему не удивляться!». А для здоровья: спокойствие души, телесные упражнения, диета, как качественная, так и количественная, вода».

* * *

Особо следует остановиться на личности лицейского инспектора, надзирателя по учебной и нравственной части М. С. Пилецкого-Урбановича. «Это был довольно образованный человек, но святоша и мистик, обращавший на себя внимание своим горящим всеми огнями фанатизма глазом, кошачьими приемами и походкою, – так характеризовал его лицеист М. А. Корф, – с жестоко хладнокровною и ироническою, прикрытою видом отцовской нежности, строгостью. Он долго жил в нашей памяти, как бы какое-нибудь привидение из другого мира».

Пилецкий-Урбанович был в Лицее истовым проводником положенного в основу лицейского воспитания в духе иезуитских правил благочестия и сыска, подслушивания и взаимных доносов. Он «непременно сделал бы из нас иезуитов, если бы вовремя не был изгнан из Лицея», – писал Корф.

Этому Пилецкому подчинены были все лицейские гувернеры, их помощники и надзиратели, в большинстве случайные люди – отставные военные, заезжие иностранцы, мелкие чиновники, не обладавшие никакой педагогической подготовкой. Это были «подлые и гнусные глупцы с такими ужасными рожами и манерами, что никакой порядочный трактирщик не взял бы их к себе в половые», – вспоминал тот же Корф.

Пилецкий являлся в Лицее и тайным агентом полиции. В своих «Замечаниях для господ гувернеров, моих сотрудников по части нравственной и учебной» он давал инструкции, как залезать воспитанникам Лицея в души, как всегда «морально присутствовать» среди них, подслушивать, подсматривать, обрабатывать их мысли и волю.

Небольшая выдержка из рапорта Пилецкого дает представление о характере его слежки за лицеистами. В ноябре 1812 года он обратил особое внимание на Пушкина и настойчиво следил за каждым его шагом: «Пушкин 6-го числа в суждении своем об уроках сказал: признаюсь, что я логики, право, не понимаю, да и многие даже лучше меня оной не знают, потому что логические силлогизмы для меня невнятны. – 16-го числа весьма оскорбительно шутил с Мясоедовым на щот 4 департамента, зная, что его отец там служит, произнося какие-то стихи, коих мне повторить не хотел, при увещевании же сделал слабое признание, а раскаяния не видно было. – 18-го толкал Пущина и Мясоедова, повторял им слова: что если они будут жаловаться, то сами останутся виноватыми, ибо я, говорит, вывертеться умею. – 20. В классе рисовальном называл г. Горчакова вольной польской дамой…»

Лицеисты, естественно, ненавидели Пилецкого за его шпионские рапорты-доносы. Они возмущались, помимо того, его развязно-ласковой фамильярностью с посещавшими их сестрами и кузинами. И в конце ноября разразился давно назревший скандал.

Возглавил его Александр Пушкин.

Пилецкий услышал, как Пушкин вместе с Корсаковым стал перечислять за обедом обиды, нанесенные им, Пилецким, его родственницам, приводил оскорбительные отзывы инспектора о родителях учащихся и подстрекал товарищей «к составлению клеветы» на Пилецкого.

А еще через день, когда Пилецкий стал отнимать у Дельвига какое-то бранное на него сочинение, Пушкин возмутился:

– Как вы смеете брать наши бумаги? Стало быть, и письма наши из ящика будете брать? – крикнул он.

Пушкина поддержали Кюхельбекер, Малиновский, Мясоедов, Маслов и бранили отказавшихся выступить против Пилецкого товарищей: Юдина, Корфа, Ломоносова, Есакова, Комовского.

Обо всем этом сообщили директору.

Дело кое-как замяли, но в марте 1813 года недовольство Пилецким вспыхнуло с новой силой.

Лицеисты вызвали Пилецкого в конференц-зал, открыто объяснились с ним и предложили оставить Лицей:

– Уходите, в противном случае мы все подадим заявления об оставлении Лицея.

Чувствуя, что борьба бесполезна, Пилецкий подчинился и покинул Лицей.

Так решительно повели себя лицеисты в отношении своего надзирателя по учебной и нравственной части, не сумевшего

заслужить их доверия и уважения…

Вся эта история, протест против ханжества, лицемерия и мистицизма нашла вскоре отражение в написанной четырнадцатилетним Пушкиным большой шутливой, сатирической, антиклерикальной поэме «Монах».

«Наставникам, хранившим юность нашу…» [39]

Перенесемся мысленно в Царскосельский лицей, где полтора столетия назад расцветал вольнолюбивый гений Пушкина. Представим себе обстановку, в которой лицей, созданный «для юношества благородного происхождения, предназначенного к важным частям службы государственной», лицей, здание которого примыкало к императорскому Екатерининскому дворцу, превратился в «лицейскую республику».

Познакомимся с теми, кому Пушкин «дань сердца» отдавал, чьими думами была его «чистая лампада возжена», кем были воспитаны декабристы.

Лицей был открыт 19 октября 1811 года. Лицеисты каждый год отмечали этот день в своем тесном кругу. Вдохновенными посланиями Пушкин приветствовал своих товарищей.

Когда лицей отмечал свою четырнадцатую годовщину – это было 19 октября 1825 года, Пушкин отбывал ссылку в Михайловском. Оттуда он направил в «лицейское подворье», своему товарищу Яковлеву великолепное стихотворение «Роняет лес багряный свой убор», в котором призывал бывших лицеистов:

Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.

Об этих наставниках мы и будем говорить.

Конец июля 1811 года. Василий Львович Пушкин, довольно известный поэт того времени, увозит из Москвы двенадцатилетнего племянника Александра учиться в Царскосельский лицей.

На хлопоты об определении Александра в «придворный» лицей уходит почти два месяца.

12 августа Александр Пушкин держал приемные экзамены.

Экзаменаторы дали такую оценку его знаниям: «В грамматическом познании языков: российского – очень хорошо, французского – хорошо, немецкого – не учился, в арифметике знает до тройного правила, в познании общих свойств тел – хорошо, в начальных основаниях географии – имеет сведения, в начальных основаниях истории – имеет сведения».

В лицей были приняты тридцать мальчиков. Александр занял

среди них особое положение.

Товарищи видели, что он всех их опередил – прочитал и знал многое такое, о чем они и не слыхали. Великолепно все помнил. И удивило их, что он совсем не важничал, как это часто бывает с детьми-скороспелками – всем им ведь было лет по двенадцати.

День открытия Царскосельского лицея многократно воспет впоследствии Пушкиным.

Большой стол, покрытый красным сукном с золотой бахромой, стоял между колоннами актового зала. На нем лежала роскошно оформленная грамота об утверждении лицея.

По одну сторону стали в три ряда только что принятые воспитанники лицея, инспектор и гувернеры во главе с директором, по другую – профессора. В креслах перед столом сидели высшие сановники Петербурга. Присутствовал и император Александр I с семьей.

После вступительного слова директора лицея В. Ф. Малиновского профессор Н. Ф. Кошанский представил царю принятых в лицей воспитанников.

– Александр Пушкин! – гулко прозвучало в наступившей тишине. И на середину конференц-зала вышел курчавый быстроглазый мальчик.

Александр Пушкин!.. Мог ли император думать, что через несколько лет этот мальчик будет разить его своими эпиграммами и призывать к свержению самодержавия?..

И неожиданно в присутствии царя раздался смелый и бодрый призыв двадцативосьмилетнего профессора нравственных и политических наук Александра Петровича Куницына:

– К вам обращаюсь я, юные питомцы! Дорога чести и славы открыта пред вами… На какую бы ступень власти не взошли вы в будущем, помните всегда: нет высшего сана, чем священный сан гражданина…

Говоря об обязанности гражданина и воина, Куницын ни разу не упомянул имени Александра I – не к нему обращался он. И в своем «Наставлении воспитанникам Царскосельского лицея» призывал он не к проявлению раболепных верноподданнических чувств, а к гражданскому служению Родине. Приглашал их действовать так, как думали и действовали древние россы:

– Любовь к отечеству должна быть вашим руководством!

Эта смелая речь произвела впечатление не только на присутствующих, но и на самого императора. Александр I был тогда еще либерально настроен и наградил Куницына Владимирским крестом – весьма лестной наградой для только что возвратившегося из Геттингена и Парижа молодого ученого.

Ненадолго, однако, хватило царского либерализма. За свою

книгу «Естественное право» Куницын был отстранен от преподавания. Его учение было признано «весьма вредным, противоречащим истинам христианства и клонящимся к ниспровержению всех связей семейственных и государственных». Книга его была сожжена.

Но первое раздавшееся в лицее вольное слово произвело большое впечатление. Через четверть века вспоминал Пушкин речь Куницына:

Вы помните: когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын,
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей…

Вольным пушкинским эхом отозвалась речь Куницына, произнесенная при открытии Царскосельского лицея.

Что представлял собой Царскосельский лицей? Какие принципы были положены императором в основу воспитания нового поколения русских государственных деятелей в духе, враждебном идеям французской революции?

В разработке устава лицея приняли участие два деятеля резко противоположных воззрений: М. М. Сперанский, один из самых передовых людей александровской эпохи, попавший впоследствии в опалу за свои либеральные взгляды, и Жозеф де Местр, писатель и художник, посланник низложенного сардинского короля, иезуит и реакционер.

В результате борьбы этих двух направлений родился «двуликий» устав: с одной стороны – запрещение телесно наказывать лицеистов и показной либерализм, которым любил щеголять в первые годы своего царствования Александр I, с другой – иезуитско-полицейские принципы управления лицеем.

Под влиянием исторических событий ярким пламенем вспыхнула и разгорелась в лицее зажженная Куницыным «лампада». Здесь сыграли свою роль победоносная война с Наполеоном, дотоле дремавшие и пробудившиеся силы русского народа, вольнолюбивые настроения, вывезенные из Франции офицерами гвардейских полков, стоявших в Царском Селе, лицейские наставники и, наконец, пушкинская «ликующая муза»…

Дух благородной дружбы и верности, жажды знаний, творческого горения царил в лицее. Его поднимала и на протяжении шести лет лицейской жизни поддерживала сразу же сплотившаяся группа лицеистов, в центре которой всегда стоял Александр Пушкин. В характере его была удивительная черта –

душевно привязываться к тем, кто нравился ему, привлекать их к себе.

В лицее была прекрасная библиотека и газетная комната. Лицеисты, совсем еще мальчики, знакомились здесь с мировой литературой и новостями дня. Здесь можно было прочитать последние номера «Вестника Европы», «Русского Вестника», «Пантеона».

Чаще всех засиживались в библиотеке три друга – Пушкин, Дельвиг и Кюхельбекер. Пушкин впитывал в себя знания, на память цитировал прочитанное, а Кюхельбекер вписывал в свой «Словарь» особо будоражившие его мысли и выдержки.

Здесь зарождались и зрели у юного Пушкина мысли о «Вольности», о «барстве диком, без чувства, без закона», о насильственной лозе и порабощенной русской «Деревне», а перед Кюхельбекером открывалась даль усеянного терниями и тридцатилетними страданиями пути на Сенатскую площадь…

После В. Ф. Малиновского, человека доброго и простодушного, малообщительного и слабого, директором лицея стал Е. А. Энгельгардт.

Знакомя питомцев с правилами внутреннего лицейского распорядка, Энгельгардт говорил, что «все воспитанники равны, как дети одного отца и семейства», и потому никто не может презирать других… Он запрещал лицеистам кричать на служителей и бранить их, даже если это были крепостные.

Простые человеческие отношения установились у директора с лицеистами. Он часто принимал их у себя на дому, устраивал совместные чтения, знакомил с правилами и обычаями светской и общественной жизни. Летом совершал вместе с ними дальние прогулки, зимой ездили на тройках за город, катались с гор… Во всех этих увеселениях принимала участие семья директора. «Одним словом, – вспоминал И. И. Пущин, – директор наш понимал, что запрещенный плод – опасная приманка и что свобода, руководимая опытною дружбой, удерживает юношу от многих ошибок».

Когда Александр I надумал «познакомить лицеистов с фронтом» – ввести военные занятия, шагистику, – Энгельгардт решительно воспротивился этому. Он сумел отклонить и предложение царя посылать лицеистов дежурить камер-пажами при императрице во время летнего ее пребывания в Царском Селе.

У Энгельгардта до конца дней сохранились дружеские отношения со своими бывшими лицейскими питомцами. Когда Пущин, Кюхельбекер и Вольховский за участие в восстании оказались на каторге и в ссылке, Энгельгардт не боялся вести с

ними переписку, всегда насыщенную сердечным теплом, любовью и уважением.

Пушкин почему-то всегда относился к Энгельгардту отчужденно, даже враждебно. Пущин не раз пытался выяснить, чем объяснить создавшиеся между ними отношения, но ничего не добился. И все же, когда, окончив лицей, воспитанники прощались с директором, Пушкин оставил в памятной книге Энгельгардта запись: «Приятно мне думать, что, увидя в книге ваших воспоминаний и мое имя между именами молодых людей, которые обязаны вам счастливейшим годом жизни их, вы скажете: в лицее не было неблагодарных. Александр Пушкин».

Большой популярностью пользовался в лицее доктор философии и свободных искусств, один из лучших знатоков античной литературы, профессор российской и латинской словесности Н. Ф. Кошанский.

Когда Кошанский заболел, его сменил в лицее талантливый А. И. Галич, только что вернувшийся из-за границы, где готовился к профессорскому званию.

Он обращался с лицеистами дружески, как старший товарищ. На уроках они часто окружали его, задавали вопросы, спорили, озорничали. Когда дело заходило слишком далеко, Галич брал в руки творения латинского классика Корнелия Непота и, предлагая приступить к переводу их на русский язык, говорил:

– Ну, теперь потреплем старика!

Видимо, доброго Галича вспоминал Пушкин в 1823 году в кишиневской ссылке, когда закончил вторую главу «Евгения Онегина» стихами:

Прими ж мои благодаренья,
Поклонник мирных аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

Лицеисты очень любили Галича, часто посещали его на дому. Это он предложил юному Пушкину написать для лицейского экзамена свои «Воспоминания о Царском Селе». Пушкин тепло и дружески упоминает о Галиче в своих позднейших стихотворениях.

В «Пирующих студентах» он приветствует его и приглашает:

Апостол неги и прохлад,
Мой добрый Галич, Vale!
Ты Эпикуров младший брат,

Твоя душа в бокале,
Главу венками убери,
Будь нашим президентом,
И станут самые цари
Завидовать студентам!

От всех лицейских профессоров отличался историк И. К. Кайданов. Несмотря на некоторые его странности, лицеисты внимательно относились к его лекциям.

Если он был, например, недоволен леностью лицеиста Ржевского, то обращался с ним грубо:

– Ржевский господин! Животина господин! Скотина господин!

Но Кайданов был человек добрый. Поймав однажды Пушкина за сочинением непристойного стихотворения, увидев, что Пушкин вносит в него, смеясь, какие-то поправки, он взял Пушкина за ухо и тихонько сказал:

– Не советую вам, Пушкин господин, заниматься такой поэзией, особенно кому-нибудь сообщать ее. И вы, Пушкин господин, не давайте воли язычку…

Профессор физико-математических наук Я. И. Карцов не сумел заставить лицеистов полюбить свой предмет. Человек острый и язвительный, он любил рассказывать на уроках разные истории и анекдоты, от которых лицеисты помирали со смеху.

Если, стоя у доски, лицеист отвечал невпопад, он издевался над ним:

– А плюс Б равно красному барану.

Математикой увлекался лишь один Вольховский, и Карцов, по существу, занимался только с ним. Остальные готовились на его лекциях к другим урокам, писали стихи или читали романы.

О Куницыне, Кошанском, Кайданове, Карцове, привлекавших к себе особое внимание лицеистов, первый биограф Пушкина П. В. Анненков писал: «Можно сказать без всякого преувеличения, что все эти лица должны были считаться передовыми людьми эпохи на учебном поприще. Ни за ними, ни около них мы не видим в 1811 году ни одного русского имени, которое бы имело более прав на звание образцового преподавателя, чем эти, тогда еще молодые имена».

Среди других учителей лицея следует особо отметить Д.И. де Будри, профессора французской словесности. Он привлекал к себе общее внимание тем, что был младшим братом Жана-Поля Марата, знаменитого «друга народа», деятеля Великой французской революции.

Это был забавный, коротенький старичок, довольно

объемистый, с засаленным, слегка напудренным париком. Однако преподаватель был строгий и дельный. Гордился своим братом-революционером.

Ему, конечно, Пушкин обязан был в значительной степени своим блестящим знанием французского языка.

О Пушкине Д. И. де Будри писал уже в декабре 1811 года в рапорте об успехах воспитанников: «Он проницателен и даже умен. Крайне прилежен, и его приметные успехи столь же плод его рассудка, сколь и его счастливой памяти, которые определяют ему место среди первых в классе по французскому языку».

Учитель рисования и гувернер С. Г. Чириков был человек тактичный и обходительный. Лицеисты не имели права пользоваться отпусками, и свободное время они нередко проводили у Чирикова, в его лицейской квартире.

Сорок лет прослужил в лицее учителем чистописания и гувернером Ф. П. Калинич, обладавший великолепным почерком. Все грамоты и выдаваемые лицеистам похвальные листы переписывались его рукой. Особым образованием и умом, при своей осанистой, импозантной внешности, он не обладал.

Любили лицеисты своего учителя музыки и пения Теппера де Фергюсона, часто проводили в его доме вечера, пели, музицировали, пили чай, дружески беседовали. Это был вдохновенный старик, не только учивший лицеистов петь, но и сочинявший разные концерты. Он написал музыку лицейской прощальной песни «Шесть лет промчались, как мечтанье» на слова Дельвига, которая на протяжении сорока лет исполнялась на лицейских выпускных актах.

В течение года гувернером лицея был А. Н. Иконников. Затем его уволили за злоупотребление спиртными напитками. Пушкина он интересовал как большой чудак и человек со странностями. Характеристику Иконникова Пушкин дал в своей лицейской дневниковой записи: «Легкомыслен до чрезвычайности, мнителен, чувствителен, честолюбив… Имеет дарование, пишет изрядно стихи и любит поэзию. Вы читаете ему свою пьесу, наотрез говорит он: такое-то место глупо, без смысла, низко. Зато за самые посредственные стихи кидается вам на шею и называет гением. Иногда он учтив до бесконечности, в другое время груб нестерпимо. Его любят иногда, смешит он часто, а жалок почти всегда».

С любовью относились лицеисты к врачу Ф. О. Пешелю, остряку, весельчаку и балагуру. Всегда приглашали своего старого доктора на празднования лицейских годовщин. 19 октября 1837 года Пешель обратился к ним с посланием на немецком и латинском языках: «Я прошу моих старых друзей для

их собственного блага на мировом театре не забывать моих прежних увещаний, именно: что все покоится на отношениях и что единственное утешение – терпеливо следовать девизу: «ничему не удивляться!» А для здоровья: спокойствие души, телесные упражнения, диета, как качественная, так и количественная, вода».

Особо следует остановиться на личности лицейского надзирателя по учебной и нравственной части М. С. Пилецкого-Урбановича. «Это был довольно образованный человек, но святоша и мистик, обращавший на себя внимание своим горящим всеми огнями фанатизма глазом, кошачьими приемами и походкою, – как характеризовал его лицеист М. А. Корф, – с жестоко хладнокровною и ироническою, прикрытою видом отцовской нежности строгостью. Он долго жил в нашей памяти, как бы какое-нибудь привидение из другого мира».

Недовольные развязно-ласковой фамильярностью Пилецкого-Урбановича с посещавшими их сестрами и кузинами, лицеисты вызвали его однажды в конференц-зал и заявили:

– Либо вы удалитесь из лицея, либо мы все потребуем собственного своего увольнения.

«…Мы прогоняем Пилецкого», – записал Пушкин в своих «Программах записок». Однажды за обедом, как пишет В. В. Вересаев, Пушкин начал громко выражать свое возмущение издевательскими и оскорбительными отзывами Пилецкого о родителях некоторых лицеистов. Его поддержали Корсаков, Кюхельбекер и Малиновский, предложившие обратиться по этому поводу с жалобой к директору. Товарищей, отказавшихся идти с ними, они бранили.

В присутствии директора Малиновского лицеисты объяснились с Пилецким, и ему было предложено покинуть лицей. Так решительно повели себя лицеисты в отношении своего надзирателя по учебной и нравственной части, не сумевшего заслужить их уважения и доверия.

Таковы были наставники лицеистов, которых Пушкин так тепло, сердечно и взволнованно вспоминал в стихотворении «19 октября», посвященном четырнадцатой годовщине Царскосельского лицея.

«Весь день я с ними…»[40]

Юный Александр Пушкин незадолго до окончания лицея создал свой фантастический «Городок». Это был городок книг, с которыми пятнадцатилетний поэт успел уже основательно познакомиться.

Стихотворение знакомит и нас с поэтами и писателями, которые были ему особенно близки, чьи произведения заняли позже место на полках личной библиотеки Пушкина.

Это его друзья, и с ними он обращается довольно фамильярно.

…Здесь «Ванюша Лафонтен» – «мудрец простосердечный», и «Димитриев нежный» с Крыловым.

Здесь Озеров с Расином,
Руссо и Карамзин,
С Мольером-исполином
Фонвизин и Княжнин…

На самой нижней полке хозяин «Городка»

…спрятал потаенну
Сафьянную тетрадь —

свиток драгоценных своих озаренных поэзией лицейских дней…

* * *

В Петербурге Пушкин поселился вместе с родителями в Коломне, захудалом районе, на Фонтанке, 185, в доме вице-адмирала Клокачова.

О жизни поэта здесь сохранилась короткая запись современника: «Мы взошли на лестницу; слуга отворил двери, и мы вступили в комнату Пушкина. У дверей стояла кровать, на которой лежал молодой человек в полосатом бухарском халате, с ермолкою на голове. Возле постели, на столе, лежали бумаги и книги. В комнате соединились признаки жилища молодого светского человека с поэтическим беспорядком ученого…»

Из Царскосельского лицея Пушкин не мог, конечно, привезти много книг. Но за три года жизни в Петербурге он собрал

довольно солидную библиотеку.

Пушкин и книги…

По свидетельству П. В. Анненкова, первого биографа Пушкина, страсть к чтению у поэта начала развиваться с девяти лет. Первыми его книгами были «Илиада» и «Одиссея», сочинения Плутарха. Будущий поэт «проводил бессонные ночи, тайком забирался в кабинет отца и без разбора «пожирал» все книги, попадавшиеся ему под руку».

Книги были постоянными его спутниками, его любовью, его друзьями. Они всегда были с ним. Они вдохновляли его.

В 1828 году Пушкин приехал в имение П. А. Осиповой «Малинники». Здесь его застала зима. Пользуясь библиотеками соседей, он прочитал в одном из журналов статью голландского врача Ф. П. Фурша о ядовитом дереве рода крапивных, анчаре, растущем в Ост-Индии, на Малайских островах. Продолжая знакомиться с журналами, поэт прочитал в трагедии Кольриджа «Раскаяние» строки: «Это – ядовитое дерево, пронзенное до сердцевины, оно плачет только ядовитыми слезами».

Поэт не мог пройти мимо столь яркого и зловещего образа – дерева, плачущего «только ядовитыми слезами». И здесь родилось стихотворение «Анчар» – одно из самых значительных произведений Пушкина.

В Михайловском Пушкин написал «Деревню». И тогда же эпиграмму на Аракчеева и самого Александра I.

Встретившись с директором Лицея Е. А. Энгельгардтом, император сказал ему:

– Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь читает их наизусть…

* * *

…«Два года незаметных» в Михайловском – «уголке земли» отмечены были большим творческим трудом.

Свыше ста стихотворений написал Пушкин в те годы. 124 письма, отправленные к друзьям, отражают все, чем жил и дышал поэт в изгнании.

С каждой почтой приходило много книг и журналов – их присылали по его просьбе брат и друзья. Он жадно набрасывался на них и затем садился работать.

В те дни вышли в свет три последних тома «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина. Пушкин с огромным увлечением прочитал их сразу. Он получил тогда же от К. Ф. Рылеева дружеское письмо: «Ты около Пскова: там задушены

последние вспышки русской свободы. Настоящий край вдохновения – и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы?»

Мысль о такой «поэме» между тем у самого Пушкина уже созрела. Написаны были черновики первых четырех сцен «Бориса Годунова» и начата пятая. Работа над «Борисом Годуновым» увлекла Пушкина. Закончив ее, он написал своему другу Н. Н. Раевскому: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить».

* * *

19 февраля 1832 года Пушкин присутствовал на новоселье у издателя и книгопродавца А. Ф. Смирдина, который перевел свой книжный магазин и библиотеку при нем на Невский проспект, против Казанского собора.

Книжная лавка Смирдина была необычной, и хозяин ее был необычный книгопродавец.

Александр Филиппович Смирдин – значительная и интересная фигура в литературном мире пушкинской поры. Страстный любитель книги, он был одновременно и просвещенным издателем. Его лавка являлась своеобразным литературным клубом, где «сочинители» почти ежедневно сходились для литературных бесед. Со многими из них Смирдин был в дружеских отношениях.

С Пушкиным у Смирдина сложились особые отношения. Смирдин был основным издателем произведений поэта. Он чуть ли не первый стал выплачивать писателям гонорар за их литературные труды. До этого большей частью состоятельные люди из аристократических кругов считали неприличным получать деньги за свое поэтическое творчество.

Быть может, Смирдина видел перед собою мысленно Пушкин, когда писал свое стихотворение «Разговор книгопродавца с поэтом».

В этом стихотворном диалоге Пушкин вспоминал те юные свои дни, когда «все волновало нежный ум» и в нем «грезы чудные рождались».

И музы сладостные дары
Не унижал постыдным торгом.

Поэт разочарован, его волнуют мысли о невозможности «юность оживить», и книготорговец спрашивает его:

– Что же избираете вы?

– Свободу, – отвечает поэт.

– Наш век – торгаш; в сей век железный.

Без денег и свободы нет, – говорит книготорговец.

Рядом с Пушкиным Смирдин предстает перед нами книготорговцем не обычным, человеком большой культуры, умным и мыслящим, сыгравшим заметную роль в развитии русской литературы.

Смирдину Пушкин предоставил впоследствии монопольное право на издание его сочинений. И тот никогда не стремился снизить поэту авторский гонорар. Пушкин принимал участие в издававшемся Смирдиным журнале «Библиотека для чтения».

Поэт часто посещал «литературный клуб» Смирдина. Возвращаясь к себе, заходил нередко в Эрмитаж, где находилась приобретенная Екатериной II библиотека Вольтера. В ней было 7 тысяч томов книг и 37 томов рукописей, материалов, относящихся к истории Петра, заметки о России, по истории Камчатки, переписка Екатерины II…

Здесь к месту сказать, что, развив широкую издательскую деятельность, Смирдин издал ряд собраний – произведений русских писателей. Человек на редкость бескорыстный и честный, он разорился и умер в бедности.

* * *

Книги, книги, книги… Мы начали свой рассказ с созданного лицеистом Александром Пушкиным стихотворения «Городок». Познакомимся с личной библиотекой поэта. В том же «Городке» Пушкин писал: «Мой друг! весь день я с ними…» «С ними» – это с книгами.

В начале нашего столетия известный пушкинист Б. Л. Модзалевский глубоко изучил состояние прекрасно сохранившейся библиотеки поэта. Страницу за страницей исследовал ученый, не оставляя без внимания ни одной заметки, сделанной рукой Пушкина, оставленной между страницами закладки, штриха, проведенного ногтем.

После тщательной, кропотливой работы ученого получился объемистый труд в несколько сот страниц, которому Б. Л. Модзалевский дал название «Библиотека А. С. Пушкина».

Тогда же библиотека эта была приобретена Российской Академией наук у внука Пушкина и перевезена в Петербург. Сегодня она хранится в Пушкинском доме Академии наук СССР, в комнате за стальной дверью, где хранятся и все рукописи поэта.

Описывая библиотеку Пушкина, Б. Л. Модзалевский сообщил

тогда:

В двадцати двух разделах библиотеки Пушкина значилось 3560 томов – 1522 названия, из которых 529 на русском языке и 993 на иностранных.

Большое место занимают: историческая – 377 названий; география – 42; путешествия – 58; современные описания государств – 17; языкознание (учебники, хрестоматии, словари) – 51; периодические издания и альманахи – 135; книги по естествознанию и медицине – 15, лечебники, месяцесловы, письмовники, песенники, поваренные книги, руководства к играм, разные описания и т. д. – 107.

Остальные книги содержат сочинения из области философии, богословия, истории церкви, этнографии, статистики, юридических наук.

Заметим, что, работая, Пушкин пользовался французским, английским, немецким, греческим, итальянским, испанским, латинским, языками славянских народов.

120 страниц заняло в труде Б. Л. Модзалевского описание 444 книг библиотеки поэта на русском языке. Вот некоторые книги, на которых имеются пометки и замечания Пушкина.

Записки А. И. Бибикова сопровождали Пушкина на пути создания «Истории Пугачева» и носят на себе следы тщательного и глубокого изучения его. На многих страницах поставлены Пушкиным вопросы, очень часто надписи: «Вздор». И рядом рукою поэта: «Вздор, взятый из глупого романа «Ложный Петр III». Против имени капитана Калмыкова на полях написано: «Не капитан Калмыков, а калмык в ранге капитана».

На одной из страниц подчеркнуты чернилами и карандашом слова, что Пугачев «велел бить монету с именем Императора Петра III, рассылал повсюду Манифесты». Пушкин перечеркнул пером это сообщение и написал: «Вздор. Пуг. не имел времени чеканить деньги, и вымышлять затейливые надписи».

В библиотеке сохранились книги собственных произведений Пушкина. В ней «Сказка о рыбаке и рыбке» с редакторскими правками самого поэта. В строке «Пришел невод с золотой рыбкою» Пушкин зачеркивает слово «золотой» и на полях пишет: «одной». На другой странице в строке: «Жемчуга окружили шею» слово «окружили» заменено другим – «огрузили». Так Пушкин постоянно совершенствовал свои произведения.

Ни одна книга пушкинской библиотеки не попадала в нее случайно. Поэт приобретал лишь то, что его особенно интересовало и необходимо было для творчества.

Книжные лавки помещались в пушкинскую пору недалеко друг от друга, на Невском и Литейном проспектах. Пушкин часто

посещал их и ему не трудно было обойти все в один день. Здесь поэт встречался с такими же книголюбами, как и сам он.

В Москве книжные лавки находились в центре города и примыкали к нынешней Новой площади. Пушкин охотно посещал и книжные ларьки. Их было в Москве великое множество. Люди старшего поколения хорошо помнят эти ларьки и книжный «развал», где среди всякого книжного и журнального хлама можно было неожиданно отыскать и купить за гроши драгоценную книжную жемчужину или гравюру…

Для приобретения книг Пушкин не жалел денег. Находясь в 1836 году в очень тяжелом материальном положении, он израсходовал тогда в июне на книги 750 рублей 50 копеек. И в том же месяце на ежедневные личные расходы всего 39 рублей 30 копеек…

* * *

Пушкин имел обыкновение читать книгу с пером или карандашом в руке, и многие из них испещрены его собственноручными пометками. На отдельные листки он часто заносил имена авторов и названия заинтересовавших его книг. В окружении книг он всегда жил и работал.

Над «Евгением Онегиным» Пушкин начал работать в 1823 году в Кишиневе и закончил в свою удивительную Болдинскую осень 1830 года. Этот роман в стихах дает возможность проследить, какую роль в его создании сыграли книги.

Каждая глава романа сопровождается эпиграфом-цитатой из книг того или иного поэта, писателя.

Глава первая, например, открывается цитатой из В. Вяземского: «И жить торопится и чувствовать спешит».

* * *

Внимание привлекает большой свод примечаний к «Евгению Онегину» – Пушкин, очевидно, вел его на протяжении работы над своим романом. В примечаниях этих поэт дает читателю справку о любой упомянутой в романе книге мировой литературы.

Таков Пушкин в этих примечаниях – большая культура, удивительная память и уважение к своему читателю.

В XXIII строфе седьмой главы «Евгения Онегина» мы читаем:

Хранили многие страницы

Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.

Не о герое своего романа Евгении Онегине писал, конечно, Пушкин эту строфу, а о себе самом, о собственном своем отношении к чтению, книге.

* * *

В своих критических и публицистических статьях Пушкин был принципиален. Поэт К. Н. Батюшков был его учителем, перед ним он преклонялся. Знакомясь с его книгой «Опыты в стихах и прозе», Пушкин дал на полях любопытные оценки отдельных ее страниц.

«Прелесть» – такую оценку дает Пушкин на многих страницах к стихам Батюшкова. И рядом с этим: «Неудачный оборот и дурные стихи».

Против стихов, посвященных любви, поэт замечает: «И у Парни это место дурно, у Батюшкова хуже. Любовь не изъясняется пошлыми и растянутыми сравнениями».

«Звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков». И рядом с такой похвалой: «Детские стихи… дурно… дурно…» На следующей странице – еще более сурово: «Какая дрянь».

Перечеркивая отдельные стихи Батюшкова, сурово критикуя некоторые страницы его книги, Пушкин дает ему чаще всего высокую оценку: «Прекрасно, достойно блестящих и небрежных шалостей французского остроумия, – и везде язык поэзии».

* * *

Осенью 1836 года Пушкин переезжал с женою и тремя детьми с Набережной Невы в свою последнюю квартиру на Набережную Мойки, 12. Поэт перетаскивал пожитки свои, и чуть не большую часть их составляли книги. За десять лет, протекших после лицея, библиотека Пушкина разрослась, и двенадцати подвод для перевозки их уже было мало.

Пушкин вышел посмотреть, как укладывались его книги.

– Что дети мои и книги мои? – задал он однажды Наталье Николаевне вопрос, когда ей пришлось «перетаскивать пожитки» в отсутствие мужа…

Кабинет и библиотека Пушкина на Набережной Мойки выглядят сегодня так, какой вид они имели в последние дни его жизни.

На письменном столе Пушкина лежит полученная им в последнее утро перед дуэлью книга молодой писательницы А. О. Ишимовой – «История России в рассказах для детей».

Зачитавшись тогда книгой, поэт очень высоко оценил ее:

– Вот как надобно писать!..

Около трех суток прожил Пушкин после дуэли. Все эти дни его окружали близкие и друзья. Он умирал тяжело и мучительно. Утром, умирая, попрощался с детьми.

На вопрос одного из врачей, кого из друзей ему хотелось бы видеть, Пушкин тихо промолвил, обернувшись к книгам своей библиотеки:

– Прощайте, друзья!

Няня Пушкина [41]

Арина Родионовна… Это имя простой русской женщины так же широко известно всей России, как и имя ее гениального питомца.

Нянины сказки и присказки, «преданья старины глубокой» и песни Пушкин слушал не раз – и навсегда запомнил. Отбывая Михайловскую ссылку, он снова, как в детские годы, просит няню:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Арина Родионовна пела и снова рассказывала, уже знаменитому двадцатипятилетнему поэту, были и небылицы про избушку на курьих ножках, про тридцать витязей прекрасных. А Пушкин внимательно слушал, записывал их в большую тетрадь и превращал в замечательные сказки, поэмы и песни, которыми все мы, и дети и взрослые, зачитываемся.

В Пушкинском доме Академии наук СССР бережно хранятся записи, сделанные рукою Пушкина со слов няни. Сохранились автографы посвященных няне стихотворений и дружеская переписка поэта, где упоминается имя Арины Родионовны.

* * *

Мы хорошо представляем себе эту женщину, заворожившую младенческую душу будущего поэта старинными преданиями. Этот образ встречается на страницах многих произведений Пушкина. Арина Родионовна – прототип Филиппьевны, няни Татьяны в «Евгении Онегине», мамки царевны Ксении в «Борисе Годунове», мамки княгини в «Русалке», Орины Егоровны в «Дубровском».

Пушкин вспоминает пестовавшую его в детские годы

С платком на голове седой,
Старушку в длинной телогрейке —

и пишет:

В больших очках и с резвою гремушкой,
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.

Родилась Арина Родионовна 10 апреля 1758 года. Она была крепостной потомков Абрама Петровича Ганнибала, арапа Петра Великого, прадеда поэта. В старинных церковных книгах при рождении ее записали Ириной, а в обиходе звали по-крестьянски – Ариной.

Ей было двадцать три года, когда она вышла замуж за Федора Матвеева, крепостного Ганнибалов. Они венчались в той же церкви села Суйды Петербургской губернии, где через пятнадцать лет венчались родители поэта – Надежда Осиповна Ганнибал и Сергей Львович Пушкин.

У Арины Родионовны было уже четверо детей, когда у Пушкиных в 1797 году родилась дочь Ольга, а через полтора года – Александр, будущий поэт. Ее взяли к ним няней. Она вырастила и младшего их брата, Льва.

Александр горячо любил свою няню. Она стала для него второй матерью. Он и называл ее часто мамой.

– Батюшка, за что ты меня все мамой зовешь? Какая я тебе мать? – спрашивала бывало Пушкина Арина Родионовна.

А он отвечал ей:

– Разумеется, ты мне мать: не та мать, что родила, а та, что своим молоком вскормила…

* * *

Расставшись в 1811 году с няней, Пушкин шесть лет учился в Лицее. Три года прожил после этого в Петербурге. Потом за свои вольнолюбивые стихотворения был сослан на юг России. Пробыв четыре года в Кишиневе и Одессе, поэт переехал в Михайловское, где ему предстояло отбыть еще два года ссылки.

Арина Родионовна увидела уже не того шаловливого мальчика, с которым она рассталась тринадцать лет назад. Это был уже поэт, имя которого знала вся Россия. Но для Арины Родионовны он оставался все тем же вскормленным ею питомцем.

Они поселились в двух горницах маленького михайловского домика, о котором Пушкин писал:

Наша ветхая лачужка

И печальна, и темна.

Эти михайловские годы очень сблизили их.

Неграмотная русская женщина стала любимейшей спутницей поэта. С нею, подневольной крепостной, Пушкин разделил и свои михайловские подневольные годы.

Вместе коротали они долгие зимние вечера. В трубе гудел ветер, Арина Родионовна, рассказывала «под жужжанье веретена» свои сказки, а Пушкин работал над «Русланом и Людмилою».

Он так и писал:

Времен минувших небылицы,
В часы досугов золотых,
Под шопот старины болтливой,
Рукою верной я писал…

Пушкин сообщал одному из своих друзей: «…вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны… она единственная моя подруга – и с нею только мне не скучно».

«Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» – писал Пушкин брату в ноябре 1824 года.

Две записи, сделанные Пушкиным в своей тетради, показывают, как претворялись нянины были и небылицы в пушкинские сказки и поэмы. Арина Родионовна неторопливо сказывала, а Пушкин записывал:

«Что за чудо, говорит мачеха, вот что чудо: у моря лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, а по тем цепям ходит кот, вверх идет – сказки сказывает, вниз идет – песни поет. Царевич прилетел домой и с благословенья матери перенес перед дворец чудный дуб…»

И здесь же, на внутренней стороне переплета тетради, мы читаем этот нянин рассказ, преображенный в пролог к «Руслану и Людмиле»:

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит…

Работая над «Борисом Годуновым», Пушкин писал в июне

1825 года своему другу Н. Н. Раевскому: «…у меня буквально нет другого общества, кроме старушки няни и моей трагедии».

«Родионовна, – писал биограф Пушкина П. В. Анненков, – принадлежала к… благороднейшим типам русского мира. Соединения добродушия и ворчливости, нежного расположения к молодости с притворной строгостью оставили в сердце Пушкина неизгладимое воспоминание».

Мы убеждаемся в этом, читая стихотворения Пушкина, обращенные к няне.

«Гонимый рока самовластьем», поэт мучительно влачит в Михайловском свои «в изгнании закованные дни» и в один из бесконечных зимних вечеров трогательно, задушевно спрашивает няню:

Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

Анненков писал, что Пушкин любил няню «родственной, неизменной любовью и в годы возмужалости и славы беседовал с нею по целым часам».

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей… —

говорит Пушкин в четвертой главе «Евгения Онегина», написанной им в Михайловском.

В присутствии няни Пушкин читал навестившему его в январе 1825 года И. И. Пущину свои произведения и рукопись «Горя от ума» А. С. Грибоедова.

Мы «вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи, – вспоминал впоследствии Пущин. – Среди молодой своей команды няня тревожно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси. Настало время обеда… начались тосты за Русь, за лицей, за отсутствующих друзей и за нее (за свободу)… попотчевали искрометным няню…».

Арина Родионова присутствовала и при встрече Пушкина с

другим лицейским товарищем, А. А. Дельвигом. И, до последней степени взволнованная, плакала навзрыд, когда провожала Пушкина, уезжавшего в сентябре 1826 года вместе с фельдъегерем в Москву по вызову Николая I.

Пушкин тревожился за ее здоровье и из Москвы писал ей, в стихотворении «Няне»:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На черный отдаленный путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.

Волновались о здоровье Арины Родионовны и друзья Пушкина.

Дельвиг спрашивал его: «Душа моя, меня пугает положение твоей няни. Как она пережила совсем неожиданную разлуку с тобою?»

Пушкин, снова оказавшись в Михайловском после поездки в Москву, писал по этому поводу 9 ноября 1826 года своему близкому другу поэту П. А. Вяземскому: «Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму. Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей… няни – ей-богу приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждения самолюбия, рассеянности и пр. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти лет она выучила наизусть новую Молитву о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости, молитвы, вероятно, сочиненной при царе Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом».

Няня, видимо, была в курсе всех дел и бед своего питомца и думала этой молитвой умилить сердце Николая I.

Она тоже волновалась, когда Пушкин снова уехал в Москву и долго не возвращался.

Она диктовала кому-нибудь трогательные и нежные письма и отправляла их с оказией. Сохранилось два таких письма, написанных 30 января и 6 марта 1827 года. Одно написано было

каким-то полуграмотным однодворцем, другое – под ее диктовку Анной Вульф из Тригорского.

«Вы у меня беспрестанно на сердце и на уме, – диктовала няня, – и только, когда засну, то забуду вас… Ваше обещание к нам побывать летом меня очень радует. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское, всех лошадей на дорогу выставлю.

Прощайте, мой батюшка, Александр Сергеевич.

За Ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила, поживи, дружочек, хорошенько, самому слюбится. Я, слава богу, здорова, целую Ваши ручки и остаюсь Вас многолю бящая няня Ваша

Арина Родионовна».

Нянины письма у Пушкина лежали среди драгоценнейших бумаг. Теперь они бережно хранятся в Пушкинском доме.

* * *

Тягостно проходила петербургская жизнь Пушкина после возвращения из ссылки. Его преследовал Николай I, досаждал мелочными придирками шеф жандармов Бенкендорф, за каждым его шагом следила тайная и явная полиция.

Пушкин все реже и реже встречался со своей няней и в последний раз виделся с нею в сентябре 1827 года. Она переехала вскоре к сестре Пушкина, Ольге Сергеевне Павлищевой, в Петербург и 31 июля 1828 года скончалась.

Пушкин тяжело переживал смерть Арины Родионовны. Тяжко восприняли смерть няни и друзья его.

Поэт Н. М. Языков, не раз навещавший Пушкина в Михайловском и всегда трогательно относившийся к Арине Родионовне, написал в 1830 году стихотворение «На смерть няни А. С. Пушкина».

Ты не умрешь в воспоминаньях
О светлой юности моей
И в поучительных преданьях
Про жизнь поэтов наших дней.
……
И вот тебе поминовенье —
На гроб твой свежие цветы!
Я отыщу тот крест смиренный,
Под коим меж чужих гробов
Твой прах улегся, изнуренный
Трудом и бременем годов.

Пред ним печальной головою
Склонюся; много вспомню я —
И умиленною мечтою
Душа разнежится моя!

Могилу няни сейчас не отыскать. Лучшим памятником Арине Родионовне навсегда остались посвященные ей стихотворения и воспоминания Пушкина и его друзей. И есть еще один вековечный памятник ей: в 1937 году именем Арины Родионовны, неграмотной крепостной крестьянки, названа изба-читальня в деревне Кобрино Ленинградской области, где она провела свои детские годы…

«Душой исполненный полет…» [42]

Это Истомина в танце. Русская Терпсихора. Знаменитая танцовщица пушкинской поры.

Пушкин и Истомина родились в одном и том же 1799 году, на пороге XIX века. Истомина была выпущена из петербургского хореографического училища в 1815 году, Пушкин из Царскосельского лицея – в 1817 году.

Старейшее русское хореографическое училище на улице зодчего Росси в Ленинграде привлекало к себе в пушкинское время не только молодежь. Пушкин, его приятель Никита Всеволожский, Грибоедов, Кюхельбекер не раз бывали здесь. И часто, ожидая выхода юных танцовщиц, прохаживались вдоль стен старинного здания училища. Сюда заглядывал сам Александр I, бывал Петербургский генерал-губернатор граф М. А. Милорадович…

Поселившись после окончания лицея в Петербурге, Пушкин не раз видел Истомину на сцене.

В 1820 году Пушкин выслан был на юг России. Путешествуя с Раевскими по Крыму и Кавказу, он услышал в Железноводске от одного духанщика рассказ старого инвалида о его пребывании в плену у черкесов. Рассказ этот вдохновил поэта. Уже через месяц готов был черновик «Кавказского пленника». В Каменке, у Давыдовых, Пушкин закончил поэму и переписал набело, поставив внизу дату – 23 февраля 1821 года.

Поэма стала известна друзьям еще в рукописи. В начале 1822 года она была издана и имела огромный успех.

* * *

«Кавказский пленник» автобиографичен. Это он, поэт, «покинул родной предел и в край далекий полетел с веселым призраком свободы». И о себе самом Пушкин писал:

Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном мире.
Страстями чувство истребя,
Охолодев к мечтам и к лире,
С волненьем песни он внимал,
Одушевленные тобою,
И с верой, пламенной мольбою
Твой гордый идол обнимал.

Любопытно, что и Кюхельбекер, так много претерпевший после окончания лицея, себя самого увидел в пушкинском «Кавказском пленнике». Прочитав поэму, он послал Пушкину большое стихотворение, в котором писал:

Мой образ, друг минувших лет,
Да оживет перед тобою!
Тебя приветствую, поэт!
Одной постигнуты судьбою,
Мы оба бросили тот свет,
Где мы равно терзались оба,
Где клевета, любовь и злоба
Разлучили обоих нас!
……
…в душе моей унылой
Твой чудный пленник повторил
Всю жизнь мою волшебной силой
И скорбь немую пробудил!

15 января 1823 года в петербургском Большом театре состоялось первое представление балета Дидло на музыку Кавоса «Кавказский пленник или тень невесты». Роль Черкешенки исполняла Истомина.

Пушкин томился в то время в унылой кишиневской ссылке. Чего бы не дал он, чтобы хоть на несколько часов перенестись в сияющий огнями петербургский Большой театр и снова увидеть Истомину, увидеть ее в роли созданной им Черкешенки.

Он видит перед собою пленительную, нежную и страстную, преображенную Истоминой Черкешенку:

…Перед ним,
С приветом нежным и немым,
Стоит черкешенка младая.
На деву молча смотрит он
И мыслит: это лживый сон,
Усталых чувств игра пустая.
Луною чуть озарена,
С улыбкой жалости отрадной
Колена преклонив, она
К его устам кумыс прохладный
Подносит тихою рукой.
Но он забыл сосуд целебный;

Он ловит жадною душой
Приятной речи звук волшебный
И взоры девы молодой.

В этом же январе Пушкин пишет из Кишинева брату Льву в Петербург:

«Благоразумный Левинька! Благодарю за письмо – жалею, что прочие не дошли – пишу тебе, окруженный деньгами, афишками, стихами, прозой, журналами, письмами, – и все то благо, все добро. Пиши мне о Дидло, об Черкешенке Истоминой, за которой я когда-то волочился, подобно Кавказскому пленнику».

9 мая поэт приступает в Кишиневе к работе над «Евгением Онегиным» и уже в первой главе отдается мечте снова увидеть Истомину:

Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Все те же ль вы? другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?

Пушкин вспоминает свои встречи с Истоминой, Истомину на сцене, годы, прожитые в Петербурге после лицея, и рисует живой портрет своей обаятельной сверстницы:

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.

Пушкин вспоминает в «Евгении Онегине» и царившего в ту пору мага и волшебника балетной сцены. Дидло:

Там и Дидло венчался славой,
Там, там под сению кулис
Младые дни мои неслись.

Через год Пушкин отбывает уже свою михайловскую ссылку. Здесь узнает из писем друзей, что 8 декабря 1824 года в петербургском Большом театре состоялось первое представление «волшебно-героического балета в пяти действиях «Руслан и Людмила, или низвержение Черномора, злого волшебника» с Истоминой в роли Людмилы.

Снова мечты: как чудесно было бы вырваться из михайловского заточения, оказаться в Петербурге и, сидя в партере, снова встретиться со своей Людмилой в лице блистательной, полувоздушной Истоминой!..

В «Евгении Онегине» Пушкин отметил и эпизод из балета «Зефир и Флора», в котором появилась на сцене сперва Данилова, а после нее Истомина. Он сравнивает их:

Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня.

* * *

Истомина в те годы пленяла и чаровала всех своим изумительным искусством. По свидетельству современников, исполнение ее отличалось негой, страстностью, огнем, жизненной правдой.

Она была обаятельна и как женщина. За театральными кулисами царила особая атмосфера влюбленности. У Истоминой было много поклонников. Из-за нее состоялась нашумевшая тогда двойная дуэль: Шереметев – Завадовский, Грибоедов – Якубович. Шереметев был убит, а Грибоедову Якубович прострелил ладонь левой руки. Только по этому признаку и сведенному мизинцу его удалось опознать в Тегеране среди оставшихся после резни трупов…

Милорадович ухаживал за балериной Е. А. Телешевой. Прочитав посвященные Пушкиным Истоминой стихи «Евгения

Онегина», он искал поэта, которому можно было бы заказать стихи в честь Телешевой, с условием, чтобы они были похожи на стихи Пушкина об Истоминой.

* * *

Двести двадцать восемь лет, с 1738 года, существует в Ленинграде, на улице зодчего Росси, старейшее русское хореографическое училище. Из него вышли многие замечательные артисты, на весь мир прославившие русский балет. Немало дала их и Москва. Были и самородки из глубины России.

На одном конце этого славного двухвекового пути стоят знаменитая крепостная танцовщица Гранатова-Шлыкова и уже во второй половине восемнадцатого века танцевавший в Вене Бубликов, на другом – Анна Павлова, Галина Уланова, Семенова, Лепешинская, Дудинская, Плисецкая, Шелест, Чабукиани, Фадеечев, Жданов.

Но есть на средине этого пути имя, ярко блиставшее в окружении созвездия талантливых балерин и танцовщиков той эпохи – Колосовой, Даниловой, Телешевой, Глушковского, Гольца.

Имя это – Истомина. Его донес до нас почти через полтора столетия Пушкин.

«Я не рожден царей забавить…» [43]

В июне 1816 года лицеист Александр Пушкин вынужден был выполнить царский заказ.

Выходила замуж сестра императора Александра I, великая княжна Анна Павловна, и мать невесты, императрица Мария Федоровна, вдова Павла I, обратилась к поэту Ю. А. Нелединскому-Мелецкому с просьбою написать стихи в честь новобрачных.

Это был довольно известный поэт той поры, автор стилизованных народных любовных песен – из них до наших дней пользуется популярностью песня «Выйду ль я на реченьку». Но был он уже стар, стихи не ладились, и он попросил Н. М. Карамзина помочь ему.

Карамзин дал совет обратиться за помощью к семнадцатилетнему Пушкину, который уже начал тогда приобретать известность.

Сестра царя выходила замуж за сына нидерландского короля Вильгельма I – принца Оранского, вступившего позднее на престол под именем Вильгельма II.

Писать стихи в честь дочери Павла I, сестры Александра I, юному Пушкину было не по душе, но отказаться невозможно было.

Стихи Пушкин написал в течение двух часов. В них не было ни славословия, ни фимиама. Пушкин использовал лишь исторические факты: Наполеон, бежавший с острова Эльбы («Оковы свергнувший злодей»), восстановивший императорскую власть, в битве при Ватерлоо был разбит войсками союзников под командованием Веллингтона («герой дивный Альбиона»).

В этом сражении принц Оранский был ранен, и Пушкин воздал в своем стихотворении должное герою войны:

Его текла младая кровь,
На нем сияет язва чести:
Венчай, венчай его, любовь!
Достойный был он воин мести.

Стихотворение это положено было на музыку.

Но юный Пушкин, приветствовавший первый период царствования Александра I – «дней Александровых прекрасное начало», уже прозревал. После либеральных мечтаний этого «прекрасного начала» Александр I вступил на путь реакции. Новые,

оппозиционные настроения проникли и в лицей. В одном из лицейских сборников появилась даже эпиграмма, которой император Александр Павлович Романов сравнивался с Александром Павловичем Зерновым, лицейским помощником гувернера:

Зернов! хромаешь ты ногой,
Романов головою…

Пушкин сразу же пожалел о том, что вынужден был написать стихотворение «Принцу Оранскому»:

И даже, – каюсь я, – пустынник согрешил.
Простите мне мой страшный грех, поэты,
Я написал придворные куплеты,
Кадилом дерзостным я счастию кадил.

Между тем вдова-императрица, жена Павла I, прислала Пушкину за стихотворение «Принцу Оранскому» золотые часы. По этикету поэт не мог отказаться от царского подарка, но, как гласило лицейское предание, часы эти Пушкин сразу же «разбил нарочно о каблук».

В то время, после официального восхваления военной славы Александра I в Отечественную войну 1812 года, настроения Пушкина еще более изменились. В душе его зрели направленные в адрес «кочующего деспота» Александра I эпиграммы, насыщенные политическим протестом, призывавшие к борьбе с самодержавием. Настроения эти нашли позже яркое отражение в зашифрованной и сожженной десятой главе «Евгения Онегина»:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда.
Нечаянно прогретый славой,
Над нами царствовал тогда.

У Пушкина даже появились в беседе с П. Я. Чаадаевым мысли об убийстве Александра I.

Позже Пушкин говорил приятелю А. Н. Вульфу, соседу из Тригорского, что намерен написать историю Александра I «пером Курбского». Андрей Курбский, как известно, бежал от гнева Иоанна Грозного в Польшу и там написал насыщенную ненавистью историю царя. Такой же ненавистью к Александру I был

преисполнен Пушкин, которого на протяжении шести лет император преследовал, бросая из одной ссылки в другую…

* * *

Через два года, в 1818 году, Пушкин получил новый высочайший заказ. Н. Я. Плюскова, фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I, обратилась к Пушкину через Жуковского с просьбою написать стихи в честь императрицы, пользовавшейся, в противоположность своему мужу, популярностью за доброту, широкую благотворительность и любовь к русской литературе.

В филиалах Тайного общества Союза Благоденствия даже возникла мысль о дворцовом перевороте в ее пользу…

Пушкин выполнил просьбу и написал очень смелое стихотворение, подчеркнув в названии, что это «Ответ на вызов написать стихи в честь ее императорского величества государыни императрицы Елисаветы Алексеевны»:

На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил
И силе в гордости свободной
Кадилом лести не кадил.
Свободу лишь умея славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой музою моей.
Но, признаюсь, под Геликоном,
Где Касталийский ток шумел,
Я, вдохновенный Аполлоном,
Елисавету втайне пел.
Небесного земной свидетель,
Воспламененною душой
Я пел на троне добродетель
С ее приветною красой.
Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

Стихотворение это очень широко распространилось в ту пору в рукописных копиях. Оно звучало уже совсем не так, как ранее лицейское «Принцу Оранскому». В самом стихотворении поэт

подчеркнул, что «петь на троне добродетель» ему внушали «любовь и тайная свобода».

Золотых часов за это стихотворение Пушкин от императрицы уже не получил…

«Волхвы не боятся могучих владык…»[44]

2 февраля 1818 года вышли в свет первые восемь *томов «Истории государства российского» Карамзина. В те дни Пушкин болел и, лежа в постели, прочитал их «с жадностью и вниманием».*

«Появление сей книги, – записал он, – (как и быть надлежало) наделало много шуму и произвело сильное впечатление, 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) – пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Коломбом», Юный поэт возражал против основного направления карамзинской «Истории»: идеализации самодержавной власти – «история народа принадлежит царю», – даже записал на него злую эпиграмму:

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Но Пушкин восхищен был большим мастерством историка-художника, глубокой взволнованностью его повествования. Прочитав отрывок из «Истории» Карамзина – «Осада и взятие Казани», он заметил:

– В этой прозе гораздо более поэзии, чем в поэме Хераскова…

Херасков был известный поэт своего времени, по словам В. Г. Белинского, «тяжел и скучен до невыносимости», воспевший в двух огромных поэмах два важных события русской истории. Карамзин же первый на Руси заменил тогдашний тяжелый, и скучный, и мертвый язык книги живым русским словом, на котором говорили люди.

Пушкин писал позже Жуковскому: «читаю только Карамзина да летописи. Что за чудо эти 2 последние тома Карамзина! какая жизнь! c'est palpitant comme la gazette d'hier[45].

* * *

Еще до того Пушкин, бесспорно, с большим интересом читал вышедшие в 1802 году мысли Карамзина «О случаях и характерах

в Российской Истории, которые могут быть предметом Художеств».

Карамзин писал, что во всяких старинных летописях есть сказания, освященные древностью, особенно если они представляют живые черты времени. И предложил вниманию будущего художника древнее сказание о смерти Олеговой:

«Волхвы предсказали ему, что он умрет от любимого коня своего. Геройство не спасало тогда людей от суеверия: Олег, поверив волхвам, удалил от себя любимого коня; вспомнил об нем через несколько лет – узнал, что он умер – захотел видеть его кости – и, толкнув ногою череп, сказал: «это ли для меня опасно?» Но змея скрывалась в черепе, ужалила Олега в ногу, и Герой, победитель Греческой Империи, умер от насекомого! Впечатление сей картины должно быть (как я сказал) философическое, моральное: ПОМНИ ТЛЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ! Я изобразил бы Олега в то мгновение, как он с видом презрения отталкивает череп; змея выставляет голову, но еще не ужалила его: чувство боли и выражение ея неприятны в лице геройском. За ним стоят воины с Греческими трофеями, в знак одержанных им побед. В некотором отдалении можно представить одного из волхвов, который смотрит на Олега с видом значительным».

Так представлял себе историк-художник будущее перевоплощение поэтом-художником древнего летописного сказания. Он, конечно, не думал, что уже родился гениальный поэт, который станет вскоре его большим другом, подхватит и осуществит подсказанную им мысль: напишет «Бориса Годунова» и посвятит «драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностию».

В те годы, когда Карамзин опубликовал свои мысли «О случаях и характерах в Российской Истории, которые могут быть предметом Художеств», маленький Пушкин лежал еще в колыбели…

* * *

Через два десятилетия Пушкин отбывал уже южную ссылку и с увлечением знакомился с русскими летописями. В его личной библиотеке, хранящейся в Пушкинском Доме Академии наук СССР, и сегодня находится «Летописец Русской от пришествия Рурика до кончины царя Иоанна Васильевича» издания 1792 года.

Издание это имелось у Пушкина даже в двух экземплярах. Судя по тому, что в одном из них осталась лежать с пушкинского

времени закладка, поэт был знаком с ним.

Здесь летописец так повествует о смерти Олега:

«По сих имея Олег мир ко всем странам самодержавствуя в Киеве безо всякой опасности. И некогда во осеннее время вспомнил о коне своем, его же повелел кормити в стойле, и не употреблять никуды в разъезд, коего он вельми любил и всегда на нем ездил, а понеже много время его не видал, и для опасности на нем не ездил многа лета, а на пятой по прибытии от Царяграда год воспомнил о нем от коего ему прорекли умереть волхвы и кудесники, коих он собрав вопроси глаголя: от чего мне умереть?

И рече ему один кудесник тако: «Княже! Конь его же ты любишь и ездишь на нем, от того ти будеть кончина».

* * *

Летописец был, бесспорно, поэт с душою лирическою и певучею, но как гениально пересказал Пушкин это древнее сказание.

Семь строф заняли они в пушкинской «Песне о вещем Олеге». Поэт XIX века полностью сохранил историческую достоверность предания, но обогатил его своим поэтическим вымыслом, ярким словом, вещими, вдохновенными образами.

Пушкин не собирает кудесников, как это предложил Карамзин, он выбрал другой образ:

Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях проведший весь век…

К нему, кудеснику, любимцу богов, приближается Олег, просит предсказать ему будущее, не бояться его – в награду обещает любого коня.

Пушкин писал «Песнь о вещем Олеге» в 1822 году в Кишиневе, в пору своей политической ссылки.

«Безрукий князь» Александр Ипсиланти поднимал восстание за освобождение Греции от поработившей ее Турции.

Пушкин встретился тогда с молодым подполковником П. И. Пестелем, прибывшим в Кишинев, чтобы собрать сведения о греческом восстании, и сам готов был вступить в ряды инсургентов для освобождения Эллады.

Неспокойно было и в России: тайные общества готовились

покончить с самодержавием и крепостничеством.

И в уста кудесника Пушкин вложил гордый ответ:

Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе.
……
Твой конь не боится опасных трудов;
Он, чуя господскую волю,
То смирный стоит под стрелами врагов,
То мчится по бранному полю,
И холод, и сеча ему ничего.
Но примешь ты смерть от коня своего.

Пушкин не отступает от повествования летописца: Олег, угрюмый, оставил коня, погладил, потрепал прощальной рукой гриву, велел купать его, кормить отборным зерном.

Вспомнив о нем через годы, узнав, что конь давно уже почил непробудным сном, Олег, как гласит предание: «разсмеялся и укорив волхвы и кудесника, иже ему предсказа от коня сего умрети, и рек: всегда тии глаголют лож, яко же се ныне зрим, уже умре, а я есмь жив, и повеле себе оседлати коня да поехав хотя на кости его посмотрит».

Пушкин переложил эти летописные предания на язык поэзии:

Могучий Олег головою поник
И думает: «Что же гаданье?
Кудесник, ты лживый, безумный старик!
Презреть бы твое предсказанье!
Мой конь и доныне носил бы меня»,
И хочет увидеть он кости коня.

Олег увидел эти омытые дождями благородные кости. Так повествовал об этом летописец, так рассказал об этом и Пушкин. Но поэт не пошел по пути, предложенному Карамзиным: «Я изобразил бы Олега в то мгновение, как он с видом презрения отталкивает череп; змея выставляет голову, но еще не ужалила его». И не поставил Пушкин в отдалении «одного из волхвов, который смотрит на Олега с видом значительным»…

У Пушкина змея внезапно ужалила князя:

Из мертвой главы гробовая змия
Шипя между тем выползала;
Как черная лента, вкруг ног обвилась:
И вскрикнул внезапно ужаленный князь…

* * *

Прошло почти полтора столетия со дня создания Пушкиным этого непревзойденного эпического стихотворения. Сохранив сюжет и его исторический колорит, оно и сегодня переносит нас в ту далекую эпоху. «Пьеса эта, – писал В. Г. Белинский, – исполнена поэтической прелести, которую особенно возвышает разлитый в ней элегический тон и какой-то чисто русский склад изложения».

Мы со школьных лет помним это стихотворение наизусть, восхищаемся звучными пушкинскими строфами. Мы точно присутствуем при том, как из «темного» леса выходит древний кудесник, и повторяем вслед за ним его гордый и вдохновенный ответ князю Олегу:

Волхвы не боятся могучих владык…

Анчар – древо яда [46]

19 октября 1828 года, день семнадцатой лицейской годовщины, Пушкин праздновал вместе с товарищами в Петербурге. Делились далекими воспоминаниями, пели песни, бражничали до полуночи. В протокол собрания Пушкин вписал:

Усердно помолившись богу,
Лицею прокричав УРА,
Прощайте, братцы: мне в дорогу,
А вам в постель уже пора.

И в ту же ночь выехал в Малинники, небольшое имение в Старицком уезде Тверской губернии, принадлежавшее хозяйке Тригорского П. А. Осиповой и ее детям от первого брака, Вульфам.

Здесь Пушкин прожил конец октября и весь ноябрь. Это была творческая осень. Его застала в Малинниках зима, и он писал:

Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю
Слугу, несущего мне утром чашку чаю,
Вопросами: тепло ль? утихла ли метель?
Пороша есть иль нет? и можно ли постель
Покинуть для седла, иль лучше до обеда
Возиться с старыми журналами соседа?

Здесь Пушкин мог найти журналы «Музу» за 1796 год и «Детское чтение для сердца и разума» за 1819 год и прочитать в одном из них переведенную на русский язык статью из английского журнала «London Magazine» о ядовитом дереве рода крапивных, анчаре, растущем в Ост-Индии и на Малайских островах. Автор, голландский врач Ф. Фурш, писал в своей статье, что млечный сок этого дерева содержит сильный яд, которым туземцы отравляют наконечники своих стрел. Осужденным на смерть преступникам предоставлялся на острове Ява в качестве последнего шанса на спасение поход к этому дереву за ядом: если им удавалось вернуться живыми, им сохраняли жизнь.

Среди местного населения существовало поверье, что даже испарения листвы анчара ядовиты.

По поводу анчара Пушкин прочитал и в трагедии Кольриджа «Раскаяние» строки:

It is a poison – tree that pierced
to the inmost
Weeps only tears of poison[47].

Поэт не мог пройти мимо столь яркого и мрачного образа – дерева, плачущего только ядовитыми слезами – и он отразил свои настроения в стихотворении «Анчар».

Протест против насилия и безграничной власти человека над человеком давно жил и не переставал жить в душе Пушкина. Вспомним «Деревню», вспомним обращенное им к П. А. Вяземскому стихотворение «Так море, древний душегубец».

По Петербургу пронесся слух, будто декабриста Н. И. Тургенева, оказавшегося после восстания в Лондоне и заочно приговоренного к смертной казни, доставили морем в Петербург. В письме к Вяземскому из михайловской ссылки от 14 августа 1826 года Пушкин спрашивал Вяземского, автора стихотворения «Море»:

«Правда ли, что Николая Тургенева привезли на корабле в Петербург? Вот каково море наше хваленое!»

Находясь тогда под страшным впечатлением совершившейся казни пяти декабристов и жестокой расправы Николая I со ста двадцатью «братьями, друзьями, товарищами», Пушкин закончил свое стихотворное обращение к Вяземскому – «Так море, древний душегубец…» – твердым и уверенным большой силы утверждением:

На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

С такими мыслями, в таком душевном смятении Пушкин написал 9 ноября 1828 года в Малинниках потрясающее по силе и глубине мысли, совершенное по своей художественной форме стихотворение «Анчар», поставив к нему в черновике эпиграфом строки из Кольриджа о дереве, плачущем ядовитыми слезами:

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит – один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей

И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.

К нему и птица не летит
И тигр нейдет – лишь вихорь черный
На древо смерти набежит
И мчится прочь уже тлетворный.

И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей уж ядовит
Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек
Послал, к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.
Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;

Принес – и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки.
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы,
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

В черновиках находилась после пятой строфы еще одна, усиливавшая мрачную картину смертоносного окружения древа яда:

И тигр, в пустыню забежав,
В мученьях быстрых издыхает,
Паря над ним, орел стремглав
Кружась безжизненный спадает.

Строфу эту Пушкин при переписке набело вычеркнул.

Стихотворение «Анчар» Пушкин впервые напечатал лишь через четыре года. Бенкендорф насторожился, прочитав в первом стихе последней строфы стихотворения упоминание о царе:

А царь *тем ядом напитал…*

Через своего помощника А. Н. Мордвинова он предложил Пушкину «доставить ему объяснение, по какому случаю помещены в изданном на сей 1832 год альманахе «Северные цветы» некоторые стихотворения его и, между прочим, Анчар – древо яда без предварительного испрошения на напечатание оных высочайшего дозволения».

Пушкин в тот же день ответил Бенкендорфу:

«Я всегда твердо был уверен, что высочайшая МИЛОСТЬ, коей неожиданно был я удостоен (в 1826 году царь сам стал цензором произведений Пушкина. – А.Г.), не лишает меня и ПРАВА, данного государем всем его подданным: печатать с дозволения цензуры. В течение последних шести лет во всех журналах и альманахах, с ведома моего и без ведома, стихотворения мои печатались беспрепятственно, и никогда не было о том ни малейшего замечания ни мне, ни цензуре. Даже я, совестясь беспокоить поминутно его величество, раза два обратился к Вашему покровительству, когда цензура недоумевала, и имел счастие найти в Вас более снисходительности, нежели в ней».

Отправив это письмо, Пушкин просил Бенкендорфа принять его для выяснения некоторых своих затруднений.

Через несколько дней, 11 февраля, Пушкин вызван был, согласно его просьбе, к Бенкендорфу. Судя по сохранившемуся черновику нового письма поэта к нему от 18–24 февраля того же 1832 года, Пушкин вынужден был еще и еще раз доказывать шефу жандармов, что «обвинения в применениях и подразумениях не имеют ни границ, ни оправданий, если под словом дерево будут разуметь конституцию, а под словом стрела самодержавие».

Любопытно, что разрешение цензуры на печатание «Анчара» было получено за три недели до письма Бенкендорфа к Пушкину и что в черновике этого стихотворения вместо слова «царь» в последнем стихе значилось «князь».

Песни свободе [48]

Кавказский пленник

Высланный из Петербурга за свои вольнолюбивые стихи, Пушкин приехал на юг России в тяжелом душевном состоянии. С апреля 1820 года, когда над ним повисло «облако громносное» высылки, он очень мало писал. И создавая на Кавказе эпилог к написанной еще в Петербурге поэме «Руслан и Людмила», Пушкин скорбел о том, что душа «полна томительною думой – но огнь поэзии погас» и скрылась от него навек «богиня тихих песнопений».

Эта тревога поэта длилась, однако, недолго. В первые же дни путешествия с Раевскими по Кавказу, остановившись после прогулки в горы у духанщика, Пушкин услышал рассказ старого инвалида о его пребывании в плену у черкесов.

Нахлынувшие яркие кавказские и крымские впечатления вдохновили поэта на новые, далекие от прежних элегий произведения. И оказавшись в Каменке, Пушкин начал осенью 1820 года работать над претворением только что услышанного рассказа в первую южную поэму – «Кавказский пленник»…

По мнению Д. Д. Благого, «Пушкин… во многих чертах образа своего Пленника… дал первое высоко поэтическое выражение вольнолюбивым настроениям и порывам передовых кругов современного ему общества».

Поэма стала известна друзьям еще в рукописи, в начале 1823 года была издана и имела огромный успех. «Жемчужиной русской словесности» называли ее. Она сразу же переведена была на французский, немецкий и польский языки. И уже в мае 1823 года Пушкин писал Н. И. Гнедичу о втором ее издании.

«Кавказский пленник» автобиографичен. Это он, поэт, «покинул родной предел и в край далекий полетел с веселым праздником победы». И о себе самом Пушкин писал:

Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном мире,
Страстями чувства истребя,
Охолодев к мечтам и к лире,
С волненьем песни он внимал,
Одушевленные тобою,
И с верой, пламенной мольбою
Твой гордый идол обнимал…

В петербургском Большом театре вскоре состоялось первое представление балета прославленного Дидло на музыку Ковоса «Кавказский пленник, или Тень невесты» в четырех действиях. Роль черкешенки исполняла знаменитая балерина Истомина.

Чего бы ни дал Пушкин, чтобы хоть на несколько часов перенестись в сияющий огнями столичный Большой театр и снова, как совсем еще недавно, увидеть Истомину с ее «душой исполненным полетом»!

Пушкину «мочи нет, хочется недели две побывать в этом пакостном Петербурге», пишет он и просит А. И. Тургенева вытребовать его туда хоть «на несколько дней (однако ж не более)». Самого себя называет в письме к нему «искателем новых впечатлений».

Эти новые впечатления сами идут искателю навстречу. В том же письме Пушкин обещает привезти за то «сочинение во вкусе Апокалипсиса» – «Гавриилиаду».

Гавриилиада

Замысел «Гавриилиады» родился у Пушкина в Киеве, куда он прибыл в феврале 1821 года с Давыдовыми из Каменки.

Древняя Киевская Русь, Владимиры и Изяславы совершенно овладели воображением поэта. Десять дней он наслаждался этой стариной и накануне отъезда посетил знаменитый Софийский собор…

Взор его невольно остановился на превосходных изображениях архангела Гавриила и девы Марии (библейская притча о благовещении повествует, как известно, что Гавриил был послан сообщить деве Марии божью волю – что у нее будет сын). Пушкин с любопытством и вниманием рассматривал их. Атеист в душе, он издевался над легендой о беспорочном зачатии девы Марии, и здесь у него родился, – а позже, в Кишиневе, был осуществлен – замысел «Гавриилиады».

В те предпасхальные дни Инзов предложил Пушкину говеть вместе с ним, причащаться в кишиневской церкви Благовещения и вручил ему для чтения евангелие.

В страстную пятницу Инзова навестил ректор семинарии архимандрит Ириней Нестерович и, видимо, по его просьбе зашел к Пушкину. Он застал поэта как раз за чтением евангелия.

– Чем это вы занимаетесь? – спросил он.

Пушкин, судя по его ответу, читал именно эту евангельскую притчу о благовещении.

– Да вот читаю историю одной особы… – услыхал Ириней ответ Пушкина.

– Как вы смеете это говорить? Вы безбожник. Я на вас сейчас бумагу подам! – пригрозил архимандрит и гневно удалился.

Характер и содержание «Гавриилиады», резкое осмеяние основного догмата христианской церкви вынуждали Пушкина скрывать свое авторство этой поэмы. Это была политическая сатира, направленная одновременно против Александра I и его мистического окружения. Впоследствии, уже при Николае, она принесла поэту немало неприятностей.

Кощунственная по содержанию, «Гавриилиада» в 1861 году была опубликована Огаревым в Лондоне, а в России – лишь в 1908 году в капитальном собрании сочинений Пушкина под редакцией С. А. Венгерова.

Братья-разбойники

Жандармский полковник Бибиков доносил Бенкендорфу, что сочинения Пушкина разносят пламя восстания. А поэт в своей южной ссылке продолжал неудержимо разжигать это пламя. В голове его уже созревали «Братья-разбойники», пронизанные стремлением к свободе, жаждой вырваться из огромной тюрьмы, в которую самодержавие превратило Россию. «Покаместь у меня еще поэма готова или почти готова», – писал Пушкин Гнедичу и, намекая на испанскую революцию, закончил: «Прощайте, нюхайте гишпанского табаку и чихайте громче, еще громче».

Как-то проездом Пушкин остановился в Одессе. Повидался с друзьями, поужинал у Оттона и вернулся к себе… Была полночь. Зажег свечу, вышел на балкон. Море было спокойно.

Набежавшее облако скрыло луну, и на гребне блеснувшей волны померещились бежавшие из тюрьмы братья Засорины, скованные, боровшиеся с днепровскими волнами на пути к свободе.

Рука потянулась к перу:
Затихло все, теперь луна
Свой бледный свет на них наводит…

До нас дошли планы задуманной Пушкиным поэмы «Разбойники». Судя по одному из них, содержание ее подсказано было поэту картинами обнищания крестьянства на юге России.

В апреле 1822 года Пушкин закончил работу над поэмой, и Е. Н. Орлова сообщала своему брату А. Н. Раевскому, что «Пушкин послал брату Николаю отрывок поэмы, которую не думает ни печатать, ни кончать».

Пушкин в самом деле прекратил работу над задуманной

поэмой. В те дни закрыты были все масонские ложи в России, арестован был «первый декабрист» В. Ф. Раевский.

И Пушкин сжег свою незаконченную поэму. Уцелел лишь небольшой ее отрывок в 330 строк, с которым уже успели познакомиться друзья поэта. Пушкин, отправляя его 13 июня 1823 года А. А. Бестужеву, писал: «Разбойников» я сжег – и поделом. Один отрывок уцелел в руках Николая Раевского; если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог – не испугают нежных ушей читательниц «Полярной звезды», то напечатай его».

Лишь в 1825 году уцелевший отрывок «Братьев-разбойников» был напечатан в «Полярной звезде», а в 1827 году вышел отдельной книжкой…

Первые южные поэмы Пушкина, а затем «Бахчисарайский фонтан» и «Цыганы» пронизаны были теми же вольнолюбивыми настроениями, что и послелицейские стихотворения, за которые он был выслан из Петербурга. Это были все те же песни свободе…

Каменка[49]. О чем рассказал внук декабриста

Передо мною маленькая пожилая женщина в скромном черном платье. На груди небольшая старинная брошь. Голову ее украшают белые, как серебро, волосы.

От всего ее облика веет благородной простотой. Она вынимает из ридикюля пачку пожелтевших листов, исписанных крупным почерком, уже выцветшими чернилами.

Она волнуется. Чувствуется, что это история чьей-то давно ушедшей жизни. А может быть, и жизни целого поколения. И написана любимою рукою…

Она назвала имя: Переслени. Знакомое имя… В течение нескольких лет я работал, над книгой «Во глубине сибирских руд…» – о тернистом пути декабристов и их жен на каторге и в ссылке – и помню, что имя Переслени связано с именем одного из виднейших членов Южного тайного общества.

Давыдов… Отставной полковник Василий Львович Давыдов, сражавшийся под Кульмом и Лейпцигом, адъютант Багратиона, декабрист, отбывший тринадцать лет каторги и затем направленный на поселение в Красноярск. Он сводный брат блистательного героя 1812 года, Николая Николаевича Раевского, отца Марии Николаевны Волконской, в семье которых Пушкин провел «счастливейшие минуты жизни» во время своей незабываемой поездки по полуденному берегу Крыма.

А Давыдов – это Каменка, «столица» южных декабристов. Здесь с ноября 1820 года по март 1821 года жил Пушкин и однажды оказался среди съехавшихся в Каменке членов тайного общества. Когда зашла речь о том, что такое общество было бы полезно для России, Пушкин принял участие в беседе и «уверился, что такое общество существует или тут же получит свое начало, и он будет его членом».

Но друзья скрывали от Пушкина существование общества: они хотели на случай неудачи восстания спасти для России ее поэта. И Пушкин очень огорчился, когда после оживленной беседы декабрист И. Д. Якушкин расхохотался и сказал, что все это была только шутка. Раскрасневшись, Пушкин ответил со слезами на глазах: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка»…

В эту минуту он был точно прекрасен, вспоминал Якушкин.

Все это пронеслось в памяти, когда я услышал имя

Переслени… Предо мною была гостья из Каменки. На столе лежали пожелтевшие листы большого письма ее покойного мужа, Евгения Владимировича Переслени, внука декабриста В. Л. Давыдова.

Письмо, написанное тридцать лет назад, осталось неотправленным… Многое из того, о чем отец рассказывает в нем сыну, сегодня уже широко известно. Но письмо это – нить, ведущая нас в старую Каменку, в былую столицу южных декабристов. В нем много подробностей и штрихов, приближающих к нам эпоху декабристов, дающих возможность мысленно перенестись в то далекое прошлое, ощутить обстановку, быт и условия, в которых жили люди, поднявшие в 1825 году знамя восстания против царизма.

Каменка – обширное поместье Давыдовых, тянущееся вдоль берегов реки Тясмина. Местами высокие берега Тясмина переходят в скалистые утесы, и от них местечко получило свое название.

Владела Каменкой Екатерина Николаевна Самойлова. Ее именовали племянницей светлейшего князя Г. А. Потемкина, но шепотом передавали, что Потемкин был ее отцом, а матерью – императрица Екатерина Вторая.

Совсем молодой вышла Самойлова замуж за полковника Н. С. Раевского, рано овдовела и вышла вторично за Л. Д. Давыдова. Женщина с большим умом, характером и влиянием, она была необычайно богата. Передавали, что из заглавных букв названий принадлежавших ей имений можно было составить фразу: «Лев любит Екатерину», что должно было означать, что муж любит ее.

У нее было двое детей от первого брака и восемнадцать от второго. Ее сын, В. Л. Давыдов, женился на Александре Ивановне Потаповой. Когда мужа сослали на каторгу, у них было уже шестеро детей – три сына и три дочери. Устроив их, она сразу же, вслед за М. Н. Волконской, Е. И. Трубецкой и А. Г. Муравьевой, выехала к мужу, на каторгу, в Читинский острог.

Шли годы и десятилетия. Давыдов отбыл каторгу и переехал с семьей на поселение в Красноярск. Сюда к ним приехали в 1852 году из Каменки две старшие дочери, Екатерина и Елизавета, и здесь, в Красноярске, Екатерина вышла замуж за есаула Енисейского полка Владимира Михайловича Переслени.

У Екатерины Васильевны Переслени родился в 1860 году сын Евгений, внук декабриста Давыдова. Семья вернулась в Каменку. Здесь он провел свои детские и юношеские годы. Многое видел, много слышал из уст многочисленных потомков Раевских и Давыдовых… Обо всем этом Е. В. Переслени рассказывает в своем

письме к сыну, правнуку декабриста Давыдова.

Посетившая меня маленькая женщина в скромном черном платье – вдова скончавшегося в 1942 году внука декабриста Давыдова, Е. В. Переслени, Елизавета Николаевна Беляева…

Перенесемся мысленно в ту далекую эпоху, в годы, предшествовавшие восстанию 14 декабря.

В Каменку часто наезжают известные всей России люди из славной когорты победителей Наполеона в 1812 году. Здесь зреет южный заговор, в центре которого В. Д. Давыдов, если верить преданию, внук Екатерины Второй. Его сводный брат, генерал от кавалерии Н. Н. Раевский, не является членом тайного общества, но председательствует в Каменке на заседании будущих декабристов.

Каменка, подаренная ее владельцам царскими щедротами, становится центром большого заговора, замышляющего не дворцовый переворот, чтобы одного самодержца заменить другим, а намеренно свергнуть самое самодержавие и навсегда покончить с крепостничеством.

Среди всех этих замечательных людей эпохи юный, блистательный Пушкин, сосланный на юг России за свою «Вольность», за «Деревню», за то, что на портрете парижского ремесленника Лувеля, убившего герцога Беррийского, сделал надпись «Урок царям» и с этим портретом в руках демонстративно появился в партере Большого театра.

Со слов бабушки, Александры Ивановны Давыдовой, и многочисленных братьев и сестер матери Е. В. Переслени рассказывает в письме к сыну о жизни Каменки в начале двадцатых годов прошлого столетия.

Молодежь жила в то время во флигеле, на месте которого позже вырос большой сохранившийся до наших дней «временный» дом. Останавливаясь в большом доме, Пушкин не мог там работать – слишком шумным было юное окружение Екатерины Николаевны. Поэт предпочитал уединяться в окруженном небольшим садом «сереньком домике».

Посреди большой комнаты домика стоял бильярд, вдоль стен – шкафы с книгами. Здесь в беседах и политических спорах члены тайного общества часто засиживались до рассвета. Каменка была в то время одним из значительных центров умственной жизни на юге России. Здесь выковывалось мировоззрение будущих декабристов, приведшее к восстанию 14 декабря 1825 года.

Никто в сереньком домике не мешал Пушкину, а старый слуга охранял его покой. И никого не допускал к нему, чтобы не отрывать поэта от работы. Это был очень преданный Давыдовым типичный слуга той эпохи. Когда его посылали посмотреть, что

показывает термометр, а ртуть стояла на нуле, он возвращался и громогласно объявлял:

– Нема градуса…

Пушкин работал здесь и позже, он писал своему лицейскому товарищу и близкому другу А. А. Дельвигу:

«Что до меня, моя радость, скажу тебе, что кончил я новую поэму «Кавказский пленник», которую надеюсь скоро вам прислать. Ты ею не совсем будешь доволен и будешь прав; еще скажу тебе, что у меня в голове бродят еще поэмы – но что теперь ничего не пишу. Я переваривaю воспоминания и надеюсь набрать вскоре новые; чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости, как не воспоминаниями?»

«Под старость нашей молодости»… Пушкину шел тогда лишь двадцать второй год…

Поэму «Кавказский пленник» он посвятил гостившему вместе с ним в Каменке своему близкому другу Н. Н. Раевскому-сыну. В посвящении к поэме юный Пушкин ярко отразил свои тогдашние настроения:

Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем,
Я жертва клеветы и мстительных невежд;
Но, сердце укрепив свободой и терпеньем,
Я ждал беспечно лучших дней;
И счастие моих друзей
Мне было сладким утешеньем.

Новые поэмы, которые «в голове бродили еще», – это «Гаврилиада», «Братья-разбойники» и «Бахчисарайский фонтан», написанные вслед за «Кавказским пленником».

Пушкин зажился в Каменке… Друзья не хотели отпускать его и писали в Кишинев его начальнику, генералу Инзову, что поэт болен и не может выехать. Добрый и благожелательный Инзов – «Инзушка», как ласково называл его Пушкин, просил, «не позволить ему предпринять путь, доколе не получит укрепления в силах».

Три месяца после этого поэт еще «укреплялся в силах» и работал в сереньком домике, а Василий Львович каждый раз по уходе поэта запирал двери домика, чтобы никто из прислуги не тронул небрежно разбросанных поэтом листков с набросками и стихами…

Помимо серенького домика, с именем Пушкина связан и сохранившийся в Каменке искусственный грот. На фронтоне его надпись из Рылеева: «Нет примиренья между тираном и рабом».

Пушкин любил отдыхать в нем и любоваться открывавшейся

отсюда панорамой окрестностей Каменки. В гроте часто собирались для бесед члены тайного общества. Все стены его испещрены были надписями и стихотворениями Пушкина и декабристов. Их позже оштукатурили, и навсегда скрылись от нас эти одухотворенные отзвуки былой Каменки.

До наших дней сохранился в Каменке и другой памятник старины, связанный с пребыванием в нем декабристов и их предателя унтер-офицера И. В. Шервуда. Это старая водяная мельница на берегу Тясмина. Колес и других мельничных принадлежностей в ней нет. Она давно уже не действует. Построенная на каменном фундаменте из кирпича и оштукатуренная, она напоминает какую-то башню, выделяясь своей необычной для наших дней архитектурой и угрюмым молчанием, среди шума и движения протекающей здесь новой жизни. Незадолго до восстания мельница эта остановилась и потребовала ремонта. Знакомый командир полка предложил А. Л. Давыдову, брату декабриста, взять у него на время унтер-офицера Шервуда, хорошо сведущего в мельничном деле. Давыдов поблагодарил, забрал с собою Шервуда и привез в Каменку.

Шервуду это пришлось как нельзя более кстати. Родом англичанин, сын механика, выписанного в Россию Павлом I для службы в Александровской мануфактуре, он получил хорошее домашнее образование.

Поступив на службу, Шервуд сумел войти в круг офицеров и, вращаясь в их среде, осведомился о существовании тайного общества. Он решил сделать на этом карьеру и через одного своего знакомого донес об этом Аракчееву.

Специально присланный за ним фельдъегерь доставил его 12 июля 1825 года в Грузино, резиденцию временщика, и через несколько дней Шервуд был принят в Каменноостровском дворце императором Александром I.

После доноса Шервуд снова оказался в Каменке, сумел втереться в доверие к Давыдовым и посещавшим Каменку декабристам. Постоянно заглядывая в большой дом, он все выслеживал и подслушивал.

Особенно сблизился Шервуд с декабристом Ф. Ф. Вадковским. Тот настолько доверял ему, что поручил однажды отвезти в Васильков письмо к С. И. Муравьеву-Апостолу… Это переданное Вадковским Шервуду конспиративное письмо оказалось в руках императора Александра I.

Был еще такой случай. Около мельницы как-то купались В. Давыдов, Пестель, Бестужев-Рюмин и Поджио. Все они были членами тайного общества. Шервуд возился в это время на

мельнице, но они не видели его, думали, что они одни, и вели свободный разговор. Зашла речь о предстоящем перевороте, и Пестель заметил, что если убить Александра I, то останется наследник и вся царская фамилия и стоящая перед членами тайного общества цель не будет достигнута.

Юный, горячий Бестужев-Рюмин отозвался на это:

– Ну, так что же, тогда надо убить всю царскую фамилию!..

Шервуд все это слышал и сообщил в Петербург.

Покинув Каменку, Шервуд заехал по пути в Ахтырку, к Вадковскому. Полностью доверяя предателю, Вадковский принес свою скрипку и на глазах Шервуда извлек из футляра полный список членов Северного и Южною тайных обществ.

Шервуд решил выкрасть список. Ночью, когда Вадковский уснул, он оделся, вынул из футляра список, тихонько вышел из комнаты, распорядился запрячь лошадей и поскакал к Аракчееву в Грузино, и оттуда к Александру I, который в это время выехал на юг и, заболев в пути, остановился в Таганроге.

Здесь император получил новый донос от капитана Вятского полка А. И. Майбороды, дал приказ арестовать членов тайного общества и неожиданно скончался. Вступивший на престол его брат, Николай I, щедро вознаградил предателей и позже продолжал осыпать их своими милостями.

Об обстоятельствах, предшествовавших аресту декабриста В. Л. Давыдова, его внук так рассказывает со слов бабушки Александры Ивановны.

В 1825 году стояла чудная осень. Такого дивного бабьего лета никто не помнил. Бабушка часто направлялась с детьми на прогулку в ближайший лес, так называемый «тростьянский яр». Это было любимое место для детских прогулок того времени и позднейших поколений. Расположились на лужайке около лесной сторожки.

Детские игры были в полном разгаре, когда из Василькова, где стояли части второй Южной армии, прискакал верховой с письмом от В. Л. Давыдова, который сообщил Александре Ивановне о возможном его аресте и просил срочно уничтожить всю его переписку и другие документы.

Никому не показав вида о случившемся и оставив всех на лужайке, бабушка поехала одна в усадьбу. Она прошла прямо в кабинет мужа, заперла двери, затопила камин и, не разбирая, сожгла все находившиеся в кабинете бумаги. Погибла вся переписка В. Л. Давыдова с членами тайного общества и вместе с ней – наброски стихотворений и записи Пушкина, которые поэт разбрасывал в бильярдной, а Давыдов тщательно собирал и хранил…

Дочь Давыдовых, Екатерина Васильевна, родившаяся в Каменке и вышедшая в Красноярске замуж за В. М. Переслени, рассказывала, что после осуждения отца и отъезда к нему матери, ее взяла на воспитание, вместе с сестрой, Елизаветой, их родственница, графиня Чернышева-Кругликова.

В тридцатых годах прошлого столетия, когда отец и мать были на каторге, девятилетняя Екатерина встречалась в Яропольце с Пушкиным, но воспоминания об этих встречах смутно запечатлелись в ее памяти. Помнила только, как все любили и радостно встречали приезжавшего Пушкина.

Гораздо ярче в ее памяти сохранились более поздние воспоминания о встречах с Гоголем. Когда Чернышевы жили в сороковых годах в Риме, Гоголь часто приходил к ним. Она помнила его слабым, болезненным, вечно зябнущим.

Когда Гоголь приходил, он просил Екатерину Васильевну спеть ему какую-нибудь украинскую песню. Она садилась за фортепьяно и, сама себе аккомпанируя, пела украинские песни и особенно часто любимую Гоголем – «У сосида хата била…»

Вспоминая это, Екатерина Васильевна уже старушкой садилась за фортепьяно и своим старческим голосом напевала эту песню. Любила она вспоминать и о том, как Гоголь не раз признавался ей: если бы он вздумал когда-нибудь жениться, то женился бы только на ней…

Большой след оставил в жизни Каменки во второй половине прошлого столетия Петр Ильич Чайковский, сестра которого, Александра Ильинична, была замужем за сыном декабриста, Львом Васильевичем Давыдовым.

Композитор часто приезжал в Каменку и подолгу гостил у сестры. Он ежедневно совершал большие прогулки и вечером, перед закатом солнца, любил отдыхать на отвесных береговых скалах реки Тясмина, вслушиваясь в тихий рокот и всплески речных приливов и доносившееся сюда пение возвращавшихся с полевых работ крестьян.

Иногда Чайковский изменял своим любимым скалам и заканчивал прогулки на мосту через Тясмин. Здесь он тоже подолгу стоял, вслушиваясь в пение возвращавшихся с работ крестьян. Эти народные мотивы нашли отражение в знаменитой Второй симфонии Чайковского, написанной в Каменке.

Как и Пушкина, Чайковского все любили в Каменке. Он неоднократно приезжал к сестре погостить, и позднейшее поколение Давыдовых сохранило в своей памяти много эпизодов и штрихов из жизни композитора в Каменке.

Работая над «Евгением Онегиным», Чайковский как-то напевал вполголоса, повторяя вслух:

– Слыхали ль вы, слыхали ль вы?..

– Слыхали, слыхали! – шутя, ответила на это тетушка Елизавета.

– Ну, что ж, если слыхали, я уберу одно из них… – ответил композитор.

Когда «Лебединое озеро» вышло из печати, Чайковский подарил экземпляр его своей племяннице, сестре Е. В. Переслени, Александре Переслени, с надписью:

От Москвы и до Тюмени
Нет краше Саши Переслени…

В том самом гроте, в котором Пушкин когда-то работал над своими произведениями, Чайковский создал Вторую симфонию и писал «Мазепу»…

Чайковского всегда восхищало общение с природой. Гуляя и слушая доносившееся с полей пение, он часто останавливался и делал в своей записной книжке нотные записи.

Живя в Каменке, Чайковский работал обычно не менее пяти часов в день, и это было для него неписанным законом: он полагал, что, когда приходит вдохновение, композитор должен быть готов настойчиво и продолжительное время работать.

«Без работы жизнь не имеет для меня смысла», – говорил композитор.

На прогулках он бывал всегда душою общества, был весел, много шутил, всех развлекал. Особенно любил он ходить в лес по грибы и очень радовался, когда ему удавалось собрать больше всех.

С большой любовью и исключительным уважением относился Петр Ильич к вдове декабриста Давыдова, Александре Ивановне. Об этой умной, скромной и поразительной душевной красоты женщине он писал Н.Ф. фон Мекк из Каменки 21 апреля 1879 года:

«Я имею здесь на глазах одну из самых светлых личностей, встреченных мною в жизни, – мать моего зятя, и мне хорошо известно, чего натерпелась эта старушка…»

Прошло еще пять лет, и Чайковский писал 16 июля 1884 года из Каменки:

«Не нарадуешься, когда смотришь на эту восьмидесятилетнюю старушку, бодрую, живую, полную сил. Память ее необыкновенно свежа, и рассказы о старине так и льются, а в молодости своей она здесь видела много интересных исторических людей. Не далее, как сегодня, она мне подробно рассказывала про жизнь Пушкина в Каменке.

Судя по ее рассказам, Каменка в то время была большим, великолепным барским имением, с усадьбой на большую ногу: жили

широко, по тогдашнему обычаю, с оркестром, певчими и т. д. Никаких следов всего этого не осталось. Тем не менее, если что скрашивает безотрадную, скучную, лишенную всяких прелестей Каменку, так это именно исторический интерес ее прошлого».

Наконец, 5 ноября 1885 года Петр Ильич снова писал:

«Чрезвычайно приятно было увидеть вполне почти оправившуюся от болезни старушку Александру Ивановну Давыдову, еще недавно внушавшую опасения за себя. Бог знает, придется ли еще раз увидеть эту превосходнейшую и глубоко уважаемую мною женщину; ей уже идет восемьдесят пятый год, и хотя, как я сказал выше, она оправилась, но все-таки силы ее с каждым годом слабеют и едва ли она уже долго проживет».

Петр Ильич ошибся. Несмотря на выпавшие на ее долю годы больших страданий и тридцатилетнюю почти жизнь с мужем на каторге и в ссылке, Александра Ивановна скончалась лишь через восемь лет, в 1893 году, в один год с Петром Ильичом Чайковским.

Ей было уже девяносто три года. Она скончалась тихо, без страданий. Был обеденный час. В последнее время она обедала у себя в комнате. Перед обедом прилегла на кушетке и уснула. Уснула вечным сном…

Старая Каменка умерла. Но память о ней живет, и наше поколение бережно охраняет все связанное с ее былым историческим прошлым. Сохранились «Пушкинский грот» и «Мельничка декабристов».

Второй жизнью живет, бывший «серенький», ныне «зеленый домик», окруженный большим парком, носящим имя декабристов.

Шумят вековые, деревья, их современники, и в «зеленом домике» сегодня – музей имени А. С. Пушкина и П. И. Чайковского. Они живут здесь рядом, как рядом живут их творения – гениальные произведения поэта, положенные на музыку гениальным композитором.

В 1937 году, в столетнюю годовщину со дня смерти Пушкина, здесь открыт был памятник с надписью: «В Каменке, находясь в ссылке, пребывал в 1820, 1821, 1822 гг. великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин».

В Каменке, которая теперь стала целым городом в Черкасской области, течет сегодня новая жизнь. Люди нашего поколения творят здесь новую историю нашей эпохи…

Этот рассказ о далеком прошлом старой Каменки хочется закончить «Воспоминанием» учителя Пушкина, поэта Жуковского:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим присутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,

Но с благодарностию: были.

Во глубине сибирских руд… [50]

Известно мне: доступен гений
Для гласа искренних сердец.
К тебе, возвышенный певец,
Взываю с жаром песнопений.

Д. В. Веневитинов. «К Пушкину»

В минуты отъезда из Москвы в Михайловское в начале ноября 1826 года Пушкин получил письмо на французском языке:

«Возвращайтесь к нам. Московский воздух легче. Великий поэт России должен творить в ее степных просторах либо под сенью кремлевских стен. Автору «Бориса Годунова» приличествует обитать в царских покоях. Человек, гений которого весь – сила, весь – изящество, весь – непринужденность, то дикарь, то европеец, то Шекспир и Байрон, то Ариосто, то Анакреон, но всегда Русский… До скорого свидания, надеюсь.

Княгиня Зинаида Волконская».

И Вяземский писал Пушкину в Михайловское:

«Как доехал? Что няня? Что любовь? Когда возвратишься? Пишешь ли? Вдался ли в запой стихов, или не можешь еще справиться с московского похмелья?.. Не заживайся, а приезжай, или в Питер, или в Белокаменную».

И вот через месяц с небольшим, 19 декабря 1826 года, Пушкин снова в Москве. И снова окунулся в «московское похмелье».

В этот день Погодин записал в дневнике: «Засыпаю… Вдруг шум и стук. Приезжают Шевырев, Оболенский, Соболевский, которые восклицают, что приехал Пушкин. Я не верю и бьюсь об заклад…»

На этот раз Пушкин возвращается в Москву уже не в сопровождении фельдъегеря и не по вызову царя, а по своей доброй воле, на зов друзей.

Стояла зима. Яркая луна освещала заснеженную дорогу. Дальняя, многодневная поездка в кибитке, с ямщиком на облучке, располагала к размышлениям. Грустные мысли теснились в голове: «скучен» был прожитый путь поэта. И эти настроения глубокого

раздумья и затаенной тоски вылились в стихотворении «Зимняя дорога»:

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое.
То сердечная тоска…

Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег… Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне…

И в написанном вскоре после этого стихотворении «Соловей и роза» отразились те же настроения неудовлетворенности, щемящей душу грусти:

В безмолвии садов, весной, во мгле ночей,
Поет над розою восточный соловей.
Но роза милая не чувствует, не внемлет,
И под влюбленный гимн колеблется и дремлет.
Не так ли ты поешь для хладной красоты?
Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты?
Она не слушает, не чувствует поэта;
Глядишь – она цветет; взываешь – нет ответа.

* * *

Часто бывал Пушкин у В. П. Зубкова, жившего на Малой Никитской, 12, в старинном, классической постройки доме с открытым парадным двором и боковыми флигелями.

Привлеченный по делу декабристов, Зубков был заключен в

Петропавловскую крепость, но каторги избежал и уцелел. Он был очень близок с И. И. Пущиным и мог много рассказать поэту о его близком друге Пущине и вообще о декабристах.

Зубков женат был на дальней родственнице Пушкина. У него поэт познакомился с его свояченицей, считавшейся одной из первых красавиц Москвы. Он увидел ее впервые в театральной ложе, затем на балу. Высокая и стройная, с чистым греческим профилем и черными как смоль локонами, Софья Федоровна Пушкина очаровала поэта. Красоту ее поэт воспел в стихах:

Нет, не черкешенка она, —
Но в долы Грузии от века
Такая дева не сошла
С высот угрюмого Казбека.
Нет, не агат в глазах у ней, —
Но все сокровища Востока
Не стоят сладостных лучей
Ее полуденного ока.

С. Ф. Пушкиной между тем увлекся скромный молодой человек – В. А. Панин, смотритель московского Вдовьего дома. Пушкин знал это и держал себя с нею застенчиво и неловко.

Она была очень любезна и внимательна, но никаких надежд поэту не подавала.

Накануне отъезда из Москвы, 1 ноября, Пушкин, не застав Зубкова дома, оставил записку: «Я надеялся увидеть тебя и еще поговорить с тобою до моего отъезда; но злой рок мой преследует меня во всем том, чего мне хочется. Прощай же, дорогой друг, – еду похоронить себя в деревне до первого января, – уезжаю со смертью в сердце».

Вместе с запиской он оставил Зубкову для С. Ф. Пушкиной стихи, помеченные 1 ноября:

Зачем безвременную скуку
Зловещей думою питать
И неизбежную разлуку
В унынье робком ожидать?
И так уж близок день страданья!
Один, в тиши пустых полей,
Ты будешь звать воспоминанья
Потерянных тобою дней!
Тогда изгнаньем и могилой,
Несчастный! будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой,

Хоть легкий шум ее шагов.

Пушкин зашел проститься с Софьей Федоровной. Она ласково сказала ему:

– Возвращайтесь к первому декабря…

Поэт стремился непременно попасть в Москву к этому дню и даже сообщал из Михайловского Вяземскому: «Буду у вас к 1-му… она велела!..»

Он и выехал в конце ноября из Михайловского в Москву, на перекладных, но из-за плохой дороги бричка перевернулась, поэт ушибся и застрял в псковской гостинице.

Из Пскова Пушкин написал Зубкову большое, очень взволнованное письмо: «…я хотел сам явиться к вам, как бомба, 1 декабря, то есть сегодня… Но раз уж я застрял в псковском трактире вместо того, чтобы быть у ног Софьи, – поболтаем, то есть поразмыслим.

Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить, то есть познать счастье. Ты говоришь мне, что оно не может быть вечным: хороша новость! Не личное мое счастье заботит меня, могу ли я возле нее не быть счастливейшим из людей, – но я содрогаюсь при мысли о судьбе, которая, быть может, ее ожидает – содрогаюсь при мысли, что не смогу сделать ее столь счастливой, как мне хотелось бы. Жизнь моя, доселе такая кочующая, такая бурная, характер мой – неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно – вот что иногда наводит на меня тягостные раздумья. – Следует ли мне связать с судьбой столь печальной, с таким несчастным характером – судьбу существа, такого нежного, такого прекрасного?.. Бог мой, как она хороша! и как смешно было мое поведение с ней! Дорогой друг, постарайся изгладить дурное впечатление, которое оно могло на нее произвести, – скажи ей, что я благоразумнее, чем выгляжу, а доказательство тому – что тебе в голову придет. Мерзкий этот Панин, два года влюблен, а свататься собирается на Фоминой неделе – а я вижу раз ее в ложе, в другой на бале, а в третий сватаюсь!.. объясни же ей, что прав я, что, увидав ее хоть раз, уже нельзя колебаться, что у меня не может быть притязаний увлечь ее, что я, следовательно, прекрасно сделал, пойдя прямо к развязке, что, раз полюбив ее, невозможно любить ее еще больше, как невозможно с течением времени найти ее еще более прекрасной, потому что прекраснее быть невозможно. – Ангел мой, уговори ее, упроси ее, настращай ее Паниным скверным и жени меня»…

Пушкин, однако, опоздал: когда он вернулся 19 декабря в Москву, Софья Федоровна была уже помолвлена и через месяц

вышла замуж за Панина.

* * *

Несмотря на отказ С. Ф. Пушкиной, поэт продолжал бывать у Зубкова. Он снова и снова расспрашивал его о декабристах и накануне первой годовщины восстания написал в его доме «Стансы»:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукий.

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

Сравнивая «начало славных дней Петра» с мрачным началом царствования Николая I, Пушкин смело выступал защитником декабристов.

Зубков, видимо, рассказал Пушкину о необычайно смелом и благородном поступке видного государственного деятеля Н. С. Мордвинова, пользовавшегося среди декабристов большим авторитетом и намечавшегося ими в члены будущего временного правительства. Через несколько дней после ареста декабристов Мордвинов подал Николаю I свое «Мнение об указе 1754 года», в котором доказывал бессмысленную жестокость смертной казни.

На Пушкина это произвело сильное впечатление, и он написал стихотворение, выражавшее его уважение Мордвинову:

Под хладом старости угрюмо угасал
Единый из седых орлов Екатерины.
В крылах отяжелев, он небо забывал
И Пинда острые вершины…

Реформатор отечественной финансовой системы, назначенный членом уголовного суда над декабристами, Мордвинов один высказался против применения к ним смертной казни и подал при вынесении приговора мотивированное особое мнение. Это был второй исключительный в те дни по смелости поступок Мордвинова. И Пушкин закончил стихотворение строфой:

Один, на рамена поднявши мощный труд,
Ты зорко бодрствуешь над царскою казною,
Вдовицы бедной лепт и дань сибирских руд
Равно священны пред тобою.

* * *

26 декабря Зинаида Волконская устроила в своем салоне прощальный вечер в честь уезжавшей к мужу-декабристу, в Сибирь, Марии Николаевны Волконской. Это был значительный по тому времени общественный акт: передовая московская интеллигенция тем самым выражала свои симпатии и уважение декабристам.

На вечер Зинаида Волконская пригласила и Пушкина. Увидев строгую и серьезную Марию Николаевну, поэт не мог не вспомнить ее, юную пятнадцатилетнюю Марию Раевскую, с семьей которой совершил в 1820 году незабываемое путешествие по Кавказу и Крыму. Мария Николаевна писала в своих позднейших записках, что это ей посвятил Пушкин в «Евгении Онегине» строки:

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам.
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

М. Н. Волконскую провожали тепло и сердечно. «Что за трогательное и возвышенное отречение! – писал в те дни Вяземский А. Тургеневу. – Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей истории. В них видна была не экзальтация фанатизма, а какая-то чистая, безмятежная покорность мученичества, которая не думает о славе, а поглощается одним чувством тихим, но всеодолевающим».

Декабристы еще томились в те дни в одиночных камерах Петропавловской крепости, их только начали отправлять на каторгу. Е. И. Трубецкая уже выехала в Сибирь разделить участь мужа, и вслед за нею отправлялась М. Н. Волконская.

Николай I зорко следил из своего дворца за каждым шагом осужденных декабристов и их жен. Но Пушкин смело явился на этот вечер с только что написанным посланием декабристам.

Набрасывая черновик послания, поэт мысленно переносился в «каторжные норы» декабристов и среди всех этих очень близких ему друзей на первом плане увидел милых его сердцу лицейских товарищей, Пущина и Кюхельбекера.

Как бы желая доказать друзьям, что расставание, время и горе не поколебали их внутренних связей и родства, поэт начинает свое послание декабристам дельвиговским призывом:

Храните, о друзья, храните…
В несчастье – гордое терпенье…

Этим призывом, покидая в 1817 году лицей, Дельвиг напутствовал товарищей в «Прощальной песне воспитанников Царскосельского лицея», и им начал в 1826 году свое послание декабристам Пушкин:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,

Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа.
И братья меч вам отдадут.

В своих «Записках» М. Н. Волконская вспоминала, как трогательно провожали ее в Сибирь:

«В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской, моей невестки, которая приняла меня с такой нежностью и добротой, которых я никогда не забуду: она окружила меня заботами, вниманием, любовью и состраданием. Зная мою страсть к музыке, она пригласила всех итальянских певцов, которые были тогда в Москве, и несколько талантливых певиц… Я говорила им: «Еще, еще! Подумайте только, ведь я никогда больше не услышу музыки!» Пушкин, наш великий поэт, тоже был здесь… Во время добровольного изгнания нас, жен сосланных в Сибирь, он был полон самого искреннего восхищения; он хотел передать мне свое «Послание к узникам» («Во глубине сибирских руд») для вручения им, но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александрине Муравьевой. Пушкин говорил мне: «Я хочу написать сочинение о Пугачеве. Я отправлюсь на места, перееду через Урал, проеду дальше и приду просить у вас убежища в Нерчинских рудниках».

А. В. Веневитинов, брат поэта, передавал такие подробности этого вечера, на котором З. Волконская пела отрывок из «Агнессы» Паэра:

«Третьего дня ей минуло двадцать лет. Это интересная и вместе могучая женщина – больше своего несчастья. Она его преодолела, выплакала; источник слез уже иссох в ней… Отрывок из «Агнессы» Паэра был пресечен в самом том месте, где несчастная дочь умоляет еще несчастнейшего родителя о прощении своем. Невольное сближение злосчастья Агнессы или отца ее с настоящим положением… отняло голос и силу у кн. Зинаиды, а бедная сестра ее по сердцу принуждена была выйти, ибо залилась слезами и не хотела, чтобы это приметили…

Остаток вечера был печален. Когда все разъехались и осталось только очень мало самых близких и вхожих к кн. Зинаиде, она вошла сперва в гостиную, села в угол, все слушала музыку, которая для нее не переставала, потом приблизилась к клавикордам, села на диван, говорила тихим голосом очень мало, изредка улыбалась…»

В «Русских женщинах» Н. А. Некрасов вложил в уста М. Н. Волконской такие слова о Пушкине на этом вечере:

Со мной он по комнате долго ходил,
Судьбой озабочен моею,
Я помню, родные, что он говорил,
Да так передать не сумею:
«Идите, идите! Вы сильны душой,
Вы смелым терпеньем богаты,
Пусть мирно свершится ваш путь роковой,
Пусть вас не смущают утраты!
Поверьте, душевной такой чистоты
Не стоит сей свет ненавистный!
Блажен, кто меняет его суеты
На подвиг любви бескорыстной!..»

Ранним утром родные, близкие, друзья и знакомые проводили Марию Николаевну по беломраморным ступеням парадной лестницы салона до зимнего возка.

Спустя несколько дней уезжала в Сибирь к мужу-декабристу А. Г. Муравьева. Поэт передал ей свое обращенное к декабристам послание. Он был очень взволнован и, прощаясь, крепко сжал руку Муравьевой. Вместе с этим посланием Пушкин передал ей и другое, написанное 13 декабря 1826 года, накануне первой годовщины восстания декабристов. Вспоминая, как Пущин посетил его в дни Михайловского заточения, поэт писал:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Сегодня этот текст пушкинского послания Пущину широко известен. Но интересно познакомиться с другими, первоначально вылившимися из-под пера поэта и впоследствии отброшенными им строфами – они глубоко волнуют своими элегическими

настроениями и воспоминаниями:

Забытый кров, шалаш опальный
Ты вдруг отрадой оживил,
На стороне глухой и дальной
Ты день изгнанья, день печальный
С печальным другом разделил.

Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы,
Скажи, что наши? что друзья?
Где ж эти липовые своды?
Где ж молодость? Где ты? Где я?

Судьба, судьба рукой железной
Разбила мирный наш лицей,
Но ты счастлив, о брат любезный,
Счастлив ты, гражданин полезный,
На избранной чреде своей.

Ты победил предрассужденья
И от признательных граждан
Умел истребовать почтенья,
В глазах общественного мненья
Ты возвеличил темный сан.

В его смиренном основанье
Ты правосудие блюдешь
И честь…

В последних неоконченных строфах Пушкин имел в виду «темный сан», должность народного судьи, на который Пущин променял, по идейным соображениям, службу в блестящем гвардейском полку.

В своих позднейших записках о Пушкине И. И. Пущин отмечал: «Пушкин первый встретил меня в Сибири задушевным словом. В самый день моего приезда в Читу призывает меня к частоколу А. Г. Муравьева и отдает листок бумаги, на котором неизвестною рукою написано было: «Мой первый друг, мой друг бесценный!..» Отрадно отозвался во мне голос Пушкина!»…

Вскоре пришел и ответ декабристов, написанный А. И. Одоевским:

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
И – лишь оковы обрели.

Но будь покоен, бард; цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.

Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя, —
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.

Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы:
Она нагрянет на царей,
И радостно вздохнут народы.

Послание Пушкина декабристам и ответ Одоевского быстро распространились по России. Строка из ответа Одоевского – «Из искры возгорится пламя» – стала эпиграфом на ленинской газете «Искра».

Судьба декабристов продолжала волновать Пушкина. В июле 1827 года, когда исполнилась первая годовщина казни декабристов, Пушкин находился в Москве и написал стихотворение «Арион», в котором говорил о своей верности делу декабристов:

Нас было много на челне;
Иные парус напрягали.
Другие дружно упирали
Вглубь мощны веслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн;
А я – беспечной веры полн, —
Пловцам я пел… Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный…
Погиб и кормщик, и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Пушкин вспоминает декабристов и в стихотворении, посвященном лицейской годовщине 1827 года:

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!

И в восьмой главе «Евгения Онегина», когда говорит о круге вольнолюбивых друзей, среди которых поэт провел годы лицейской жизни до изгнания:

Я музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров;
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И как вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась,
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.

«Молодежь минувших дней» – среди них были, надо полагать, и декабристы с их буйными спорами, кому Пушкин читал вольнолюбивые стихи своей «музы резвой». О декабристах поэт говорит и в заключительной строфе «Евгения Онегина»:

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал…
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал…

Жены декабристов [51]

Когда я припоминаю прошлое, мне кажется, что до Благодатского я вовсе не жила, потому что только здесь я научилась понимать всю ценность жизни.

М. Н. Волконская

Жены декабристов… Их было одиннадцать, этих героических жен.

Вместе с мужьями они прошли тяжкий путь каторги и ссылки – десятилетия борьбы и страданий, от Нерчинских рудников до могилы.

В ожидании суда декабристы провели в Петропавловской крепости семь долгих месяцев. Николай I сам был тюремщиком, следователем и судьею декабристов. Он продиктовал приговор, по которому 13 июля 1826 года повешены были пять декабристов, а остальные 120 отправлены на каторгу и в ссылку.

23 июля 1826 года выехали из Петропавловской крепости в Сибирь первые восемь декабристов. Их направили в Нерчинские рудники – самое страшное место царской каторги.

И уже на другой день, 24 июля, одна за другой начали выезжать в Сибирь, вслед за мужьями, жены декабристов.

Кто же были они, эти одиннадцать женщин, столь разные по складу своих характеров, сумевшие в новых и чуждых им условиях удивительно дополнить друг друга? «Во глубине сибирских руд», в Читинском остроге, в тюремных казематах Петровского завода и в ссылке вселявшие надежду, будившие в декабристах «бодрость и веселье»?

Первой выехала в Сибирь из великолепного особняка на Английской набережной в Петербурге двадцатишестилетняя дочь графа Лаваля, княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая. Эта выросшая в богатстве и роскоши аристократка даже отдаленно не представляла себе, что ждет ее в этом крае отверженных.

В далекий сибирский путь ее со слезами на глазах провожал отец, граф Лаваль.

– Увидимся ли вновь? – спросил он.

Дочь не плакала. И отца убеждала не плакать. Она говорила, что детей у нее нет и ее долг – быть с мужем в тяжелые для него дни. Она просила отца простить ее…

Карета тронулась по набережной Невы. Быстро промелькнула

Сенатская площадь, памятник Петру I, Зимний дворец, где Трубецкая не раз танцевала на придворных балах. На другом берегу – силуэт Петропавловской крепости, откуда только что увезли на каторгу ее мужа…

Начался долгий и томительный путь. По этому бескрайнему тракту длинной цепью, звеня кандалами, холодные и голодные, шли в Сибирь партии арестантов и каторжников. Чтобы скрасить свою горькую долю и облегчить тяжесть пути, они пели песни. Это были печальные, трогательные, надрывные песни, которые русский народ сложил про «Владимирку», про Сибирь, про каторгу…

В Иркутске Трубецкая задержалась. Выполняя приказ царя поставить жен декабристов в Сибири вне общего положения о ссыльно-каторжных, вообще вне закона, иркутский губернатор И. Б. Цейдлер делал все возможное и невозможное; чтобы отрезать им пути для дальнейшего следования к мужьям и заставить вернуться в Россию.

Полгода длилась борьба между Цейдлером и Трубецкой. Губернатор пугал Трубецкую тем, что начальство не в состоянии будет защитить ее от оскорблений со стороны каторжников, «людей самого развратного, презрительного класса». Он заставил ее подписать ряд обязательств, лишавших ее элементарных человеческих прав.

Трубецкая настаивала, требовала… Цейдлер угрожал, он объявил ей, что может отправить ее к мужу лишь по этапу, плечом к плечу с каторжниками.

Трубецкую это не испугало. Видя непреклонную решимость Трубецкой, Цейдлер разрешил ей отправиться к мужу в собственном экипаже, и 19 января 1827 года она выехала к нему в Благодатский рудник, где в двадцати верстах от Большого Нерчинского завода работал ее муж. Впервые она увидела его сквозь окружавший тюрьму тын, в кандалах, в грязном, подпоясанном веревкой тулупчике, обросшего бородою.

Вид его потряс молодую женщину.

Она пошла искать себе жилище и поселилась в маленьком домике, который сняла за 3 рубля 50 копеек в месяц с дровами и водой. Ей, выросшей в роскоши, трудно было даже представить себе, что люди могут вообще жить в таких жалких жилищах.

Одержав победу в борьбе с иркутским губернатором, Трубецкая тем самым открыла путь в Сибирь и женам других декабристов.

В конце декабря 1826 года из дома Волконских в Петербурге, на набережной Мойки, 12, из той самой квартиры, где впоследствии прожил свои последние месяцы и скончался А. С. Пушкин, выехала к мужу С. Г. Волконскому в Благодатский рудник двадцатилетняя княгиня Мария Николаевна Волконская, дочь известного героя 1812

года генерала Н. Н. Раевского.

Ее решение отправиться к мужу на каторгу вызвало в семье бурю. Против него восстали отец, мать, братья. Но решение Марии Николаевны было, твердо, и отец вынужден был примириться с этим. Он благословил ее в далекий путь и напутствовал: «Снег идет… Путь тебе добрый, благополучный – молю бога за тебя, жертву невинную, да утешит твою душу, да укрепит твое сердце».

Оставив на попечении свекрови и сестер недавно родившегося сына Николеньку, которого царь не разрешил взять с собой, Волконская выехала. В Москве остановилась у своей невестки, княгини Зинаиды Николаевны Волконской, которая устроила в ее честь прощальный вечер с участием известных певцов и артистов. На этом вечере присутствовал Пушкин. Он читал Волконской свое послание декабристам «Во глубине сибирских руд…».

– Вы, пожалуй, не поверите мне, – говорил он, – если скажу, что завидую вам, княгиня. Впереди вас ждет жизнь, полная лишений, но и полная самопожертвования, подвига. Вы будете жить среди лучших людей нашего времени, тогда как мы…

В Благодатском руднике Волконская поселилась в одном доме с Трубецкой и на другое утро отправилась отыскивать мужа. Спустилась в рудник, но там мужа не нашла. Встретилась с ним в тюрьме. Она не знала, что он был закован в кандалы, и когда увидела его, была так потрясена, что бросилась перед ним на колени и сначала поцеловала кандалы, а потом его самого.

В тяжких и суровых условиях каторги две молодые женщины начали налаживать свою новую жизнь.

Трубецкая привезла с собой поваренную книгу. Обе женщины первый раз в жизни готовили и отправляли в тюрьму супы и кашу.

С их приездом наладилась и постоянная связь декабристов с родными. Сами они не имели права писать писем, и это делали за них женщины.

Дважды в неделю, в присутствии охраны, Трубецкая и Волконская имели право посещать в тюрьме своих мужей. Эти дни были для декабристов праздниками.

Дальнейшая отправка декабристов в Нерчинские рудники была приостановлена. Николай I считал опасным расселять декабристов по всей необъятной Сибири и решил всех их сосредоточить в каком-нибудь одном надежном месте. Начали отправлять декабристов в Читинский острог.

Уже не в Нерчинские рудники, а в Читу выехала после Волконской Александра Григорьевна Муравьева, дочь виднейшего царского сановника графа Г. И. Чернышева, жена декабриста Н. М. Муравьева.

Это была обаятельная женщина, романтически настроенная, хрупкая, нежная, идеальный образец жены и подруги революционера-изгнанника. Декабристы называли ее «незабвенной спутницей нашего изгнания» и в своих записках и письмах всегда тепло и задушевно вспоминали ее.

Дома, у бабушки, Екатерины Федоровны Муравьевой, она оставила троих детей – Николай I не разрешил взять их с собой.

Муравьева поселилась в небольшом домике против острога, откуда могла наблюдать тюремную жизнь мужа и декабристов, среди которых находился и ее брат, граф З. Г. Чернышев.

Она привезла с собой переданное ей Пушкиным послание декабристам «Во глубине, сибирских руд…». В многочисленных списках оно быстро распространилось среди них.

Вслед за Муравьевой в Читу прибыли из Нерчинских рудников Трубецкая и Волконская вместе с находившимися там восемью декабристами, и сюда же, одна за другой, приехали жены декабристов Наталья Дмитриевна Фонвизина и Александра Ивановна Давыдова.

Фонвизина была дочерью костромского помещика Д. А. Апухтина. В их доме часто бывал ее двоюродный дядя, генерал-майор М. А. Фонвизин, племянник знаменитого автора «Недоросля». Он увлеченно рассказывал о героических походах русской армии в борьбе с Наполеоном, о битве под Аустерлицем, о своей встрече с Александром I и французским королем Людовиком.

Девушка вышла за него замуж. Они поселились в подмосковной усадьбе. Однажды вьюжным декабрьским вечером к их дому подъехала тройка и мужа увезли.

Больших хлопот стоило Фонвизиной получить разрешение последовать за мужем. У них уже было двое детей, но царь не разрешил их взять с собой.

Фонвизиной пришлось оставить детей на попечении бабушки и брата мужа.

– Как птица, вырвавшаяся из клетки, – говорила она, – полечу я к моему возлюбленному делить с ним бедствия и всякие скорби и соединиться с ним снова на жизнь и смерть!..

Давыдова приехала к мужу в начале 1828 года из Каменки – своего, рода «столицы» южных декабристов. Здесь, у ее мужа Василия Львовича Давыдова, бывали многие члены Южного тайного общества.

В Каменке бывал и Пушкин, приезжавший сюда вместе с отцом М. Н. Волконской, генералом Н. Н. Раевским, который приходился Давыдову братом по матери.

Многих бывавших в Каменке декабристов Давыдова знала лично и встретилась с ними в Чите.

Уезжая, Давыдова оставила в Каменке на попечении бабушки своих шестерых детей – трех мальчиков и трех девочек.

Почти одновременно приехали в Читу Елизавета Петровна Нарышкина и Александра Васильевна Ентальцева.

Нарышкина была единственной дочерью известного героя 1812 года графа П. П. Коновницына. Она получила прекрасное образование, была умна, остроумна, добра, но характера довольно замкнутого. Несмотря на большую близость жен декабристов между собой, Нарышкина чувствовала себя несколько одинокой.

Ей было 26 лет, ее единственная дочь скончалась в Москве еще до осуждения мужа. Перед отъездом к мужу она говорила матери, что поездка эта необходима для ее счастья, что она обретет в ней душевный покой. Мать тепло и сердечно проводила ее.

Нарышкина въезжала в Читу в мае 1827 года. Уже издали она приметила окруженную частоколом Читинскую тюрьму, а вскоре через щель увидела своего мужа Н. Н. Нарышкина. Это было слишком неожиданно. Нарышкина громко позвала его. Он узнал голос жены и, гремя кандалами, подбежал к частоколу. Незнакомый тюремный облик мужа, обстановка, в какой она увидела его через год после свидания в Петропавловской крепости, настолько потрясла молодую женщину, что она потеряла сознание. Ее привели в чувство и после короткой встречи с мужем направили к Муравьевой…

Особенно тяжело сложилась в Сибири жизнь Ентальцевой. Отбыв срок каторги, ее муж, подполковник А. В. Ентальцев, был отправлен на поселение в Березов, где заболел тяжелой и длительной душевной болезнью. Верная своему долгу, Ентальцева не оставляла больного, терпеливо ухаживала за ним.

В 1845 году Ентальцева овдовела и попросила Бенкендорфа разрешить ей вернуться на родину, но получила отказ. Она очень нуждалась, жены декабристов помогали ей. Вернуться же на родину ей разрешено было лишь через одиннадцать лет, в 1856 году, после амнистии. Через два года она скончалась в Москве.

Среди жен декабристов оказалась в Чите и юная француженка Полина Гебль, приехавшая на каторгу разделить участь декабриста И. А. Анненкова.

В Москву она приехала в качестве старшей продавщицы большого модного магазина на Кузнецком мосту, здесь встретилась со своим будущим мужем и после его ареста лично обратилась к Николаю I с просьбой разрешить последовать за ним в Сибирь. 5 апреля 1828 года в сохранившейся до наших дней Читинской церкви состоялось ее венчание с Анненковым.

Это было необычное венчание. Комендант острога генерал Лепарский послал за Полиной Гебль свой экипаж, и когда, она

подъехала с Фонвизиной к церкви, встретил ее и помог выйти из экипажа.

Оживленное настроение собравшихся исчезло, когда в церковь привели в кандалах Анненкова и двух шаферов. У входа кандалы сняли, но после совершения обряда их снова надели и всех увели обратно в острог.

Дамы проводили Полину Гебль, теперь уже Прасковью Егоровну Анненкову, в ее маленькую квартиру, а через некоторое время плац-адъютант привел туда и Анненкова. Ему разрешено было пробыть с женой среди друзей не более получаса.

Жених и шаферы в кандалах, невеста-француженка, едва понимавшая по-русски, ее подруги – знатнейшие титулованные дамы Петербурга, коляска коменданта острога, неподалеку тюремный частокол и рядом солдаты с винтовками за плечами – вся эта необычная обстановка произвела на собравшихся тягостное впечатление.

Брак этот был счастливый. Вскоре у них родилась дочь. Это был второй их ребенок. Первую дочь Полина Гебль вынуждена была, отправляясь в Сибирь, оставить в Петербурге…

Постепенно в Чите образовалась так называемая Дамская улица – жены декабристов выстроили себе простые, удобные жилища, но установленный для декабристов режим был довольно строгим. Им разрешалось посещать своих жен в их домиках только в случае их серьезной болезни, а жены могли навещать мужей лишь в остроге в отведенной для этого маленькой комнатке, всегда в присутствии тюремного офицера.

Часами душевного отдыха для декабристов и их жен были вечера у окружавшего Читинский острог частокола. Через его щели они видели друг друга и беседовали. Это были мгновения счастья на их тяжелом жизненном пути. Рождались дети, и заботы о них наполняли дни и годы их жизни на каторге.

Четыре года провели декабристы в Читинском остроге. Эти годы декабрист И. И. Пущин назвал «юношеской поэмой». Какой-то поэтической дымкой окутаны были они. Здесь царил особый культ высокой, благородной дружбы. И жены декабристов сыграли здесь большую роль.

В августе 1830 года декабристов направили из Читы во вновь выстроенную для них тюрьму в Петровском заводе. Впереди их ждал двадцатипятилетний путь каторги и ссылки. Двадцать пять долгих лет тяжелых лишений, горя и невзгод. Но настроение у всех было бодрое.

У ворот своей новой тюрьмы они получили почту, узнали, что Карл X бежал из Франции в Англию, выпили по бокалу шипучего в честь французской революции и с пением Марсельезы, «с

веселым духом вошли в стены своей Бастилии», как писал позже в своих воспоминаниях М. А. Бестужев.

В пути, во время перехода из Читы в Петровский завод, к ним присоединились приехавшие из Петербурга жены декабристов А. В. Розен и М. К. Юшневская.

А. В. Розен была дочерью директора Царскосельского лицея В. Ф. Малиновского, – ее сверстниками были А. С. Пушкин, лицеисты А. А. Дельвиг и будущие декабристы И. И. Пущин, В. К. Кюхельбекер и В. Д. Вольховский. На каторге она встретилась со многими друзьями своих девических лет. Уезжая, оставила в Царском Селе пятилетнего сына, которого Николай I не разрешил взять с собой.

М. К. Юшневская приехала к своему мужу, бывшему генерал-интенданту Второй армии Алексею Петровичу Юшневскому. Как и все не имевшие детей жены декабристов, она поселилась в Петровском заводе с мужем в тюрьме. Ей было тогда сорок лет. Декабристы встретили ее дружески. Впервые после восстания 14 декабря она почувствовала себя в родной семье…

Через пять лет после восстания в Петровский завод приехала еще одна молодая француженка, Камилла Ле-Дантю, последовавшая на каторгу за декабристом В. П. Ивашевым.

У Ивашева было в то время крайне подавленное настроение, и он решил бежать. В условиях сибирской каторги это было безнадежно и опасно. Друзья, декабристы П. А. Муханов и П. В. Басаргин, всячески убеждали его отказаться от своего замысла.

Как раз в те дни, когда все уже было готово к побегу, комендант тюрьмы Лепарский получил письмо, в котором родители Ивашева сообщали, что Камилла Ле-Дантю давно любит Ивашева и, потрясенная судьбой декабристов, желает разделить его тяжкую участь и направиться к нему в Сибирь.

Ивашев принял предложение девушки с чувством изумления и большой благодарности. Полагая, что ее решение было отзвуком давних детских мечтаний и юного робкого увлечения, он просил ее серьезно поразмыслить над тем, что ждет ее на каторге. Но та решилась.

План побега, естественно, отпал, и девушка вскоре прибыла в Петровский завод.

Семья декабристов встретила милую и образованную Камиллу Ле-Дантю ласково и приветливо. Через несколько дней состоялась свадьба, и комендант разрешил новобрачным прожить месяц в их собственном новом доме, который Ивашев выстроил еще до приезда Камиллы. Затем она перешла в темный тюремный каземат мужа и оставалась там в течение года, пока женатым

декабристам не разрешили жить в своих домах вместе с женами.

В годовщину свадьбы Камилла писала своей матери: «Год нашего союза прошел, как один счастливый день…»

22 ноября 1832 года в Петровском заводе умерла двадцативосьмилетняя жена Никиты Муравьева – Александра Григорьевна. Возвращаясь поздно вечером из тюрьмы в легкой одежде, она простудилась и слегла. Три месяца Муравьева тяжело болела, и видно было, что жизнь ее с каждым днем угасает. Болезнь она переносила безропотно. Дни и ночи у постели больной дежурили друзья. В последние минуты Александра Григорьевна продиктовала прощальные письма к родным, простилась с Александром Муравьевым, братом мужа, и с друзьями, подарила каждому из них что-то на память.

Просила не горевать о ней, сокрушалась только о своем муже Никитушке и родившейся на каторге дочери Нонушке.

В последнюю свою ночь продиктовала Трубецкой письмо к сестре – просила позаботиться о муже и дочери.

Умирая, она попросила принести ей Нонушку, но та спала, и она поцеловала вместо девочки ее куклу.

– Ну вот, я как будто Нонушку поцеловала… – тихо сказала она.

Муж Муравьевой поставил над ее могилой каменную часовню с неугасимой лампадой над входом…

Когда в Петербурге узнали о ранней смерти Муравьевой, всем женам декабристов разрешено было ежедневно видеться со своими мужьями у себя дома…

Отдельные группы декабристов, по мере окончания их каторжных сроков, постепенно переходили на поселение.

По приказу Николая I отбывших на поселение разбросали по всей огромной Сибири. Старались селить их порознь друг от друга, даже братьев разъединяли. Еще два десятилетия прожили декабристы в таких глухих медвежьих углах, как село Шушенское, Нарым, Туруханск, Мертвый Култук, Якутск, Вилюйск, Братский Острог, Верхнеколымск, Витим, Пелым.

Тяжелы были годы жизни декабристов и их жен на каторге и в ссылке.

Все они тосковали по своим оставшимся на родине детям. Мать и братья Волконской до конца дней не простили ей отъезда к мужу. В письмах из Петербурга на каторгу они часто жаловались на разные житейские невзгоды.

В своих ответных письмах Волконская умоляет возможно чаще писать ей об оставшемся в Петербурге у бабушки сыне Николеньке, ее первенце. Но мальчик 17 января 1828 года неожиданно скончался…

Вскоре после смерти сына Волконскую постиг еще один тяжелый удар: 14 сентября 1829 года скончался отец ее, Николай Николаевич Раевский.

Нежную любовь к дочери Раевский сохранил до последнего часа. Умирая, окруженный семьей, он сказал, глядя на портрет Марии Николаевны:

– Вот одна из наиболее удивительных женщин, какую я когда-либо знал…

1 июля 1830 года у Волконских родилась в Чите и в тот же день скончалась дочь Софья. Похоронив девочку, Волконская писала родным: «Во всей окружающей меня природе одно только мне родное – трава на могиле моего ребенка…». Всю свою любовь и внимание она отдала родившимся позже на каторге сыну Михаилу и дочери Елене – Нелли.

Дети родились в Чите у Трубецкой и Давыдовой.

На каторге, вслед за Муравьевой, погиб ее муж Никита Муравьев. В Петербурге скончались и трое их детей, родившихся до восстания. Уцелела лишь Нонушка, ставшая общей любимицей декабристов.

Осиротели и родившиеся в Сибири дети Трубецких. За два года до освобождения скончалась их мать, Екатерина Ивановна.

Погибла в Сибири француженка Камилла Ле-Дантю, вышедшая замуж за декабриста Ивашева. После отбытия каторги Ивашев был поселен с женой в Туринске. У них было трое детей – две девочки и мальчик. В 1839 году к ним приехала – с условием никогда больше не возвращаться в Европейскую Россию – мать Камиллы, М. П. Ле-Дантю.

Ивашевы были счастливы. Но это их мирное счастье было неожиданно нарушено: простудившись на прогулке, слегла и через десять дней, 30 декабря 1839 года, на тридцать втором году жизни, умерла жена Ивашева.

Ивашев весь отдался заботам о детях, но, собираясь отметить первую годовщину смерти жены, почувствовал себя плохо и неожиданно скончался от кровоизлияния в мозг. Дети остались на попечении бабушки, которая с большим трудом добилась разрешения вывезти их из Сибири в Россию.

Декабристы в муках и страданиях прожили в Сибири на поселении еще свыше десяти лет. Освобождение последовало в 1856 году, после смерти Николая I, но пришло оно, к сожалению, слишком поздно. Большинство декабристов, пройдя через каторжные тюрьмы и ссылки, не выдержали и погибли. Шестьдесят шесть могил их разбросаны по необъятным просторам. В живых остались пятьдесят пять человек. Из них тридцать четыре находились в Сибири, остальные – на жительстве

под надзором полиции во внутренних губерниях России.

Вернулись из Сибири вместе с мужьями лишь Волконская, Нарышкина, Анненкова, Фонвизина и Розен.

Потеряв мужей, приехали на родину Давыдова, Ентальцева, Юшневская.

Муравьева, Трубецкая и Ивашева погибли.

Были еще жены декабристов, желавшие последовать за своими мужьями на каторгу, но Николай I никому больше не разрешил ехать. Их жизнь на родине тоже сложилась трагично…

– Какие мы герои? Это поэты сделали из нас героинь, а мы просто поехали за нашими мужьями, – говорила овдовевшая на каторге А. И. Давыдова.

«Просто поехали»… Мы знаем, как высоко оценили их подвиг поэты. Некрасов вложил в уста Трубецкой гордые слова, обращенные к отцу при отъезде на каторгу:

Далек мой путь, тяжел мой путь,
Страшна судьба моя,
Но сталью я одела грудь…
Гордись – я дочь твоя!

Сто сорок лет прошло со дня восстания декабристов. И сегодня, вспоминая о них, мы обнажаем головы пред их незабываемым подвигом.

Болдинская осень [52]

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса…

А. С. Пушкин. «Осень»

Осень была всегда любимым временем года Пушкина. «Теперь моя пора… И с каждой осенью я расцветаю вновь…» – писал он, когда «уж роща отряхала последние листы с нагих своих ветвей».

Вот в такую осень 1830 года, сто тридцать пять лет назад, Пушкин выехал из Петербурга в Болдино и соседнее сельцо Кистеневку. Выехал для раздела имения, часть которого отец выделил ему перед женитьбой. Путь лежал через Москву, Нижний Новгород… Лукоянов…

Поэт торопился возможно скорее покончить с этим непривычным для него делом, но неожиданно разразившаяся холера задержала его в Болдине на три месяца. Здесь, как всегда в осеннюю пору, «бес стихотворства» овладел им. Наступила знаменитая болдинская осень…

Выехал Пушкин из Петербурга 10 августа. Он сел вместе с Вяземским в дилижанс, по пути остановился в Царском Селе, куда провожал его Дельвиг, пообедал у Жуковского. В Торжке почти одним духом съел двадцать персиков, отведал моченых яблок, в Твери повидался с известным поэтом-декабристом Ф. Н. Глинкою и утром 14 августа 1830 года приехал в Москву. Остановился у Вяземского.

В те дни тяжело болел его дядя поэт Василий Львович и через два дня скончался. Вместе с «депутацией всей литературы всех школ, всех партий»; Пушкин проводил его от Старой Басманной до кладбища Донского монастыря. Посетил многих друзей. Перед решительным шагом жизни захотелось съездить к дочери няни Арины Родионовны в сельцо Захарово, где ребенком часто проводил летние месяцы. 26 августа был на балу у Гончаровых по случаю именин невесты, Натальи Николаевны.

Свадьбу из-за семейного траура в связи со смертью дяди

пришлось отложить. Денежные дела осложнились. С матерью невесты Натальей Ивановной, женщиной своенравной, грубой, деспотичной и религиозно фанатичной, на этой почве происходили частые размолвки, отношения ухудшались.

После очередной крупной ссоры в конце августа Пушкин уезжал в Болдино «без уверенности в своей судьбе». Он написал невесте:

«Я уезжаю в Нижний, не зная, что меня ждет в будущем. Если ваша матушка решила расторгнуть нашу помолвку, а вы решили повиноваться ей, – я подпишусь под всеми предлогами, какие ей угодно будет выставить, даже если они будут так же основательны, как сцена, устроенная ею мне вчера, и как оскорбления, которыми ей угодно меня осыпать. Быть может, она права, а неправ был я, на мгновение поверив, что счастье создано для меня. Во всяком случае, вы совершенно свободны; что же касается меня, то заверяю вас честным словом, что буду принадлежать только вам, или никогда не женюсь».

В. Ф. Вяземской Пушкин писал в те же дни:

«Я уезжаю, рассорившись с г-жой Гончаровой. На следующий день после бала она устроила мне самую нелепую сцепу, какую только можно себе представить. Она мне наговорила вещей, которых я по чести не мог стерпеть. Не знаю еще, расстроилась ли моя женитьба, но повод для этого налицо, и я оставил дверь открытой настежь… Ах, что за проклятая штука счастье!..»

31 августа поэт написал П. А. Плетневу:

«Сейчас еду в Нижний, то есть в Лукоянов, в село Болдино… Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30-ти лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день от дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери – отселе размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения – словом, если я и не несчастлив, по крайней мере не счастлив. Осень подходит. Это любимое мое время – здоровье мое обыкновенно крепнет – пора моих литературных трудов настает – а я должен хлопотать о приданом да о свадьбе, которую сыграем бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню, бог весть буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Каченовского.

Так-то, душа моя. От добра добра не ищут. Чорт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостию… Грустно, душа моя…»

* * *

Занятый дорожными сборами, Пушкин успел зайти накануне отъезда из Москвы к Ю. Н. Бартеневу, чтобы вернуть ему полученный от него альбом. По его просьбе он вписал в него сонет:

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков,

В простом углу моем, средь медленных трудов
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель —

Она с величием он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Вписанное в альбом Бартенева стихотворение Пушкин назвал впоследствии «Мадона» (поэт писал это слово через одно «н»). Оно написано было им в Петербурге, перед самым отъездом в Москву.

Невесте поэт писал еще перед приездом в Москву из Петербурга: «Я мало бываю в свете. Вас ждут там с нетерпением. Прекрасные дамы просят меня показать ваш портрет и не могут простить мне, что его у меня нет. Я утешаюсь тем, что часами простаиваю перед белокурой мадоной, похожей на вас как две капли воды: я бы купил ее, если бы она не стоила 40 000 рублей».

О какой Мадонне говорил в этом письме Пушкин? О Мадонне на холсте, со Спасителем «под пальмою Сиона», как писал он в сонете?

По этому поводу высказывалось много предположений и догадок. Называлась находившаяся в доме А. О. Смирновой-Россет «Мадонна» Перуджино, но она не продавалась. Не продавалась и находившаяся в Эрмитаже Мадонна Рафаэля, хотя на ней Мадонна была как раз нарисована «под пальмою Сиона». Была еще «Мадонна» Перуджино в собрании Строгановых, притом с раскосыми немного глазами, как и у Натальи Николаевны Гончаровой. Но не о них, судя по всему, писал Пушкин невесте.

Пушкинист Б. В. Томашевский высказал в 1935 году

предположение, что в сонете, по-видимому, имелась в виду совершенно определенная, продававшаяся в то время картина какого-нибудь крупного итальянского мастера. И действительно, в апрельском номере «Литературной газеты» за 1830 год была напечатана заметка художника В. Лангера, в которой сообщалось, что в книжном магазине Слёнина на Невском проспекте с «выставлена ныне, на суд публики, картина, изображающая св. деву Марию с младенцем Иисусом, приписываемая Рафаэлю».

Исследованию этого вопроса посвятил большой очерк известный ученый М. А. Цивловский. Он пришел к выводу, что в заметке Лангера речь идет именно о той самой Мадонне, о которой писал Пушкин: «Проводил целые часы, смотря на «Мадонну», Пушкин, конечно, в книжном магазине Слёнина на Невском проспекте».

С выставленной у Слёнина картины молодой художник А. Безлюдный тогда же выполнил на камне литографированный рисунок большого размера, но, усомнившись в принадлежности ее кисти Рафаэля, пометил на полях, что это «рисунок с оригинальной картины итальянской школы».

Сопоставляя эту литографию с акварельным портретом Натальи Николаевны, рисованным в 1844 году художником Райтом уже после смерти Пушкина, М. А. Цявловский убеждается, что «это все та же мадонна: она белокура и похожа на Наталью Николаевну Гончарову «как две капли воды»… тот же высокий «итальянский» лоб с закатом, тонкий прямой нос, длинная часть от носа до губы».

Воспроизводим здесь для наглядного сравнения снимок с литографии А. Безлюдного и рисованный Райтом портрет Натальи Николаевны.

Не известно, к сожалению, где находится оригинал Мадонны, которая выставлена была в 1830 году в книжном магазине Слёнина в Петербурге. Если бы было найдено это большое полотно, оно дало бы возможность с полной уверенностью ответить на вопрос, им ли любовался часами Пушкин перед своею женитьбою.

Когда Пушкин собирался в Болдино, в Москве уже доходили слухи, что в Саратовской и Астраханской губерниях свирепствует холера, что не минует она и Нижегородскую губернию. И на душе у поэта было неспокойно. Позднее он писал невесте:

«Не будь я в дурном расположении духа, когда ехал в деревню, я бы вернулся в Москву со второй станции, где узнал, что холера опустошает Нижний. Но в то время мне и в голову не приходило поворачивать вспять, и я не желал ничего лучшего, как заразы».

В таком настроении Пушкин приехал в первых числах

сентября 1830 года в Болдино.

Осень в Болдине… Старый барский дом, в котором жил Пушкин, был, по показанию старожилов, небольшой, одноэтажный, с черным двором и службами, обнесенный мелким дубовым частоколом. Кругом дома был пустырь – ни цветников, ни сада; вблизи находился только небольшой пруд, известный ныне под названием «Пильняки», да виднелись два-три деревца, из которых теперь сохранилось разве одно – огромный могучий вяз. За оградою усадьбы, невдалеке, стояла вотчинная контора: против нее, на площади, высилась церковь… Из окон дома открывался унылый вид на крестьянские… избы.

В этой болдинской глуши Пушкин и застрял из-за карантина на три месяца.

Унылый болдинский пейзаж, непролазная грязь, кругом холера и неожиданное карантинное заточение, полуразрыв с невестою, неотвязные мысли о неустроенности своей жизни и вечные скитания…

В таком настроении Пушкин закончил в Болдине еще ранее начатые «Дорожные жалобы»:

Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.

Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине…

Невеселые настроения поэта отразили и написанные им в Болдине «Бесы».

Рядом с «Бесами» под влиянием возможного разрыва с Натальей Николаевной Гончаровой легли элегические строки:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино – печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать:
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю, мне будут наслажденья

Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть – на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

И «угасшее веселье», и «смутное похмелье» явились результатом большой неудовлетворенности поэта всеми обстоятельствами его существования…

Неожиданно пришедшее примирительное письмо Натальи Николаевны – ответ на написанное Пушкиным перед отъездом письмо, в котором он предоставлял ей полную свободу, – сразу изменило настроение поэта. «Ваше письмо прелестно, оно вполне меня успокоило», – ответил ей Пушкин.

Одновременно с обрадовавшим его письмом невесты Пушкин получал, видимо, от невесты и письма другого рода, которые ее заставляла писать мать, – это были наставления о необходимости соблюдать посты, молиться богу. Но настроение все же улучшилось, родилось вдохновение.

Он писал Плетневу:

«Теперь мрачные мысли мои порассеялись; приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня колера морбус… Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши сколько хошь. А невеста пуще цензора Щеглова, язык и руки связывает… Сегодня от своей получил я премиленькое письмо; обещает выйти за меня и без приданого. Приданое не уйдет. Зовет меня в Москву – я приеду не прежде месяца…»

Самая деревня преобразилась вдруг в воображении поэта, и он заканчивает письмо:

«Ах. мой милый! что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов».

* * *

И Пушкин начал писать «сколько вздумается» – страстно, вдохновенно, дни и ночи напролет…

Гений Пушкина расцвел в эту болдинскую осень необычайно. Трудно себе представить, как мог поэт так много создать в эти три осенних болдинских месяца, как велик и значителен был

урожай болдинской осени!

Своему другу барону Дельвигу, редактору «Северных цветов», Пушкин написал из Болдина:

«Посылаю тебе, барон, вассальскую мою подать, именуемую цветочною по той причине, что платится она в ноябре, в самую пору цветов. Доношу тебе, моему владельцу, что нынешняя осень была детородна, и что коли твой смиренный вассал не околеет от сарацинского падежа, холерой именуемого и занесенного нам крестовыми воинами, то есть бурлаками, то в замке твоем, «Литературной газете», песни трубадуров не умолкнут круглый год. Я, душа моя, написал пропасть… Скажи Плетневу, что. он расцеловал бы меня, видя мое осеннее прилежание…»

И самому Плетневу Пушкин, вернувшись, сообщает, что это за «пропасть», которую он написал: «Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда: 2 последние главы «Онегина», 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400), которую выдадим Anonyme. Несколько драматических сцен, или маленьких трагедий, именно: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Дон Жуан». Сверх того, написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все (весьма секретное)[53]. Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется – и которые напечатаем также Anonyme…».

Из этого короткого письма Пушкина читателю неясно будет, какой поистине титанический труд поэт выполнил в ту болдинскую осень, если не ознакомить его с тем, как и в какие сроки написаны были все эти произведения.

Приехав в Болдино, Пушкин сразу же окунулся в работу. 9 сентября он закончил первую «повесть покойного Ивана Петровича Белкина» – «Гробовщик», 14-го – вторую, «Станционный смотритель», 20-го – третью, «Барышня-крестьянка», 25-го – девятую главу «Евгения Онегина», позже ставшую восьмой…

Карантины угнетали, и Пушкин, прервав работу, съездил в соседнее имение Голицыных, чтобы выяснить, нельзя ли прорваться через карантины в Москву. Вынужденный вернуться в Болдино, он узнал, что холера докатилась уже до Москвы. И снова принялся за работу.

«Повесть, писанная октавами (стихов 400)» – «Домик в Коломне» – написана была в течение шести дней, 5-10 октября, «Выстрел» – 12–14 октября.

20 октября Пушкин закончил «Метель», 23-го – «Скупой рыцарь», 26-го – «Моцарт и Сальери». В октябре было написано и «Путешествие Онегина».

На последней странице повести «История села Горюхина» Пушкин поставил дату окончания – 1 ноября. Через три дня, 4 ноября, закончил «Каменного гостя», 6 ноября – «Пир во время чумы». И сделал после этого новую попытку прорваться в Москву – доехал до небольшой почтовой станции Владимирской губернии, в 23½ верстах от Мурома. Здесь была холерная застава, его дальше не пустили, и он вынужден был снова вернуться через Лукоянов в Болдино.

В промежутках между драматическими сценами, маленькими трагедиями и повестями Пушкин создал, как он писал Плетневу, «30 мелких стихотворений».

«Мелкими» Пушкин назвал стихотворения «Бесы», «Паж или пятнадцатый год», элегию «Безумных лет угасшее веселье», «Прощание», «Отрок», «Стамбул гяуры нынче славят», «Заклинание», «Рифма», «Для берегов отчизны дальной», «Моя родословная», «Я здесь, Инезилья», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «В начале жизни школу помню я», «Герой», «На перевод Илиады», «Пью за здравие Мери», «Царскосельская статуя» и другие.

* * *

Пушкин, бесспорно, устал за эти три титанических месяца своей изумительной болдинской осени. Он устал, видимо, и от «Евгения Онегина», которого начал писать 9 мая 1823 года в Кишиневе и окончил 25 сентября 1830 года в Болдине. 7 лет 4 месяца 17 дней – подсчитал Пушкин и написал:

Пора: перо покоя просит;
Я девять песен написал;
На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал —
Хвала вам, девяти Каменам…

В восьмой главе «Евгения Онегина» Пушкин поставил эпиграфом начальные строки стихотворения «Прости», написанного Байронам в связи с разводом с женой:

Прощай! и если навсегда,
То навсегда прощай.

Поэт как бы навсегда прощался с героями своего романа и

закончил главу стихами:

Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

И в конце главы написал слово: «Конец».

* * *

За годы работы над «Евгением Онегиным» Пушкин сжился с его героями, ему трудно было расстаться с ними. Он пытался написать в Болдине и десятую главу своего романа, но, убедившись, что она насыщена большим и опасным политическим содержанием, сжег ее, предварительно зашифровав и сделав пометку: «19 окт. сожж. X песнь»…

И сжег ее – это хочется особо подчеркнуть – 19 октября 1830 года, в «день лицея», «святой годовщины», которую лицеисты первого выпуска привыкли «торжествовать» всегда вместе, а Пушкин вынужден был оставаться в тот год в Болдине, вдали от всех, в окружении холерных карантинов.

Закончив «Евгения Онегина», Пушкин написал в Болдине стихотворение «Труд»:

Миг вожделенный настал:
окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня;
Или, свой подвиг свершив,
я стою, как поденщик ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?
В черновике после двух первых строк были еще стихи:
Тихо кладу я перо, тихо лампаду гашу,
Что ж не вкушает душа ожидаемых ею восторгов?

Лишь Вяземскому читал поэт, приехав в Остафьево, сожженную десятую главу по какому-то не дошедшему до нас списку или по памяти.

Московские и петербургские друзья советовали Пушкину все же продолжать «Евгения Онегина». Поэт ответил им:

Вы за Онегина советуете, други,
Опять приняться мне в осенние досуги;
Вы говорите мне: «Он жив и не женат —
И так еще роман не кончен – это клад!

В его свободную, вместительную раму
Ты вставишь ряд картин, откроешь диораму;
Прихлынет публика, платя тебе за вход,
Что даст тебе еще и славу, и доход».
Пожалуй, я бы рад…

Последнюю строку Пушкин написал и подчеркнул в сохранившейся черновой рукописи: друзья, очевидно, должны были понять, что Пушкину и самому очень хотелось бы продолжить свой роман, но в условиях тогдашней политической обстановки это было совершенно невозможно…

* * *

В последний день ноября, надеясь все же добраться до Москвы, Пушкин в третий раз выехал из Болдина. Уже в первые дни декабря он приехал на станцию Платово, в 71-й версте от Москвы, здесь был задержан в карантине, но в конце концов все же получил разрешение выехать и 5 декабря прибыл, наконец, в Москву.

В этот свой приезд Пушкин прожил в Москве около полугода. 18 февраля 1831 года венчался с Натальей Николаевной Гончаровой в церкви Большого Вознесения, у Никитских ворот. Несколько месяцев прожил с женою в сохранившемся до наших дней доме на Арбате, 53. Получив свидетельство на выезд из Москвы, приехал в конце мая 1831 года в Царское Село. Здесь поэт провел все лето в ежедневном почти общении с В. А. Жуковским и Н. В. Гоголем. Иногда выезжал в Петербург.

Написал несколько стихотворений. Вспоминал свои лицейские годы, присутствовал однажды в лицее на экзамене истории.

Это было, быть может, самое счастливое лето в жизни поэта. Но грудь его уже томили мрачные предчувствия – предчувствия близкой гибели… 19 октября 1831 года, в день двадцатой лицейской годовщины, Пушкин очень ярко отразил эти свои

настроения в элегии «Чем чаще празднует лицей Свою святую годовщину…».

«Слово о полку Игореве» [54]

Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под который невозможно подделаться.

А. С. Пушкин

За три дня до дуэли к Пушкину пришел вместе с поэтом Л. А. Якубовичем фольклорист и этнограф И. П. Сахаров.

«Перед смертью Пушкина, – вспоминал он, – приходим мы, я и Якубович, к Пушкину. Пушкин сидел на стуле; на полу лежала медвежья шкура; на ней сидела жена Пушкина, положив свою голову на колени мужу. Это было в воскресенье; а через три дня уже Пушкин стрелялся. Здесь Пушкин горячо спорил с Якубовичем, и спорил дельно. Здесь я слышал его предсмертные замыслы о «Слове Игорева полка» – и только при разборе библиотеки Пушкина видел на лоскутках начатые заметки.

Историк литературы С. П. Шевырев, у которого Пушкин бывал и с которым беседовал о своей работе над «Словом о полку Игореве», писал, что Пушкин помнил «Слово» от начала до конца наизусть и готовил ему объяснение. Оно было любимым предметом его последних разговоров».

«Слово о полку Игореве» – героическая песнь о неудачном походе новгород-северского князя Игоря против половцев весной 1185 года – было найдено в 1795 году среди старинных рукописей Спасо-ярославского монастыря.

Рукопись приобрел известный любитель и собиратель русских древностей А. И. Мусин-Пушкин, но при пожаре Москвы в 1812 году она сгорела. Мусин-Пушкин успел, к счастью, выпустить в 1800 году тщательно подготовленное им издание «Слова».

По поводу «Слова о полку Игореве» Н. М. Карамзин писал в одном из журналов: «Вы, может быть, удивитесь более, если узнаете, что два года тому назад открыли в наших архивах отрывок поэмы под названием: «Песнь Игоревых воинов», которую можно сравнить с лучшими Оссиановскими поэмами и которая написана в XII столетии. Слог, исполненный силы, чувствия высочайшего героизма; разительные изображения, почерпнутые из ужасов природы, составляют достоинства сего отрывка, в котором поэт, представляя картину одного кровавого сражения, восклицает: «Увы! чувствую, что кисть моя слаба; я не имею дара великого Бояна, сего соловья времен прошедших»; следственно, в России и до него были великие поэты, которых творения поглощены

веками. Летописи наши не говорят об этом Бояне, мы не знаем, когда он жил и когда пел…».

* * *

В библиотеке Пушкина имелись почти все существовавшие в то время переводы «Слова», богатейшая литература о нем, летописи и сборники народных песен, четырнадцать словарей и грамматик разных славянских языков. И все это поэт внимательно изучал, видимо готовясь к предстоящей работе над замечательным памятником древней русской словесности.

В экземпляр «Слова», изданного в Праге Вацлавом Ганкой, вплетены были белые листы, очевидно, для заметок.

На рукописи перевода Жуковского имеется до восьмидесяти замечаний и поправок Пушкина.

На экземпляре «Песни ополчению Игоря Святославича, князя новгород-северского» с эпиграфом: «Кто ты, певец Игоря?» – до тридцати замечаний Пушкина.

Экземпляр этот прислал ему автор перевода, А. Ф. Вельтман, с надписью и письмом:

«Александр Сергеевич, пети было тебе, Велесову внуку, соловию сего времени, песнь Игореви, того, Ольга, внуку, а не мне… Желал бы знать мнение Пушкина о «Песни ополчению Игоря», говорят все добрые люди, что он не просто поэт, а поэт-умница и знает, что смысл сам по себе, а бессмыслица сама по себе; и потому я бы словам его поверил больше, чем своему самолюбию».

Между страницами книги Вельтмана остался лежать листок бумаги с золотым обрезом, на котором Пушкин написал:

«Хочу копье преломити, а любо испити… Г. Сенковский с удивлением видит тут выражение рыцарское, – нет, это значит просто неудачу: или сломится копье мое, или напьюсь из Дону… Тот же смысл, как и в пословице: либо пан, либо пропал».

Было среди книг пушкинской библиотеки еще шесть, присланных Вельтманом. На одной из них автор сделал надпись: «Первому поэту России от сочинителя». На другой сам Пушкин написал: «Мне от Александра Фомича В.».

Пушкин внимательно изучал «Слово о полку Игореве». «Первая задача, – писал известный ученый М. А. Цявловский, – стоящая перед Пушкиным как толкователем и переводчиком памятника, заключалась в осмыслении всех слов его. Поэтому самой ранней стадией его работы являются лингвистические заметки. Он искал и сопоставлял слова интересующего его памятника в Библии, в

летописях, в Четьих-Минеях».

О характере работы Пушкина над «Словом» дает возможность судить и письмо Александра Тургенева к его жившему тогда в Париже брату, Николаю Тургеневу, написанное в декабре 1836 года.

Письмо это было вызвано просьбой французского лингвиста Эйхгофа прислать ему экземпляр «Слова о полку Игореве»: он собирался прочесть в Сорбонне цикл лекций по русской литературе.

А. И. Тургенев писал брату:

«Полночь. Я зашел к Пушкину справиться о «Песне о полку Игореве», коей он приготовляет критическое издание. Он посылает тебе прилагаемое у сего издание оной на древнем русском (в оригинале) латинскими буквами и переводы богемский и польский… У него случилось два экземпляра этой книжки. Он хочет сделать критическое издание сей песни… и показать ошибки в толках Шишкова и других переводчиков, и толкователей… Он прочел несколько замечаний своих, весьма основательных и остроумных: все основано на знании наречий славянских и языка русского».

Пушкин, видимо, познакомился со «Словом» еще в начале своего творческого пути. Уже в «Руслане и Людмиле» он упоминает о Баяне:

Но вдруг раздался глас приятный
И звонких гуслей беглый звук;
Все смолкли, слушают Баяна…

В написанной Пушкиным заметке «Песнь о полку Игореве» мы читаем: «Рукопись сгорела в 1812 году. Знатоки, видевшие ее, сказывают, что почерк ее был полуустав XV века. Первые издатели приложили к ней перевод, вообще удовлетворительный, хотя некоторые места остались темны или вовсе невразумительны. Многие после того силились их объяснить. Но, хотя в изысканиях такого рода последние бывают первыми (ибо ошибки и открытия предшественников открывают и очищают дорогу последователям), первый перевод, в котором участвовали люди истинно ученые, все еще остается лучшим. Прочие толкователи наперерыв затмевали неясные выражения своевольными поправками и догадками, ни на чем не основанными».

Знатоков древней письменности поразила высокая поэтичность найденной рукописи, многие изучали ее. Появилось несколько переводов «Слова», в том числе В. А. Жуковского и А. Н. Майкова. Пушкин первый открыл теснейшую связь этого произведения с русской народной поэзией и, видимо, готовился издать «Слово» в собственном переводе.

Студенты той поры вспоминали, как однажды при посещении

Пушкиным Московского университета между ним и профессором М. Т. Качановским завязался горячий спор о подлинности «Слова»:

«Однажды утром лекцию читал И. И. Давыдов… предметом бесед его в то время была теория словесности. Г-на министра (тогда товарища министра С. С. Уварова. – А.Г.) еще не было, хотя мы, по обыкновению, ожидали его. Спустя около четверти часа после начала лекции вдруг отворяется дверь аудитории и входит г-н министр, ведя с собою молодого человека, невысокого роста, с чрезвычайно оригинальной, выразительной физиономией, осененной густыми курчавыми каштанового цвета волосами, одушевленной живым, быстрым, орлиным взглядом.

Вся аудитория встала. Г-н министр ласковой улыбкой приветствовал юношей и, указывая на вошедшего с ним молодого человека, сказал:

– Здесь преподается теория искусства, а я привез вам само искусство.

Не надобно было объяснять нам, что это олицетворенное искусство был Пушкин…

За лекцией профессора Давыдова следовала лекция покойного профессора М. Т. Каченовского… Встреча Пушкина с Каченовским, по их прежним литературным отношениям, была чрезвычайно любопытна… Здесь исторический скептицизм антиквария встретился лицом к лицу с живым чувством поэта…»

* * *

О прежних литературных отношениях Пушкина с Качановским и «историческом скептицизме» последнего здесь уместно будет сказать несколько слов.

Слушателями Каченовского были К. Д. Кавелин, А. И. Герцен, И. А. Гончаров. Они считали его главной заслугой умение будить критическую мысль, никогда ничего не принимать на веру.

С. М. Соловьев писал о нем: «Любопытно было видеть этого маленького старичка с пергаментным лицом на кафедре: обыкновенно читал он медленно, однообразно, утомительно; но как скоро явится возможность подвергнуть сомнению какое-нибудь известие, старичок оживится и засверкают карие глаза под седыми бровями, составлявшие одновременно красоту невзрачного старика».

К Пушкину, как вообще к молодым литераторам, Каченовский относился отрицательно.

«Возможно ли, – писал он после появления «Руслана и Людмилы», – просвещенному человеку терпеть, когда ему

предлагают поэму, писанную в подражание «Еруслану Лазаревичу»… Но увольте меня от подробностей и позвольте спросить: если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: «Здорово, ребята!» – неужели стали бы таким проказником любоваться?.. Зачем допускать, чтобы плоские шутки старины снова появлялись между нами! Шутка грубая, не одобряемая вкусом просвещения, отвратительна, а немало не смешна и не забавна».

В «Вестнике Европы», принятом Каченовским от Карамзина, против Пушкина печатались на протяжении десятилетий самые злые и ядовитые статьи и заметки.

И Пушкин не остался в долгу. Каченовского он заклеймил рядом эпиграмм. Он называл его «ругателем закоснелым», «в презренье поседелым» и писал:

Клеветник без дарованья,
Палок ищет он чутьем,
А дневного пропитанья
Ежемесячным враньем.

* * *

И вот они встретились в московском университете.

Студенты, среди которых был и И. А. Гончаров, стеной окружили поэта и профессора.

«Я не припомню подробностей их состязания, – писал Гончаров, – помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзил в него свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть, к этому раздражению много огня прибавлял и известный литературный антагонизм между ним и Пушкиным. Пушкин говорил с увлечением…».

Поэт А. Н. Майков отмечал в предисловии к своему переводу «Слова о полку Игореве», что Пушкин угадывал чутьем то, что уже после него подтвердила новая школа филологии неопровержимыми данными; но этого оружия она еще не имела в то время, и поэт не мог разорвать хитросплетений паутины Каченовского, «злого паука», как Пушкин назвал Каченовского в своем стихотворении «Собрание насекомых».

После посещения университета Пушкин писал жене:

«На днях был я приглашен Уваровым в университет. Там встретился с Каченовским (с которым, надобно тебе сказать, бранивались мы, как торговки на вшивом рынке). А тут разговорились с ним так дружески, так сладко, что у всех предстоящих потекли слезы умиления».

* * *

Пушкин с увлечением занимался исследованием и толкованием «Слова о полку Игореве» и в последние месяцы жизни часто беседовал о нем с друзьями.

«Некоторые писатели, – читаем мы в замечаниях Пушкина по поводу «Слова», – усумнились в подлинности древнего памятника нашей поэзии и возбудили жаркие возражения. Счастливая подделка может ввести в заблуждение людей незнающих, но не может укрыться от взоров истинного знатока… Другого доказательства нет, как слова самого песнотворца. Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под который невозможно подделаться. Кто из наших писателей в 18 веке мог иметь на то довольно таланта? Карамзин? но Карамзин не поэт. Державин? но Державин не знал и русского языка, не только языка «Песни о полку Игореве». Прочие не имели все вместе столько поэзии, сколь находится оной в плаче Ярославны, в описании битвы и бегства. Кому пришло бы в голову взять в предмет песни темный поход неизвестного князя? Кто с таким искусством мог затмить некоторые места из своей песни словами, открытыми впоследствии в старых летописях или отысканными в других славянских наречиях, где еще сохранились они во всей свежести употребления? Это предполагало бы *знание всех наречий славянских…».*

Пушкин, к сожалению, успел дать толкование примерно лишь одной восьмой части текста «Слова».

И «когда Пушкин, – писал М. А. Цявловский, – на смертном одре «жалел не о жизни, а о трудах, им начатых и не оконченных», он думал, конечно, и о своей оборванной работе над величайшим памятником русской поэзии – «Словом о полку Игореве».

Утро перед дуэлью [55]

«Сегодня я нечаянно открыл Вашу «Историю в рассказах» и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!»…

Это было 27 января 1837 года.

В своей книге «Дуэль и смерть Пушкина» П. Е. Щеголев впервые опубликовал запись В. А. Жуковского о том, как провел Пушкин утро того дня: «Встал весело, в 8 часов, – после чего много писал – часу до 11-го. С 11-ти обед, – ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни, – потом увидел в окно Данзаса, в дверях встретил радостно. Вошли в кабинет, запер дверь. – Через несколько минут послал за пистолетами. – По отъезде Данзаса начал одеваться, вымылся весь, все чистое; велел подать бекешь; вышел на лестницу. – Возвратился. – Велел подать в кабинет большую шубу и пошел пешком до извозчика. Это было в 1 час».

Эта краткая, предельно сжатая запись опровергает установившуюся версию о том, будто, выехав из дома, Пушкин случайно встретил у Цепного моста, близ Летнего сада, своего лицейского товарища К. К. Данзаса и предложил ему быть свидетелем одного разговора с его секундантом.

Версия эта была придумана и поддерживалась на следствии и самим Данзасом, чтобы смягчить его вину за участие в дуэли.

Пушкин действительно встал в день дуэли в 8 часов и в 9 часов утра получил от секунданта своего противника, атташе французского посольства д'Аршиака, письмо, в котором тот сообщал, что считает необходимым встретиться с секундантом поэта.

На это Пушкин ответил:

> «Виконт, я не имею ни малейшего желания посвящать петербургских зевак в мои семейные дела; поэтому я не согласен ни на какие переговоры между секундантами. Я привезу моего лишь на место встречи. Так как вызывает меня и является оскорбленным г-н Геккерен, то он может, если ему угодно, выбрать мне секунданта; я заранее его принимаю, будь то хотя бы его ливрейный лакей. Что касается часа и места, то я всецело к его услугам. По нашим, по русским, обычаям этого достаточно. Прошу Вас поверить, виконт, что это мое последнее слово и что более мне нечего ответить относительно этого дела; и что я тронусь из дому лишь для того, чтобы ехать на место.

Благоволите принять уверение в моем совершенном уважении.

А. Пушкин».

Получив этот ответ, д'Аршиак тотчас же отправил еще одно письмо Пушкину, в котором настаивал на встрече секундантов перед дуэлью. Он писал, что не может быть и речи о том, чтобы кто-то доставал Пушкину секунданта, и подчеркнул, что, если поэт откажется от этого требования Геккерена, тот будет рассматривать это как отказ Пушкина дать ему удовлетворение.

Пушкин, по словам Данзаса, поехал вместе с ним во французское посольство, представил его д'Аршиаку как своего секунданта и затем уехал, закончив свои объяснения словами:

– Теперь я вам могу сказать только одно: если дело это не закончится сегодня же, то в первый же раз, как я встречу Геккерена, – отца или сына, – я им плюну в физиономию.

Выработанные секундантами условия дуэли были очень тяжелые: стреляться на расстоянии десяти шагов друг от друга и, если не будет результата, возобновить поединок.

Пушкин принял эти условия, даже не прочитав их…

* * *

Жуковский писал впоследствии отцу поэта, что Пушкин спокойно дожидался у себя развязки. Он занимался «Современником», читал только что вышедшую тогда «Историю России в рассказах для детей»…

Что же представляла собой книга молодой писательницы?

Она открывается небольшим стихотворным обращением В. А. Жуковского к детям:

Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Дальше идет спокойный неторопливый рассказ Ишимовой.

«СЛАВЯНЕ ДО 862 ГОДА ХРИСТИАНСКОГО ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЯ

Милые дети! Вы любите слушать чудные рассказы о храбрых героях и прекрасных царевнах, вас веселят сказки о добрых и злых волшебницах. Но, верно, для вас еще приятнее будет слышать не сказку, а быль, то есть сущую правду.

Послушайте же, я расскажу вам ее о детях ваших предков. Ведь вы знаете, что такое предки? Это дедушки и бабушки ваших дедушек и бабушек; это люди, от которых произошли через несколько поколений ваши родители. Стало быть, для вас приятно будет узнать, где и как они жили.

В старину в отечестве вашем России не было таких прекрасных городов, как наш Петербург и Москва. На тех местах, где вы любуетесь теперь красивыми строениями, где вы так весело бегаете в тени прохладных садов, некогда видны были непроходимые леса, топкие болота и дымные избушки! Местами были и города, но вовсе не такие обширные, как в наше время: в них жили люди красивые лицом и станом, гордые славными делами предков, честные, добрые и ласковые люди, но страшные и непримиримые на войне. Их называли славянами.

Какое прекрасное имя, не правда ли, милые дети? Верно, и самые маленькие из вас понимают, что значит слава. Славяне старались доказать, что недаром их называют так, и отличались всеми хорошими качествами, которыми можно заслужить славу.

Они были так честны, что в обещаниях своих, вместо клятв, говорили только: «Если я не сдержу моего слова, то да будет мне стыдно!» – и всегда исполняли обещанное; так храбры, что и отдаленные народы боялись их; так ласковы и гостеприимны, что наказывали того хозяина, у которого гость был чем-нибудь оскорблен.

…Они почитали начальником своим того, кто более всех отличался на войне; а как они все были храбры, то иногда случалось, что таких начальников было много. Каждый из них хотел приказывать по-своему, народ не знал, кого слушать, и оттого были у них беспрестанные споры и несогласия. А ведь вы знаете, как несносны ссоры? И вам в ваших маленьких делах, верно, случалось уже испытать, какие неприятные следствия имеют они и какая разница в чувствах и положении вашем, когда все окружающие вас довольны вами…».

Пушкин, конечно, лишь бегло ознакомился в то утро с

томиком «Истории…», в котором было 270 страниц.

Может быть, он обратил внимание и на этот отрывок:

«НАЧАЛО МОСКВЫ. ОТ 1146 ДО 1155 ГОДА.

…Эта маленькая, бедная Москва вовсе не походила тогда на нашу нынешнюю белокаменную гордую Москву! – рассказывала Ишимова детям. – Еще не прошло и года от ее построения. Многие еще и не называли ее Москвою, но Кучковым. Это название произошло от того, что прежде на месте, где она построена, было несколько сел и деревень богатого боярина Степана Ивановича Кучка… Красивые места по берегам реки Москвы так понравились (Юрию Владимировичу Долгорукому), что он вздумал основать тут город и назвал его по имени реки – Москвою…».

Страницы из «Истории…» Ишимовой были последними, прочитанными Пушкиным утром в день дуэли…

«История России в рассказах для детей» Ишимовой, получившая столь высокую оценку Пушкина, вышла в шести томах и не раз переиздавалась.

Она охватывала историю России, начиная с 862 года – года образования Руси – до первых десятилетий XIX века.

Окрыленная отзывом Пушкина о ее первом труде, писательница неутомимо трудилась до конца своей жизни, она скончалась в 1881 году.

Большой популярностью пользовались ее книги: «Исторические рассказы», «Бабушкины уроки, или Русская история для маленьких детей», «Маменькины уроки, или Всеобщая история в разговорах для детей», «Каникулы 1849 года, или Поездка в Москву», «Первое чтение и первые уроки для детей», «Сокращенная русская история» и другие.

* * *

Рядом с «Историей…» Ишимовой на столе у Пушкина лежала в то утро еще одна книга: «Сборник произведений Мильмана, Боульса, Вильсона и Барри Корнуоля» на английском языке, изданная в Париже в 1829 году.

В ней Пушкиным были отмечены пять очерков Барри Корнуоля: «Сокол», «Людовик Сфорца», «Любовь, излеченная снисхождением», «Средство побеждать» и «Амелия Уентуорт».

Утром 27 января 1837 года он отправил сборник Ишимовой с просьбою перевести эти очерки для «Современника»…

Они появились в восьмой книге журнала за 1837 год в переводе Ишимовой уже после смерти поэта.

Не будем передавать их содержание, остановимся лишь на небольшом отрывке из очерка «Сокол».

Речь в нем идет об одном из старинных преданий, о котором упоминает и Боккаччо. Некий Фредериго, из рода Альбериги, растратив все свое состояние, обеднел. У него остался только сокол. Когда к нему пришла любимая им девушка Джиана, у него не было чем угостить ее, и он решить приготовить для нее редкое и лакомое кушанье из сокола.

Драматический очерк открывается монологом Фредериго, который Пушкин перевел еще в 1835 году:

О бедность! затвердил я наконец
Урок твой горький! Чем я заслужил
Твое гоненье, властелин враждебный,
Довольства враг, суровый сна мутитель?..
Что делал я, когда я был богат,
О том упоминать я не намерен.
В молчании добро должно твориться,
Но нечего об этом толковать.
Здесь пищу я найду для дум моих,
Я чувствую, что не совсем погибнул
Я с участью моей.

Ишимова так перевела этот отрывок в прозе, уже после смерти Пушкина:

«О бедность! Пойму ли я наконец твой горький урок! Ты, имеющая так много власти на этой прекрасной земле, ты, суровая противница утешительного довольства, ты, нарушительница сна, скажи, что сделал я тебе, что ты так жестоко преследуешь меня! Не заставляй меня говорить о том, как я поступал во время счастья; добро, сделанное нами, погребено в тайниках его – но прочь эта мысль: она слишком маловажна, чтобы остановиться на ней. Я чувствую теперь, что дух мой не совсем упал с богатством».

* * *

В последний год своей жизни Пушкин много работал, и это не давало ему возможности лично заняться переводом Барри Корнуоля. Пушкину понравился слог Ишимовой, он знал, что она

хорошо владеет английским языком, и за пять дней до дуэли, в пятницу, 22 января, поэт лично посетил ее, чтобы просить перевести очерки.

Не застав Ишимову дома, он написал ей в понедельник, 25 января:

«Милостивая государыня Александра Осиповна!

На днях имел я честь быть у Вас и крайне жалею, что не застал Вас дома. Я надеялся поговорить с Вами о деле. Петр Александрович (Плетнев. – *А.Г.) обнадежил меня, что Вам угодно будет принять участие в издании «Современника». Заранее соглашаюсь на все Ваши условия и спешу воспользоваться Вашим благорасположением: мне хотелось познакомить русскую публику с произведениями Barry Cornwall. Не согласитесь ли Вы перевести несколько из его драматических очерков? В таком случае буду иметь честь препроводить к Вам его книгу.*

С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивая государыня,

Вашим покорнейшим слугою А. Пушкин.

25 янв. 1837».

Ишимову взволновало письмо Пушкина. Она понятия не имела о том, на грани какой катастрофы находился он в те дни, и в ответ на письмо написала ему на следующий день, во вторник, 26 января:

«Милостивый государь Александр Сергеевич!

Не могу описать Вам, сколько я сожалела в пятницу, приехав домой спустя десять минут после Вас! И это произошло оттого, что я ожидала Вас уже в четыре часа, а не в три…

Сегодня получила я письмо Ваше и скажу Вашими же словами: заранее соглашаюсь на все переводы, какие Вы мне предложите, и потому с большим удовольствием получу от Вас книгу Barry Cornwall. Только вот что: мне хотелось бы как можно лучше исполнить желание Ваше насчет этого перевода, а для этого, я думаю, нам нужно было бы поговорить о нем. Итак, если для Вас все равно, в которую сторону направить прогулку Вашу завтра, то сделайте одолжение зайдите ко мне. Кроме добра, которое, вероятно, произойдет от того для перевода моего – Вы этим очень успокоите совесть мою, которая

все еще напоминает мне о моей неисправности перед Вами в пятницу.

Искренне уважающая Вас и готовая к услугам Вашим

Александра Ишимова».

На обороте:

«Его высокородию милостивому государю Александру Сергеевичу Пушкину. У Конюшенного моста, в доме князя Волконского».

Получив письмо Ишимовой, Пушкин не мог, конечно, «направить свою прогулку» в среду, 27 января, в день дуэли, в сторону жилища Ишимовой. Он написал ей:

«Милостивая государыня Александра Осиповна!

Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покамест честь имею препроводить к Вам Barry Cornwall. Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их, как умеете, – уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу «Историю в рассказах» и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!

С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивая государыня,

Вашим покорнейшим слугою А. Пушкин.

27 янв. 1837

Не имея понятия о предстоящей дуэли и не получив еще письма, Ишимова, конечно, ждала Пушкина, быть может, даже вышла ему навстречу. Но поэт уже не мог явиться; в третьем часу дня, когда посланный вручил ей письмо и книгу, Пушкин направлялся пешком из своей квартиры в находившуюся неподалеку от его дома кондитерскую Вольфа и Беранже, чтобы встретиться там со своим секундантом Данзасом, как он с ним утром условился, и вместе отправиться к месту дуэли.

Написанное Пушкиным за несколько часов до дуэли письмо поражает необычайным спокойствием, изумительной точностью в деле, касавшемся «Современника» Даже почерк письма – обычный, ровный, спокойный – свидетельствует о большой выдержке поэта.

Вечером в тот день начались предсмертные страдания

Пушкина, продолжавшиеся до пятницы, 29 января. Через сорок шесть часов Пушкина не стало…

Дуэль и смерть Пушкина [56]

12 часов дня. Неожиданно приехал библиограф Ф. Ф. Цветаев и говорил с Пушкиным о новом издании его сочинений. Пушкин держался спокойно, и Цветаев был поражен, когда в тот же день к нему пришел А. И. Тургенев и сообщил о дуэли и тяжелом состоянии Пушкина.

По уходе Цветаева на посланное Пушкиным письмо пришел ответ д'Аршиака: «Оскорбив честь барона Жоржа Геккерена, Вы обязаны дать ему удовлетворение. Вы обязаны найти секунданта… Всякое промедление будет рассматриваться им, как отказ в том удовлетворении, которое Вы обещали ему дать, и как намерение оглаской этого дела помешать его окончанию…»

12 часов 30 минут дня. Пушкин стал готовиться к поединку.

Вышел на лестницу, увидел, что морозно, вернулся и приказал подать в кабинет вместо бекеши большую шубу.

1 час дня. Пушкин вышел на улицу, дошел пешком до первого попавшегося извозчика, сел в сани и по дороге встретил своего старого лицейского товарища и друга К. К. Данзаса.

– Данзас, – обратился к нему Пушкин. – Я ехал к тебе, садись со мной в сани и поедем во французское посольство, где ты будешь свидетелем одного разговора.

Они приехали во французское посольство, где жил д'Аршиак, и тут Пушкин, после приветствия с хозяином, сказал Данзасу: «Теперь я введу вас в сущность дела», и рассказал все, что происходило между ним, Дантесом и Геккереном. Представив д'Аршиаку Данзаса в качестве своего секунданта, Пушкин официально ознакомил д'Аршиака с существом дела, начиная с момента получения анонимного пасквиля до последнего дня.

2 часа дня. Вручая Данзасу копию своего отправленного накануне Геккерену письма, Пушкин уехал к себе, оставив секундантов выработать и закрепить на бумаге условия дуэли.

Расставаясь с Данзасом, Пушкин сказал:

– Теперь я вам могу сказать только одно: если дело это не закончится сегодня же, то в первый же раз, как я встречу Геккерена, – отца или сына, – я им плюну в физиономию.

2 часа 30 минут дня. Секунданты выработали и подписали условия дуэли. Один экземпляр остался у д'Аршиака для Дантеса, второй Данзас взял с собою для Пушкина.

4 часа дня. Как условились, Пушкин ждал в это время Данзаса в кондитерской Вольфа и Беранже, на Невском проспекте, против Казанского собора. Данзас передал Пушкину выработанные секундантами условия:

«1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга и пяти шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам.

2. Вооруженные пистолетами противники, по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут стрелять.

3. Сверх того принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять место, для того, чтобы выстреливший первым огню своего противника подвергся на том же самом расстоянии.

4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то, в случае безрезультатности, поединок возобновляется как бы в первый раз…

5. Секунданты являются непременными посредниками по всяком объяснении между противниками на месте боя.

6. Секунданты, нижеподписавшиеся и облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных здесь условий».

Помимо того, во избежание новых распрей, секунданты не должны были допускать никаких объяснений между противниками и одновременно не упускать возможности к их примирению.

* * *

Пушкин принял условия дуэли, даже не ознакомившись с ними. Выпив стакан лимонаду, он вышел с Данзасом из кондитерской, оба сели в сани и отправились через Троицкий мост к месту дуэли, за Черной речкой, близ так называемой Комендантской дачи.

На Дворцовой набережной они встретили ехавшую в санях жену Пушкина, Наталью Николаевну. Она направлялась к Мещерской, дочери Карамзина, за находившимися там детьми. Встреча эта могла предотвратить дуэль, но жена Пушкина была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону.

4 часа 30 минут дня. Подъехали к Комендантской даче одновременно с Дантесом и д'Аршиаком.

Было 15 градусов мороза, много снега. Дул сильный ветер.

Пока выбирали площадку для дуэли, Пушкин сидел на сугробе и равнодушно смотрел на эти приготовления.

Языков писал позже, что они дрались насмерть. Для обоих уже не могло быть примирения.

Пушкин, закутавшись в медвежью шубу, сидел молча, но выражал нетерпение. Когда Данзас спросил его, находит ли он

удобным место дуэли, ответил:

– Мне это решительно все равно, только, пожалуйста, делайте все это поскорее…

Площадка для дуэли была выбрана в стороне от дороги, окруженная крупным и густым кустарником, скрывавшим все происходившее от глаз оставшихся на дороге извозчиков.

Данзас утаптывал площадку вместе с Дантесом и д'Аршиаком. Он добросовестно и точно отмерил шаги от барьера до барьера, шинелями обозначил их места, зарядил с противником пистолеты и аккуратнейшим образом следил за соблюдением всех правил дуэли. Но не способен он был даже сделать попытку примирить противников и избежать дуэли.

– Ну, как? Уже готово? – спросил Пушкин, наблюдая эти приготовления и все с большим нетерпением ожидая, когда все кончится…

5 часов дня. Все было готово.

Противники встали на свои места. Данзас махнул шляпой, и они начали сходиться. Пушкин сразу подошел вплотную к своему барьеру. Дантес выстрелил, не дойдя одного шага до барьера.

Пушкин упал.

– Я ранен, – сказал он.

Пуля, раздробив кость верхней части правой ноги у соединения с тазом, глубоко вошла в живот и там остановилась, смертельно ранив.

Пушкин упал на служившую барьером шинель и, лежа лицом к земле, остался неподвижен.

Секунданты бросились к нему, но когда Дантес хотел подойти, Пушкин остановил его:

– Подождите! Я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел…

Дантес стал на свое место боком, прикрыв грудь правой рукой. На коленях, полулежа, опираясь на левую руку, Пушкин выстрелил. Пуля, не задев кости, пробила Дантесу руку и, по свидетельству современников, ударившись в пуговицу, отскочила.

Видя, что Дантес упал, Пушкин спросил д'Аршиака:

– Убил я его?

– Нет, – ответил тот, – вы его ранили в руку.

– Странно, – сказал Пушкин, – Я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет.

Дантес хотел сказать несколько слов примирения, но Пушкин перебил его словами:

– Впрочем, все равно. Как только поправимся, снова начнем…

Из раны между тем кровь сильно лилась. Нужно было с полверсты нести его до саней.

Подозвали извозчиков, разобрали по пути забор из жердей, уложили Пушкина сначала в сани, а затем, с согласия секундантов, но без ведома Пушкина, в карету, присланную Геккереном для Дантеса.

Пушкин испытывал жгучую боль, говорил отрывистыми фразами, его тошнило, обмороки довольно часто следовали один за другим. Карету трясло, когда его везли домой, приходилось не раз останавливаться.

Ехавшему с ним Данзасу Пушкин сказал:

– Кажется, это серьезно. Послушай меня: если Арендт найдет мою рану смертельной, ты мне это скажи. Меня не испугаешь. Я жить не хочу…

Наконец подъехали к дому.

7 часов вечера. Жена поэта сидела в своей комнате с сестрой Александрой. Стол был накрыт к обеду. Ждали хозяина. Уже в восьмом часу вечера в комнату неожиданно вошел без доклада Данзас и сообщил, что Пушкин дрался на дуэли и легко ранен. Он добавил, что это поручил ему передать от своего имени Пушкин.

По выражению лица Данзаса было видно, что случилось страшное и непоправимое.

Наталья Николаевна побледнела и бросилась в прихожую. В это время камердинер Никита Козлов принял из кареты тяжело раненного Пушкина, взял его, как ребенка, на руки и нес по лестнице.

– Грустно тебе нести меня? – спросил Пушкин.

Увидев жену, Пушкин начал успокаивать ее, сказал, что ранен в ногу и рана не опасна. Просил не заходить к нему, пока он не разденется и не приведет себя в порядок.

Дети уже были дома. Но они, все четверо, были еще очень малы и не могли понимать, какая трагедия происходит в кабинете отца, за стеною рядом с их детской комнатой.

7 часов 30 минут вечера. Пушкина внесли в кабинет. Он сам разделся и лег на диван. Жену впустили только тогда, когда его вымыли и одели в чистое белье. Увидев ее, он сказал:

– Как я рад, что еще вижу тебя и могу обнять. Что бы ни случилось, ты ни в чем не виновата и не должна упрекать себя, моя милая!

Данзас поехал за врачами. Не застав дома Арендта, ни других врачей, он случайно встретил у ворот Воспитательного дома доктора Шольца, который и оказал раненому первую помощь.

Около больного в это время находились жена, Данзас и Плетнев. Пушкин просил всех удалиться, подал доктору Шольцу руку и сказал:

– Плохо со мною!.. Что вы думаете о моем положении?

– Не могу скрывать, что рана ваша опасная, – ответил Шольц.

– Скажите мне – смертельная?

– Считаю долгом не скрывать этого от вас.

– Спасибо! Вы поступили со мною, как честный человек… – Пушкин потер лоб и добавил: – Нужно устроить свои денежные дела.

– Не желаете ли видеть кого-нибудь из близких друзей? – спросил Пушкина Шольц.

– Разве вы думаете, что я и часа не проживу? – спросил Пушкин.

– О нет, не потому… Но я полагал, что вам приятно будет кого-нибудь видеть. Плетнев здесь…

– Я бы желал видеть Жуковского. Дайте мне воды, меня тошнит…

Стали съезжаться близкие друзья: Жуковский, Вяземский с женой, А. Тургенев, Виельгорский, Загряжская. Прибыли врачи: Спасский, Задлер, Саломон, Даль.

Приехал известный в то время доктор Арендт, придворный врач.

– Скажите мне откровенно, – обратился к нему, медленно произнося слова, Пушкин, – каково мое положение. Каков бы ни был ваш ответ, он испугать меня не может. Мне необходимо наверное знать мое положение; я должен успеть сделать некоторые нужные распоряжения.

– Если так, – ответил Арендт, – то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна и что на выздоровление ваше я почти не имею надежды.

Пушкин кивком головы поблагодарил Арендта, просил только не говорить об этом жене. К заявлению врача о безнадежности своего положения отнесся с невозмутимым спокойствием. Просил врача не подавать одновременно и жене больших надежд.

Арендт обязан был сообщить обо всем Николаю I и, уезжая, спросил Пушкина, не желает ли он передать что-нибудь царю.

Беспокоясь о том, что Данзас может пострадать за участие в дуэли, Пушкин ответил:

– Просите за Данзаса, за Данзаса, он мне брат.

Арендт пообещал. Уезжая, он сказал провожавшим его в передней:

– Штука скверная, он умрет…

Положение Пушкина было тяжелое. С каждым часом страдания его становились острее и мучительнее. У постели больного неотлучно находился его друг – писатель и врач В. И. Даль, с которым он сблизился во время поездки на места пугачевского восстания.

– Терпеть надо, друг, делать нечего, – сказал ему Даль, – но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче.

– Нет, не от боли стону я, а от тоски… – прерывающимся голосом отвечал Пушкин. – Нет, не надо стонать, жена услышит, и смешно же, чтоб этот вздор меня пересилил, не хочу…

Среди всех страданий Пушкин вспомнил о полученном им утром в день дуэли пригласительном билете на похороны сына Греча.

– Если увидите Греча, – сказал он доктору Спасскому, – поклонитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере.

* * *

С начала до конца Пушкин был удивительно тверд, и доктор Арендт заметил:

– Я был в тридцати сражениях, я видел много умирающих, но мало видел подобного…

Можно ли было спасти Пушкина? На этот вопрос ответили известные советские хирурги.

Через сто лет после смерти поэта, в 1937 году, академик Н. Н. Бурденко сообщил Академии наук, что меры, принятые врачами Пушкина, были бесполезны, а в наши дни даже хирург средней руки вылечил бы его.

Интересно отметить, что научное исследование метода лечения раненого Пушкина проводил ассистент профессора Бурденко, доктор Арендт, потомок лечившего Пушкина Арендта.

Профессор С. С. Юдин писал, что в наше время подобный раненый имел бы пятьдесят-шестьдесят процентов шансов на выздоровление. Но в те годы об операции не приходилось и думать. Лишь через десять лет после смерти Пушкина появился наркоз, а необходимая для брюшных операций асептика – лишь через полвека…

Пушкину, по мнению современных врачей, в его очень тяжелом состоянии нужно было обеспечить максимальный покой и оберечь от лишних разговоров и волнений. Это значительно облегчило бы его муки.

* * *

Несмотря на тяжкие страдания, Пушкин сохранил полное самообладание. Подозвав Данзаса, он попросил составить список

его неоформленных долгов и довольно твердой рукой подписал этот документ. Доктора Спасского просил вынуть из стола и сжечь какую-то написанную его рукою бумагу.

Пушкин попросил подать ему шкатулку, вынул из нее и подарил Данзасу кольцо – то самое, которое он получил, уезжая в последний раз из Москвы, от Нащокина.

– Это от нашего общего друга, – сказал он Данзасу.

На замечание Данзаса, что он готов отомстить Дантесу, Пушкин ответил, что не хочет, чтобы кто-нибудь мстил за него:

– Нет, нет, мир, мир!

Далю Пушкин подарил кольцо с бирюзой, а Жуковскому – кольцо, которым он особенно дорожил: в годы одесской ссылки Е. К. Воронцова подарила ему его.

«Талисман» – назвал Пушкин написанное им по этому поводу стихотворение. Кольцо это перешло впоследствии к И. С. Тургеневу.

* * *

Пушкин ясно сознавал, что умирает. Среди тяжких страданий он сказал доктору Далю:

– Худо мне, брат… Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?

– Мы все на тебя надеемся, Пушкин, право надеемся, не отчаивайся и ты! – ответил Даль, которому показалось, что положение умирающего несколько улучшилось.

– Нет! – ответил Пушкин. – Мне здесь не житье… Я умру, да, видно, уж так и надо…

При этом Пушкин не раз повторял, что страдает не столько от боли, сколько от чрезмерной тоски.

– Ах, какая тоска! – восклицал он, закладывая руки за голову. – Сердце изнывает!

От времени до времени он просил доктора Даля поднять его, поворотить, поправить подушку. И тихо благодарил:

– Ну, так, так, хорошо, вот и прекрасно, и довольно, теперь очень хорошо!.. Кто у жены моей? – спросил он Даля.

– Около нее друзья.

– Ну, спасибо. Однако же поди, скажи жене, что все, слава богу, легко. А то ей там, пожалуй, наговорят… Долго ли мне так мучиться? Пожалуйста, поскорее!.. Скоро ли конец?

Необыкновенное присутствие духа не оставляло больного. От времени до времени он лишь на короткое время забывался.

27 января 1837 года.

Наступила ночь. Друзья не покидали квартиры больного и с

волнением следили за его состоянием. Он мучительно страдал.

Утром Пушкин потребовал к себе детей. Их привели к нему и принесли полусонных. Он молча смотрел на каждого из них, клал на голову руку, трижды благословлял и прикладывал к их губам тыльную часть руки.

Пушкин впускал к себе только самых близких своих друзей, хотя беспрестанно спрашивал, кто приходил к нему.

– Мне было бы приятно, – сказал он, – видеть их всех, но у меня нет сил говорить с ними.

Некоторые из лицейских товарищей так и не могли проститься с ним.

12 часов дня. К полудню 28 января Пушкину стало несколько легче, он шутил и, приветливо встретив приехавшего Даля, сказал:

– Мне приятно вас видеть не только как врача, но и как родного мне человека по общему нашему литературному ремеслу.

Жену он часто призывал к себе, и она твердила:

– Он не умрет, я чувствую, что он не умрет…

Между тем было ясно, что приближался конец, и Пушкин сказал жене:

– Не упрекай себя моею смертью: это дело, которое касалось одного меня…

На вопрос доктора Спасского, кого из друзей ему хотелось бы видеть, Пушкин тихо промолвил, обернувшись к книгам своей библиотеки:

– Прощайте, друзья!

Его спросили, не хочет ли он сделать какое-либо распоряжение.

– Все жене и детям! – ответил он.

Жене Пушкин сказал:

– Отправляйся в деревню. Носи по мне траур два или три года. Постарайся, чтобы забыли про тебя. Потом выходи замуж, но не за пустозвона…

Друзья не переставали волноваться. Одоевский прислал записку: «Карамзину, Плетневу и Далю. Напиши одно слово: лучше или хуже. Несколько часов назад Арендт надеялся».

Когда состояние умирающего было совсем плохо, Вяземская послала записку Жуковскому: «Умоляю приходите тотчас. Арендт говорит, что он едва ли переживет ночь».

В течение всего дня 28 января Пушкин часто призывал жену, но разговаривать ему было трудно. Говорил лишь, что чувствует, как слабеют его силы.

8 часов вечера. Пушкину захотелось повидать друзей. Они

входили один за другим.

С ними прощался он среди тяжких мучений и судорожных движений, но с духом бодрым и с нежностью.

Вяземскому Пушкин крепко пожал руку и сказал:

– Прости, будь счастлив…

Через короткое время он сказал:

– Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне было бы легче умирать… А что же Карамзиной здесь нет?

Послали за Екатериной Андреевной Карамзиной. Она приехала очень быстро. Слабым, но явственным голосом Пушкин сказал:

– Благословите меня…

Она благословила его издали. Но Пушкин сделал ей знак подойти и сам положил ее руку себе на лоб. В письме к сыну Андрею Карамзина необычайно трогательно и сердечно описывала свое прощание с Пушкиным:

«…Пишу тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестию: закатилась звезда светлая. Россия потеряла Пушкина! Он дрался в середу на дуэли с Дантесом, и он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерась, в пятницу, отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо, когда узнаешь, что Арендт с первой минуты сказал, что никакой надежды нет!

Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также, а потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: перекрестите еще; тогда я опять, пожавши еще раз его руку, уже его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке, он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, но очень хорош; спокойствие выражалось на его прекрасном лице…».

Это изумительное письмо Е. А. Карамзиной было найдено в 1955 году в Нижнем Тагиле. Его нашла в старинном альбоме, среди старых книг, бухгалтер нижнетагильского рудоуправления О. Ф. Полякова, разбирая небольшую библиотеку своего умершего восьмидесятичетырехлетнего дяди, маркшейдера П. П. Шамарина, служившего еще на уральских заводах Демидовых. Местный краевед Н. С. Боташев сообщил о находке в Москву.

В потертом сафьяновом альбоме с золотым тиснением и потрепанным корешком оказались аккуратно подклеенными сто тридцать четыре письма на трехстах сорока страницах – переписка семьи Карамзиных, относящаяся к 1830–1840 годам. Письма написаны были на тонкой, пожелтевшей от времени

бумаге, уже выцветшими чернилами, почти все на французском языке.

Авторы найденных писем – вдова Карамзина Екатерина Андреевна, ее сын Александр и дочь, Софья Николаевна, дружившая с Жуковским, Пушкиным, Лермонтовым и другими замечательными людьми той эпохи. Письма эти писались в разные города Европы находившемуся там на излечении Андрею Карамзину, который позже женился на вдове рано умершего миллионера Демидова, известной красавице Авроре, урожденной Шернваль. С ней он дважды приезжал в Нижний Тагил, в 1854 году уехал добровольцем в армию, был убит, и письма остались в Нижнем Тагиле.

Такова история этой необычайной «тагильской» находки. Карамзины знали во всех подробностях семейную историю Пушкиных, у них бывали Пушкин и Дантес, их посещали все друзья поэта. Письма охватывают наиболее острый период тяжкой жизненной драмы Пушкина – с 27 мая 1836 года по 30 июля 1837 года. Писались они под свежим впечатлением событий, для печати не предназначались, кровавого исхода никто не предвидел, письма правдивы и искренни, и в этом их исключительная ценность. Они еще раз подтверждают, что убийство поэта было подготовлено петербургскими придворными кругами и что во главе этого заговора стоял сам Николай I.

29 января 1837 года

Набережная Мойки и все прилегающие к ней улицы вплоть до Дворцовой площади были заполнены толпами народа. По словам современников, такого скопления людей на улицах Петербурга не было с 14 декабря 1825 года – дня восстания декабристов. Чтобы поддерживать на улицах порядок, пришлось вызвать, воинский наряд.

В передней какой-то старичок сказал с простодушным удивлением:

– Господи боже мой! Я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было!

«Литературный талант есть власть», – писал поэт Языков, и это особенно внушительно выразилось в дни болезни и смерти Пушкина…

В столовой толпилось много людей. Парадную дверь закрыли, и все входили и выходили через маленькую дверь швейцарской, на которой углем было написано: «Пушкин». На этой же двери Жуковский вывешивал бюллетени о ходе болезни.

12 часов дня. Около двенадцати часов дня Пушкин попросил зеркало, посмотрелся в него и махнул рукой.

– Опустите сторы, я спать хочу… – сказал он.

Позже пощупал себе пульс и тихо сказал:

– Смерть идет!

1 час 15 минут. За полчаса до кончины ему захотелось моченой морошки.

– Позовите жену, пусть она меня покормит…

Вошла Наталья Николаевна, стала на колени у смертного ложа мужа, поднесла ему ложечку, другую и приникла лицом к изголовью.

Пушкин погладил ее по голове и сказал:

– Ну, ну, ничего, слава богу, все хорошо!

– Вот вы увидите, что он будет жив! – сказала она, выходя из кабинета, окружающим.

У постели больного находился в это время Даль. Умирающий несколько раз сжимал его руку и говорил:

– Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну, пойдем!..

Придя в себя, он сказал:

– Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу по этим книгам и полкам – и голова закружилась.

– Отходит! – тихо сказал Даль.

2 часа 45 минут дня. Пульс стал падать и скоро совсем не ощущался. Руки начали холодеть.

Минут за пять до смерти Пушкин попросил повернуть его на правый бок и тихо сказал:

– Жизнь кончена!

– Да, конечно, – сказал Даль, – мы тебя повернули…

– Кончена жизнь!.. – произнес Пушкин внятно. – Теснит дыхание…

Это были последние слова Пушкина. Часы показывали два часа сорок пять минут дня. Дыхание прервалось.

– Что он? – тихо спросил Жуковский.

– Кончилось! – ответил доктор Даль.

Прекрасная голова поэта склонилась. Руки опустились. Всех поразило величавое и торжественное выражение его лица.

У ложа умирающего в это время находились: Жуковский, Вяземский с женой, А. Тургенев, Данзас, Загряжская, врачи Спасский и Андреевский. Они слышали последний вздох поэта. Доктор Андреевский закрыл ему глаза.

«Между тем тишина уже нарушена, – записал А. И. Тургенев. Мы уже говорили вслух, и этот шум ужасен для слуха, ибо он говорит о смерти того, для коего мы молчали. Он умирал тихо, тихо…»

За минуту перед кончиной в кабинет вошла жена. Теперь она уже видела мужа умершим. Схватив Даля за руку, она в отчаянии крикнула:

– Я убила моего мужа, я причиною его смерти, но богом свидетельствую – я чиста душою и сердцем!..

Пушкин умер через 46 часов после дуэли. Часы на камине показывали 2 часа 45 минут. На этой минуте их остановили.

Сразу же послали за скульптором Гальбергом, который снял с мертвого маску.

3 часа дня. Через несколько минут после кончины Пушкина Жуковский вышел на набережную и со слезами на глазах объявил:

– Пушкин умер!

– Убит! – раздалось из огромной, стоявшей перед окнами дома толпы и как эхо, отозвалось со всех сторон.

Смерть Пушкина глубоко взволновала общественное мнение. В самую толщу народную проникли уже идеи декабристов и вольнолюбивые стихи Пушкина. Его знала вся Россия. Незадолго до смерти поэта вышло третье издание «Евгения Онегина», и в три дня было раскуплено более двух тысяч экземпляров – факт исключительный, небывалый для того времени.

На Набережной Мойки не было ни прохода, ни проезда. Толпы народа и экипажи до глубокой ночи осаждали квартиру поэта. Извозчиков нанимали, просто говоря: «К Пушкину!».

30 января 1837 года.

Десятки тысяч людей всех состояний побывали у дома Пушкина во время его болезни и после гибели. Молодые люди и старики, дети и учащиеся, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях приходили поклониться любимому поэту. Не было только здесь представителей великосветской черни, которую Пушкин так презирал…

Двадцатитрехлетний М. Ю. Лермонтов написал в те дни стихотворение «Смерть Поэта», которое с необычайной быстротой распространилось по Петербургу и затем проникло в списках во все уголки России:

Погиб Поэт! – невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один как прежде… и убит!

Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор,

И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь… – он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навел удар… спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалёка,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..
И он убит – и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок – они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шопотом насмешливых невежд,
И умер он – с напрасной жаждой мщенья,

С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных рабов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

* * *

31 января 1837 года

Самодержец всея Руси боялся и мертвого Пушкина. Он опасался, что в кабинете автора «Вольности» будут найдены какие-либо компрометирующие его документы, и сразу же после смерти поэта гроб с его телом выставили в переднюю, а кабинет опечатали.

Здесь он и лежал в своем темно-коричневом сюртуке, а не в придворном камер-юнкерском мундире, как того хотел бы царь. Сюда и пришли 30 и 31 января отдать последний долг поэту десятки тысяч людей всех возрастов и положений. Все глубоко возмущались иностранцем, посягнувшим на честь и славу России.

1 февраля 1837 года

Отпевание Пушкина назначено было на 1 февраля в церкви при Адмиралтействе. Общественное мнение, однако, с такой огромной силой, с такой глубокой скорбью и негодованием отозвалось на события и обстоятельства убийства поэта, что, по приказанию

царя, гроб с телом Пушкина ночью, тайком, перевезли для отпевания в Конюшенную церковь. На пригласительных билетах между тем была указана церковь при Адмиралтействе.

В квартиру при выносе тела невозможно было попасть. Пропустили всего двенадцать человек – родных и самых близких друзей поэта. Они собрались 31 января в гостиной, куда перенесли для прощания гроб с телом Пушкина, но сюда же явились и жандармы во главе с Дубельтом.

Их было много, «целый корпус», и Вяземский писал впоследствии, что у гроба собрались в большом количестве не друзья, а жандармы.

Толпы народа собрались на Конюшенной площади, но в церковь пропускали только тех, кто был в мундире, и высшую знать по пригласительным билетам.

После отпевания лицейские товарищи вместе с И. А. Крыловым и В. А. Жуковским перенесли гроб в церковный подвал, где он простоял ночь и весь следующий день.

3 февраля 1837 года

Днем не решились перевозить тело. В ночь на 3 февраля гроб с останками величайшего русского поэта обернули рогожей, увязали веревками, поставили на простые дроги, прикрыли соломой и тайком увезли в Михайловское. Проводить Пушкина в его последний путь царь разрешил только одному А. И. Тургеневу. С ним выехал и дядька Пушкина Никита Козлов. Обоих их сопровождал жандармский офицер.

А. И. Тургенев писал друзьям через несколько дней после похорон:

«3 февраля, в полночь, мы отправились из Конюшенной церкви с телом Пушкина в путь; я с почтальоном в кибитке позади тела; жандармский капитан впереди оного. Дядька покойного желал также проводить останки… к последнему его жилищу, куда недавно возил он же и тело его матери; он стал на дрогах, кои везли ящик с телом, и не покидал его до самой могилы».

«В полночь, – писал впоследствии Жуковский отцу Пушкина, – сани тронулись: при свете месяца несколько времени я следил за ними глазами; скоро они поворотили за угол дома, и все, что было земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих…

Мертвый мчался к своему последнему жилищу, мимо своего опустевшего сельского, домика, мимо трех любимых сосен, им давно воспетых…»

В Пскове губернатор прочел Тургеневу царское распоряжение: воспретить при следовании тела Пушкина «всякое особенное изъявление, всякую встречу».

Гроб с телом поэта отвезли в Михайловское без всяких проводов. Крестьяне вырыли могилу у стен древнего Успенского собора Святогорского монастыря, на Синичьей горе.

4 февраля 1837 года

«6 февраля, в 6 часов утра, – писал А. Тургенев, – отправились мы – я и жандарм!! – опять в монастырь… мы отслужили панихиду в церкви и вынесли на плечах крестьян и дядьки гроб в могилу…»

«Я препровождал… – читаем мы рассказ этого жандарма, полковника Ракеева. – Назначен был шефом нашим препроводить тело Пушкина. Один я, можно сказать, и хоронил его».

Тургенев бросил в могилу первую горсть земли, вторую завернул в белый носовой платок. Сестры Осиповы принесли цветы, собравшиеся крестьяне плакали. Так похоронили величайшего русского поэта.

* * *

Гибель Пушкина настолько потрясла всю Россию, что министр народного просвещения Уваров распорядился «соблюсти в газетах надлежащую умеренность и тон приличия» при печатании каких-либо сообщений о смерти поэта и приказал все эти сообщения пропускать через цензуру.

В газете «Литературные прибавления» к «Русскому инвалиду» появилось написанное В. Ф. Одоевским короткое сообщение в черной рамке:

«Солнце нашей Поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно; всякое Русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое Русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина?.. К этой мысли нельзя привыкнуть!

29-го января, 2 ч. 45 м. пополудни».

Прочитав этот некролог, Уваров вызвал редактора газеты Краевского.

– Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе?.. – спросил его Уваров. – «Солнце поэзии»! Помилуйте, за что такая честь? «Пушкин скончался… в середине своего великого поприща»! Какое это такое поприще? Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр,

государственный муж? Писать стишки не значит еще проходить великое поприще!..

Строгий выговор получил от Бенкендорфа и Н. И. Греч за строки, напечатанные в «Северной пчеле»: «Россия обязана Пушкину благодарностью за двадцатидвухлетние заслуги его на поприще словесности».

Цензор А. В. Никитенко вынужден был вымарать несколько таких же строк, назначавшихся для «Библиотеки для чтения». «И все это, – записал он в своем дневнике, – делалось среди всеобщего участия к умершему, среди всеобщего глубокого сожаления. Боялись, но чего?»

«Наши журналы и друзья Пушкина не смеют ничего про него печатать, – писал Вяземский в марте 1837 года своим друзьям в Париж, – с ним точно то, что с Пугачевым, которого память велено предать забвению».

Отклики друзей на смерть Пушкина показывают, что они ценили в нем не только гениального поэта, но и человека, с которым связаны были глубокой дружбой. Такими же настроениями пронизаны отклики людей, лично даже не знавших Пушкина.

Тютчев писал:

Ты был богов орган живой,
Но с кровью в жилах… знойной кровью.
И сею кровью благородной
Ты жажду чести утолил —
И осененный опочил
Хоругвью горести народной.
Вражду твою пусть тот рассудит,
Кто слышит пролитую кровь…
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет.

«И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет… – вспоминал И. А. Гончаров. – Это было в департаменте. Я… горько, горько, не владея собою, отвернувшись к стене и закрывая лицо руками, заплакал. Тоска ножом резала сердце, и слезы лились в то время, когда все еще не хотелось верить, что его уже нет, что Пушкина нет! Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я склонял мысленно колени, лежал бездыханным… И я плакал горько и неутешно, как плачут по получении известия о смерти любимой женщины… Нет, это не верно, – по смерти матери, – да, матери…»

Брат Пушкина Лев Сергеевич находился в то время со своим

отрядом в деле против чеченцев. Он писал отцу: «Если бы у меня было сто жизней, я все бы их отдал, чтобы выкупить жизнь брата».

«Плачь, мое бедное отечество! Не скоро родишь ты такого сына! На рождении Пушкина ты истощилось!..» – писал матери из Парижа Карамзин.

Гоголь узнал о гибели Пушкина в Риме. Он был потрясен и писал: «…никакой вести нельзя было хуже получить из России… Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое, вот что меня только занимало и одушевляло мои силы».

«Как странно! – писал Гоголь Плетневу в сентябре 1839 года из Москвы в Петербург. – Боже, как странно! Россия без Пушкина. Я приеду в Петербург, и Пушкина нет. Я увижу вас – и Пушкина нет…»

«Прострелено солнце!» – написал А. В. Кольцов.

«Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога», – писал юный И. С. Тургенев.

На смерть Пушкина отозвался и польский поэт Адам Мицкевич:

«Пуля, поразившая Пушкина, нанесла интеллектуальной России страшнейший удар… – писал он. – Ни одной стране не дано, чтобы в ней больше, нежели один раз, мог появиться человек с такими выдающимися и такими разнообразными способностями».

Лицейский товарищ Пушкина, Ф. Ф. Матюшкин, прислал лицейскому старосте М. Л. Яковлеву из Севастополя полные душевной скорби строки:

«Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев! Как ты мог это допустить? Наш круг редеет; пора и нам убираться…»

У гробницы Александра Сергеевича Грибоедова в Тифлисе ссыльный декабрист Александр Бестужев (Марлинский) горько рыдал о погибших «Александре и Александре», и сам он, третий поэт Александр, тоже пал три месяца спустя.

В. А. Жуковский написал, стоя у гроба Пушкина:

Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив. Голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза.
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем, – в жизни такого

Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилося мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось:
что видишь?

* * *

«Собираем теперь, – писал Вяземский, – что каждый из нас видел и слышал, чтобы составить полное описание, засвидетельствованное нами и документами».

В. А. Жуковский объединил все и опубликовал в виде письма к отцу поэта, в первом посмертном томе пушкинского «Современника», вышедшем в 1837 году под редакцией П. А. Вяземского, В. А. Жуковского, А. А. Краевского, В. Ф. Одоевского и П. А. Плетнева.

Приводим здесь его вступительную часть и начало:

«ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ ПУШКИНА

Россия потеряла Пушкина в ту минуту, когда гений его, созревший в опытах жизни, размышлением и наукою, готовился действовать полною силою – потеря невозвратимая и ничем не вознаградимая. Что бы он написал, если бы судьба так внезапно не сорвала его со славной, едва начатой им дороги? В бумагах, после него оставшихся, найдено много начатого, весьма мало конченного; с благоговейною любовию к его памяти мы сохраним все, что можно будет сохранить из сих драгоценных остатков; и они в свое время будут изданы в свет. Здесь сообщаются читателям известия о последних минутах его жизни. Они описаны просто и подробно в письме к несчастному отцу его.

«Я не имел духу писать к тебе, мой бедный Сергей Львович. Что я мог тебе сказать, угнетенный нашим общим несчастием, которое упало на нас, как обвал, и всех раздавило? Нашего Пушкина нет! Это, к несчастию, верно; но все еще кажется невероятным. Мысль, что его нет, еще не может войти в порядок обыкновенных, ясных, ежедневных мыслей. Еще по привычке продолжаешь искать его, еще так естественно ожидать с ним встречи в некоторые условные часы; еще посреди наших

разговоров как будто отзывается его голос, как будто раздается его живой, веселый смех, и там, где он бывал ежедневно, ничто не переменилось, нет и признаков бедственной утраты, все в обыкновенном порядке, все на своем месте; а он пропал и навсегда – непостижимо. В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная Гения, светлая надеждами. Не говорю о тебе, бедный дряхлый отец; не говорю об нас, горюющих друзьях его. Россия лишилась своего любимого, национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда его созреванье совершилось, пропал, достигнув до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь с кипучею, буйною, часто беспорядочною силою молодости, тревожимой Гением, предается более спокойной, более образовательной силе здравого мужества, столь же свежей, как и первая, может быть, не столь порывистой, но более творческой. У кого из Русских с его смертию не оторвалось что-то родное от сердца?..»

Последний том «Современника», вышедший в 1837 году с этим письмом Жуковского, был своего рода венком друзей на могилу Пушкина. В нем были посмертно опубликованы и произведения поэта: «Медный всадник», «Герой», «Д. В. Давыдову», «Лицейская годовщина. 1836», «Молитва», «Отрывок», «Последний из родственников Иоанны д'Арк», «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая», «Сцены из рыцарских времен».

* * *

Перед нами прошла вся жизнь поэта.

Со дня его гибели протекли почти полтора столетия, но он никогда не покидал нас. Его «песнь, – писал А. И. Герцен, – продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в отдаленное будущее».

Отдаленное будущее пушкинской поры – это наше время, это мы сегодня. Пушкин бессмертный всегда меж нами. И сам он за несколько месяцев до гибели, 21 августа 1836 года, предсказал свое бессмертие, когда писал:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.

И удивительно, как оживает сегодня образ Пушкина в аллеях Михайловского парка. Попав как-то в заповедник, А. В. Луначарский писал:

«Когда ходишь теперь по запустелому парку, с такой страшной интенсивностью думаешь о Пушкине, что кажется, нисколько не удивился бы, если бы вдруг из купы деревьев или из-за угла здания появилась бы его задумчивая фигура. Позднее, когда я уехал, мне живо представилось, что я действительно видел его там… Мне помнилось, что он вышел из густой тени на солнце, упавшем на его курчавую непокрытую голову, задумчиво опущенную, и будто он поднял голову и посмотрел на нас, людей, живущих через 100 лет, рассеянным взором. И за рассеянностью этих глаз была огромная, ушедшая в себя мысль…».

Пушкин знал свое место в жизни России. За пять месяцев до гибели он четко определил свое великое будущее – «Нет, весь я не умру…». И, гением своим ощущая великую к нему всенародную любовь будущих поколений, к нам обратил свое вдохновенное, трогательное, поэтическое завещание:

…Увы, моя глава
Безвременно падет: мой недозрелый гений
Для славы не свершил возвышенных творений;
Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдет, тропою суеверной

Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь…

Вместо эпилога. А. И. Гессен – загадочный хранитель тайны первородства «Слова о полку Игореве»

Готовясь к выступлению на Бабушкинском семинаре по книге А. И. Гессена: «Набережная Мойки, 12. Последняя квартира А. С. Пушкина», я обратил внимание на одну «странность» в тексте, а именно: «“Слово о полку Игореве” – героическая песнь о неудачноя походе Новгород-Северского князя Игоря против половцев весной 1185 года – было найдено в *1795 году среди старинных рукописей Спасо-Ярославского монастыря». Далее сообщается, что «…рукопись была приобретена известным любителем и собирателем русских древностей А. И. Мусиным-Пушкиным, но при пожаре Москвы в 1812 году она сгорела». Нет, «странность» не в том, что граф, трепетно относящийся к добываемым с таким трудом древностям, мог допустить такую небрежность, оставив в доме на Разгуляе древние рукописи, в том числе такой бесценный шедевр, как «Слово о полку Игореве», эвакуировав при этом в свое имение под Нижним Новгородом все ценности, мебель и даже бочки с соленьями и вареньями. Этот факт тоже вызывал недоверие у исследователей, пытавшихся разобраться в довольно странных обстоятельствах приобретения графом раритета.*

«Странность», о которой идет речь, – это непонятная дата приобретения А. И. Мусиным-Пушкиным протографа СПИ – 1795 год! Всем участникам семинара хорошо было известно, что граф приобрел эту рукопись в 1788 году, то есть на 7 лет раньше, о чем А. И. Гессен просто обязан был знать, если он взялся освещать событие, случившееся 27 сентября 1832 года, когда в одной из аудиторий Московского университета состоялся знаменитый спор между А. С. Пушкиным и М. Т. Каченовским о первородстве СПИ. К моменту написания Гессеном книги заканчивалась широкомасштабная и долголетняя дискуссия по поводу выдвинутой французским славистом Анри Мазоном версии, что «Слово о полку Игореве» написал не кто иной, как сам граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин. В ходе обсуждения этой версии ни у кого даже мысли не возникало, что граф мог приобрести рукопись в 1795 году. Достаточно сослаться на непререкаемый авторитет главного «словиста» страны академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который писал, опираясь на всем известный труд

К. Ф. Калайдовича[57]*, «Очевидно, что покупка «Слова» состоялась не ранее 1788 года (и уж никак не позднее. – А.К.), так как в письме А. И. Мусина-Пушкина ясно говорится о том, что покупка была сделана у Иоиля после упразднения Спасо-Преображенского монастыря (здесь академиком, а ранее В. В. Даниловым, на статью которого ссылался Д. С. Лихачев, допущена неточность в названии Спасо-Ярославского монастыря. – А.К.), а упразднение его состоялось в 1788 году»*[58].

Откуда могла появиться эта дата? Предупредив возможные вопросы по этому поводу со стороны участников семинара, я подготовил ответ, со ссылкой на такой непререкаемый авторитет, как Николай Михайлович Карамзин (1766–1826), который поместил в октябрьском номере за 1797 г. гамбургского журнала «Spectateur du Nord», издававшемся на французском языке, статью о русской народной поэзии, заканчивающуюся таким сообщением: «Вы может быть удивитесь более, если узнаете, что два года тому назад (то есть в 1795 году. – А.К.) открыли в наших архивах отрывок поэмы под названием «Песнь Игоревых воинов», которую можно сравнить с лучшими Оссиановскими поэмами и которая написана в XII столетии. Слог, исполненный силы, чувства высочайшего героизма; разительные изображения, почерпнутые из ужасов природы, составляют достоинства сего отрывка, в котором поэт, представляя картину одного кровавого сражения, восклицает: Увы! чувствую, что кисть моя слаба; я не имею дара великого Бояна, сего соловья времен прошедших; следственно, в России и до него были великие поэты, которых творения поглощены веками. Летописи наши не говорят об этом Бояне, мы не знаем, когда он жил и когда пел. Но это почтение, воздаваемое его дарованиям таким поэтом, заставляет чувствительно жалеть о потере его творений»[59].

В подтверждение того, что А. И. Гессен мог стать «жертвой» заблуждения в силу неглубокого знания вопроса, о котором пишет, я привел для примера статью Н. И. Сутта «Слово о полку Игореве» (К 750-летию его создания), опубликованную в том же номере «Нового мира» на стр. 252–259, где, в частности, автор пишет: «Найденное в 1795 году среди старинных рукописей Спасо-Ярославского монастыря и впервые изданное в 1800 г. «Слово о полку Игореве» сразу же привлекло внимание ученых, поэтов и просто любителей старины. Ученые писали о «Слове» книги, стремясь дать исчерпывающий анализ текста, правильно истолковать малопонятные или незнакомые слова, пытались разгадать имя автора; поэты находили в нем источник вдохновения.

Находка Мусина-Пушкина привела в смятение знатоков

древней письменности. Казалась слишком нелепой возможность такой высоты поэтической культуры для Руси домонгольского периода, какая характеризует песнь о полку Игореве».

Однако руководитель семинара с моей версией не согласился, усмотрев в этой «очевидной ошибке» некую тайну, которую А. И. Гессен не очень аргументированно скрывает. Он сослался на тот факт, что великие пушкинисты, как правило, были также известными «словистами» [С. М. Бонди (1891–1983); Гудзий Н. К. (1887–1965); Д. С. Лихачев (1906–1999); Лотман Ю. М. (1922–1993); Новиков И. А. (1877–1959); Прийма Ф. Я. (1909–1998); М. А. Цявловский (1883–1947) и др.], а судя по мастерству написания первой книги и нескольких статей, опубликованных в газетах и журналах за последние пять лет, в литературу пришел неординарный пушкинист и «словист» одновременно. Уточнив у профессора, о каких статьях А. И. Гессена идет речь, я с той поры стал страстным собирателем его статей и заметок, и к началу 1975 года у меня уже была сформирована целая папка вырезок и копий этих сочинений пушкиниста, разбросанных в различных журналах и газетах.

Почему мной упомянут именно 1975 год? Дело в том, что именно в этом году произошел коренной переворот на пути моих поисков автора «Слова о полку Игореве» и я убедился, что А. И. Гессен как-то причастен к тайне первородства этого шедевра.

Случилось так, что, в то время как в моей домашней библиотеке стояли рядком пять книг А. И. Гессена и папка с его статьями, я не мог приобрести еще и третью его книгу (судя по дате ее выпуска издательством «Наука»): «“Все волновало нежный ум…” Пушкин среди книг и друзей». Осенью этого года, когда природа одарила москвичей продолжительным и очень теплым «бабьим летом», я оказался в достаточно длительной служебной командировке в столице. Волны «жизненной реки» редко заносили меня в Москву, это было всего лишь второе или третье посещение столицы, которое я по полной использовал для знакомства с ее достопримечательностями. Выходные дни я целиком использовал для пеших прогулок по заранее намеченным маршрутам, на пути которых обязательно «попадался» один или несколько книжных магазинов. Домой уже было отправлено несколько бандеролей с книгами по специальности, но и, конечно, книги из «Пушкинианы» и по «Слову». Уже перед самым отъездом из Москвы в одном из букинистических «книжных развалов» я обнаружил книгу А. И. Гессена – «Все волновало нежный ум…». Радость находки, похоже, светилась на моем лице, и продавец назвал такую цену, что чуть ли не охнув, но без колебаний я выложил названную сумму. Некоторые профессиональные «книготорговцы», как я

заметил, являются тонкими психологами и потому, как поведет себя потенциальный покупатель, обративший внимание на ту, или иную книгу, они могут пятикопеечную, для других покупателей, книгу «впарить» за десятки или даже за сотни рублей (по ценам того времени).

Еще по пути в гостиницу, в вагоне метро, я просмотрел содержание книги и на странице 415 обнаружил главу: «Слово о полку Игореве». Тот же пассаж о времени обнаружения рукописи – 1795 год. Пробежав глазами около десяти страниц текста главы, наткнулся на 421 странице на следующий абзац, где речь шла о слушателях диспута между А. С. Пушкиным и М. Т. Каченовским: «Слушателями Каченовского были К. Д. Кавелин, А. И. Герцен, И. А. Гончаров. Они считали его главной заслугой умение будить критическую мысль, никогда ничего не принимать на веру».

К своему стыду, я абсолютно ничего не знал о К. Д. Кавелине. Мне хорошо было известно замечание А. С. Пушкина, оброненное им в стихотворении «Второе послание цензору» (1824 г):

> И даже бедный мой Кавелин-дурачок,
> Креститель Галича, Магницкого дьячок, —

которое относилось к ректору Московского университета Д. А. Кавелину. Похоже, что К. Д. Кавелин это его сын, но что о нем известно? В читальном зале гостиницы «Москва», где я квартировал, в БСЭ прочитал: «Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885), российский историк государственной школы и публицист. Участник подготовки крестьянской реформы 1861 г., автор одного из первых проектов отмены крепостного права. Сторонник умеренных преобразований при сохранении самодержавия и помещичьего землевладения. Труды: «Взгляд на юридический быт Древней России» (1847 г.), «Краткий взгляд на русскую историю» (опубл. в 1887 г.) и др.».

Сразу возникла догадка. Судя по возрасту, Дмитрий Кавелин никак не мог присутствовать на диспуте, стихийно возникшем в аудитории университета, где профессор И. И. Давыдов читал лекцию по теории искусства студентам 3-го курса (А. И. Герцен и И. А. Гончаров родились в 1812 году).

Идти в Ленинку, куда я был записан, чтобы почитать труды К. Д. Кавелина и литературу о нем, уже не оставалось времени, поскольку в кармане уже лежал билет на авиарейс с отправлением через двое суток. И тут меня осенила дерзкая мысль, а не позвонить ли самому А. И. Гессену? Тщательно продумав вопросы, которые хотелось бы задать прославленному пушкинисту, я выбрал один нейтральный: не оставил ли К. Д. Кавелин своих

воспоминаний о той исторической встрече двух непримиримых литературных оппонентов? Выяснять, почему 1795-й год и как мог оказаться в аудитории университета 14-летний мальчик, в данной ситуации я посчитал неуместным.

Найдя в телефонном справочнике Москвы домашний номер А. И. Гессена и собравшись с духом, я набрал его. Ответил женский голос. Я попросил к телефону А. И. Гессена, но меня попросили представиться. Отрекомендовавшись в качестве почитателя таланта известного пушкиниста, я тут же выпалил и свой вопрос. В свою очередь представившись как дочь А. И. Гессена, Дина Арнольдовна Гессен вежливо сообщила, что отец находится в больнице, но она, по возможности, в самое ближайшее время переадресует ему этот вопрос, о результатах немедленно мне перезвонит, и попросила мой гостиничный номер телефона. Когда я, извинившись, сообщил, что через двое суток улетаю из Москвы, она попросила мой домашний номер телефона, если в течение этих двух суток не сумеет выполнить мою просьбу.

Не сумела. По прошествии недели я уже потерял всякую надежду на звонок из Москвы, но он вдруг раздался, причем довольно поздно – ночью (разница во времени с Москвой – 4 часа). Извинившись за то, что вышла задержка по объективным обстоятельствам (я понял, что виной тому было состояние здоровья А. И. Гессена), она продиктовала ответ отца на мой вопрос: «К. Д. Кавелин оставил свои воспоминания о той исторической встрече, что помирила вечных оппонентов друг другу. Причем он, в отличие от других свидетелей диспута, уловил в конце выступления М. Т. Каченовского якобы следующую фразу: «Вы, Пушкин, хорошо знаете имя автора «Слова», поскольку не единожды упоминали его в своих эпиграммах на меня. Он жил и творил в том же веке, в котором Вы родились».

Такой ответ сначала обрадовал меня, ибо ничего не стоит из десятка эпиграмм, написанных А. С. Пушкиным на М. Т. Каченовского, вычислить те несколько эпиграмм, где наряду с самим Каченовским присутствует некое лицо, являющееся автором «Слова о полку Игореве». Разложив на столе копии эпиграмм на Каченовского, я отобрал три из них, где упоминаются иные субъекты: «Собрание насекомых», «Литературное известие» и просто «Эпиграмма», начинающаяся словами: «Там, где древний Кочерговский…».

Ниже приводятся все три эпиграммы:

Собрание насекомых

Какие крохотны коровки!
Есть, право, менее булавочной головки.

И. А. Крылов

Мое собранье насекомых
Открыто для моих знакомых:
Ну, что за пестрая семья!
За ними где ни рылся я!
Зато какая сортировка!
Вот Глинка – божия коровка,
Вот Качановский – злой паук,
Вот и Свиньин – российский жук,
Вот Олин – черная мурашка.
Вот Раич – мелкая букашка.
Куда их много набралось!
Опрятно за стеклом и в рамах
Они, пронзенные насквозь,
Рядком торчат на эпиграммах.

Никто из четырех современников А. С. Пушкина, в той или иной степени причастных к литературной деятельности, не «тянет» на авторство «Слова» уже потому, что вопреки «воспоминаниям» К. Д. Кавелина, они активную часть своей жизни провели в XIX веке: Глинка Федор Николаевич (1786–1880); Свиньин Павел Петрович (1787–1839); Олин Валерьян Николаевич (1788–1841); Раич (Амфитеатров) Семен Егорович (1792–1855).

Литературное известие

В Элизии Василий Тредьяковский
(Преострый муж, достойный много хвал)
С усердием принялся за журнал.
В сотрудники сам вызвался Поповский,
Свои статьи Елагин обещал;
Курганов сам над критикой хлопочет,
Блеснуть умом Письмовник снова хочет;
И, говорят, на днях они начнут,
Благословясь, сей преполезный труд, —
И только ждет Василий Тредьяковский,
Чтоб подоспел *** ****.

В этой эпиграмме перечисляются литераторы XVIII века, которые были уже в мире ином, кроме М. Т. Каченовского, который из цензурных соображений обозначен звездочками, означающими количество слогов в имени и фамилии последнего: «*Михайло Каченовский*». *В эпиграмме высмеивается журнал «Вестник Европы», редактируемый М. Т. Каченовским, за его отсталые мнения и тон. Действие переносится в царство мертвых (Элизий). При этом: Поповский Н. Н. (1730–1760) – ученик Ломоносова, первый редактор «Московских ведомостей»; Елагин И. П. (1725–1794) известен архаическим слогом своих переводов; Курганов Н. Г. (1725–1796) – профессор математики и навигации (назван Письмовником по названию самого популярного его произведения, представлявшего собой хрестоматию разнообразного содержания).*

Наконец, третья эпиграмма:

Эпиграмма

Там, где древний Кочерговский
Над Ролленом опочил,
Дней новейших Тредьяковский
Колдовал и ворожил:
Дурень, к солнцу став спиною,
Под холодный Вестник свой
Прыскал мертвою водою,
Прыскал ижицу живой.

Смысл эпиграммы в том, что «дурень», сказочный персонаж, делает все невпопад: становится спиной к солнцу (в данном случае – к истинному уму, знанию); прыскает мертвой водой (которая, по сказочным представлениям, не может оживить мертвое тело, то есть журнал Каченовского); в то же время прыскает живой водой, чтобы оживить давно вышедшую из употребления букву ижица (в журнале «Вестник Европы» использовалась архаическая форма написания слов греческого происхождения с употреблением буквы ижицы, что вызывало насмешки). Напечатана в «Московском телеграфе», 1829 г., № 8. В том же номере была указана «опечатка», а именно: в 3-й строке снизу вместо «*Вестник» следует читать «Веник». Это указание было сделано с целью усиления сатирического смысла эпиграммы.*

Сопоставив между собой две последние эпиграммы, мы находим, что автором «Слова о полку Игореве» является Василий

Кириллович Тредедиаковский (Тредьяковский)! Все так просто, можно воскликнуть: «Эврика»!

Но тут же наступило отрезвление. А почему в течение 10 лет, пока я искал книгу А. И. Гессена «Все волновало нежный ум…», никто не удосужился произвести эти простейшие сопоставления, которые я осуществил за час с небольшим, и уже тогда чуть не воскликнул: «Эврика»? Неужели А. И. Гессен только мне за несколько месяцев до своей кончины выдал эту тайну (он умер 12.03.1976 г.)? Конечно же, нет! Таких любителей по поиску автора «Слова» пруд пруди, и они, конечно же, задавали тот же самый вопрос и получали тот же ответ. Есть еще ИРЛИ (Пушкинский Дом), где отслеживаются все печатные издания, относящиеся к А. С. Пушкину. Наверняка специалисты ИРЛИ знали об этой мистификации А. И. Гессена и относили ее на счет возраста автора.

Разочарование было полнейшим, сродни затяжной депрессии, длившейся несколько лет, в течение которых ничто не могло меня побудить к дальнейшему розыску автора «Слова». Мое депрессивное состояние усугубилось еще и тем, что через 13 лет при случайной встрече с товарищем студенческих лет Иваном Госсеном (Гессеном, Гусевым) я узнал, что А. И. Гессен превосходно знал «Слово о полку Игореве» и его историю с приобретением протографа А. И. Мусиным-Пушкиным. Стало быть, мистификация была и в том, что А. И. Гессен упорно называл дату находки А. И. Мусиным-Пушкиным – 1795 год.

Тридцать лет прошло с той памятной осени 1975 года, когда я посчитал себя пойманным на элементарной мистификации гениального пушкиниста. После встречи с доктором «N», описанной в нашей книге, я убедился, что мое предположение, будто сотрудниками ИРЛИ была отвергнута версия А. И. Гессена о том, что четырнадцатилетний К. Д. Кавелин мог услышать подобное откровение М. Т. Каченовского и описать свое впечатление в мемуарах[60], подтвердилось.

К этому времени я тщательно проштудировал труды К. Д. Кавелина, а это четыре огромных фолианта по 800–900 страниц каждый, подготовленных к изданию, уже после смерти автора, его племянником Д. А. Корсаковым (1843–1919) – известным историком. Он также подготовил и опубликовал в первом томе собрания сочинений К. Д. Кавелина биографию своего дяди: «Жизнь и деятельность К. Д. Кавелина». Никаких воспоминаний 14-летнего мальчика я не нашел, мало того, К. Д. Кавелин вообще ни разу не упомянул о «Слове о полку Игореве» и фактически не упомянул своего великого современника А. С. Пушкина. Лишь в некрологе на смерть известного

литературного мецената Авдотьи (Евдокии) Петровны Елагиной мельком отмечено, что в славянофильском литературном салоне Елагиной «…часто бывал и А. С. Пушкин» (то есть наряду с самим К. Д. Кавелиным, тогдашним студентом Московского университета. – А.К.). Подумать только, студент, подающий надежды стать писателем, встречался с самим А. С. Пушкиным, и об этом ни слова! Нам удалось разгадать эту тайну умолчания Кавелина, который был участником «эстафеты» по передаче тайны первородства «Слова о полку Игореве» конца XVIII века в век девятнадцатый – двадцатый, о чем подробно изложено в вышеупомянутой книге А. Костина.

Поведение А. И. Гессена напоминало поведение К. Д. Кавелина: он знает некую тайну о первородстве «Слова о полку Игореве», хотя до поры до времени вынужден скрывать информацию о ней, но на закате жизни, когда ему уже ничто не угрожало, он открытым текстом называет автора «Слова о полку Игореве», но ему никто не верит, поскольку слишком абсурдным и вызывающим выглядит это признание.

Тогда становится понятным странное отношение А. И. Гессена к своим именитым родственникам и поведение родственников по отношению к хранителю тайны. Главная задача при этом заключалась в том, чтобы отвести от А. И. Гессена как карающий меч победителей в Гражданской войне, так и нож идеологической гильотины 1937 года. Понятна также и «слащавая» лояльность А. И. Гессена к новой власти, к В. И. Ленину и Г. И. Петровскому.

Подумать только, работая спецкором в Государственной думе свыше 11 лет, он ни словом не обмолвился о своих четвероюродных братьях – депутатах II-й Государственной думы – Иосифе Владимировиче Гессене и Владимире Матвеевиче Гессене, в то время как о депутате 4-й Государственной думы – большевике Григории Ивановиче Петровском он вспоминает с глубоким пиететом, с которым до конца жизни оставался «на дружеской ноге». Лучшей «индульгенции» от «греховного» родства с яркими представителями «клана Гессенов» трудно себе вообразить. Г. И. Петровский хотя и был понижен с высокой должности Председателя Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета (ВУЦИК), которую занимал без малого 20 лет (1919–1938 гг.), до уровня всего лишь заместителя директора Музея Революции СССР и лишен высокого членства в качестве кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 1926 по 1939 год, но под нож пролетарской секиры не попал и благополучно дожил до 1958 года.

Парадоксально, но название Днепропетровска, данное городу в честь Г. И. Петровского при переименовании Екатеринославля,

сохранилось до наших дней и нынешний губернатор Днепропетровской области олигарх и гонитель всего русского и, конечно, советского Коломойский даже не поднимает вопроса о переименовании свой вотчины. Видимо, ожидает, когда Верховная Рада по собственной инициативе возбудит вопрос о переименовании Днепропетровска в Коломойск.

Проанализировав завещание доктора «N», что опубликовать информацию об авторстве «Слова» можно лишь тогда, когда его товарищ по студенческим годам, ныне работающий в ИРЛИ (это 2005 год), выйдет на пенсию, я все более и более убеждался, что А. И. Гессен никого не вводил в заблуждение, а открытым текстом раскрыл тайну, которую тщательно скрывал на протяжении сорока лет.

Начиная с этого момента, я тщательно собирал сведения о жизни и творчестве Василия Кирилловича Тредиаковского, и передо мной из забытия воссоздавалась мощная, колоритная фигура великого патриота России, гениального ученого, но в то же время трагического неудачника, гонимого высокородными вельможами, приближенными к трону и власть предержащими.

Толчком к публикации накопленных сведений послужила книга В. М. Богданова и Н. В. Носова «“Слово о полку Игореве” – великая мистификация», изданная в 2005 году в Санкт-Петербурге. К сожалению, я познакомился с ней много позже, тем не менее эта публикация снимала запрет, данный доктором «N», на обнародование имени автора «Слова о полку Игореве». Это сделали за меня авторы данной книги, назвав автором «Слова» Василия Кирилловича Тредиаковского.

Нам неизвестно, каким путем пришли авторы этой публикации к историческому открытию, возможно, в начале этого пути был также звонок А. И. Гессену, но впервые собранные воедино разрозненные сведения о гении нашей российской словесности впечатляют. К сожалению, открытие осталось незамеченным, возможно, что одной из причин непризнания со стороны специалистов явилось явно преувеличенное внимание авторов к нумерологии как методу отыскания сокрытой истины.

Нам нет нужды критиковать здесь нумерологический метод отыскания истины, например, такой пассаж, взятый из этой книги (стр. 161–162): «…В «Слове» упомянуто… 13 городов… 12 рек… 14 видов оружия… 24 представителя фауны… Итого имеем: 13 + 12 + 14 + 24 = 63 года автору, то есть «Слово» закончено написанием в 1766 году». И еще: «…в «Слове» 13 раз упомянуто слово «храбрый» и один раз – «хоробрый» (дерзкий) итого 14 раз – ровно столько же букв имеет слово В. Тредиаковский, который «воевал храбро, дерзко, во всеоружии».

В книге В. М. Богданова и Н. В. Носова встречаются весьма удачные расшифровки так называемых «темных мест», но в целом заслуга авторов заключается в том, что после публикации лингвистических изысканий академика А. А. Зализняка, довольно строго доказавшего, что в XVIII веке не мог родиться гений, сумевший опередить на 150–200 лет современную лингвистику, они дерзнули доказать прямо противоположное[61].

В заключение выскажем пожелание, что давно пришла пора издать научно обоснованную биографию гениального пушкиниста, донесшего до нас и раскрывшего тайну первородства великого творения В. К. Тредиаковского «Слова о полку Игореве» – Арнольда Ильича Гессена. Надеемся, что в этой благородной работе примет участие его многочисленное потомство, разбросанное по всему свету.

Восстановленный текст донесенного А. И. Гессеном «Слова о полку Игореве» приведен в Приложении 2 (в сносках – привнесенные в текст слова и предложения в период «затемнения» А. И. Мусиным-Пушкиным первоисточника).

А. Костин

Приложение 1. Прижизненные издания сочинений А. И. Гессена

I. Книги

Набережная Мойки, 12. Последняя квартира А. С. Пушкина. – М., «Детская литература», 1960.

«Во глубине сибирских руд…». Декабристы на каторге и в ссылке. – М., «Детская литература», 1963.

«Все волновало нежный ум…». Пушкин среди книг и друзей. – М., «Наука», 1965.

«Москва, я думал о тебе!». Пушкин в Москве. – М., «Детская литература», 1968.

Жизнь поэта. – М., «Детская литература», 1972.

«Рифма, звучная подруга…» Этюды о Пушкине. – М., «Наука», 1973.

II. Статьи, заметки

«Три памятника» – «Литература и жизнь», 1958, № 26, 6 июня.

«Возрождение из праха» – «Советская культура», 1959, № 55, 5 мая.

«Друзья поэта» – «В мире книг», 1961, № 12. С. 20–30.

«Бронзовый Пушкин» – «Литературная газета», 1962, 17 февраля.

«Болдинская осень». Этюд. – «Литературная Россия», 1965, № 50, 10 декабря. С. 16–17.

«Каменка» – «Неделя», 1965, № 48, 21–27 ноября. С. 16–17.

«Няня Пушкина» – «Семья и школа», 1966, № 1. С. 26–27.

«Жены декабристов» – «Семья и школа», 1966, № 5. С. 19–21; № 6. С. 17–19.

«Я не рожден царей забавить…». Этюды о Пушкине («Душой исполненный полет»; «Волхвы не боятся могучих владык…»; «Анчар – древо яда»). – «Литературная Россия», 1967, № 7, 10 февраля. С. 12–14.

«Наставникам, хранившим юность нашу…» – «Семья и школа», 1967, № 1. С. 50–51; 1968, № 1. С. 50–51.

«Три сосны» – «Литературная Россия», 1967, № 7. С. 14.

«Волшебные сказки» – «Семья и школа», 1968, № 1. С. 50.

«Ель-шатер» – «Семья и школа», 1968, № 1. С. 50.

«На стыке двух эпох». Воспоминания. – «Детская литература», 1969, № 4. С. 18–25.

«Песни о свободе» («Кавказский пленник»; «Гаврилиада»; «Братья разбойники») – «Труд», 1969, 6 июня. С. 3.

«Мне минуло шестнадцать лет» – «Юность», 1969, № 9. С. 112.

«Мой путь к Пушкину» – «Дошкольное воспитание», 1973, № 1. С. 116–118.

«Утро жизни» – «Дошкольное воспитание», 1973, № 1. С. 119–127.

«Лицейская республика» – «Дошкольное воспитание», 1973, № 2. С. 114–119.

«Весь день я с ними…» – «В мире книг», 1974, № 6. С. 45–47.

Приложение 2. Слово о Пълку ИгоревЂ, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова
(Реконструкция)

Не лѣпо ли ны бяшетъ, братие, начяти старыми словесы трудныхъ повѣстий о пълку ИгоревЂ, Игоря Святъславлича? Начати же ся тъй пѣсни по былинамь сего времени, а не по замышленію Бояню!

Боянъ бо вѣщий, аще кому хотяше пѣснь творити, то[62] *нъ своя вѣщиа пръсты на живая струны въскладаше, они же сами княземъ славу рокотаху: старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю предъ пълкы Касожьскыми, красному Романови Святъславличю.*

Почнемъ же, братие, повѣсть сію отъ стараго Владимера до нынѣшняго Игоря, иже истягну умь крѣпостию своею и поостри сердца своего мужествомъ, наполънився ратнаго духа, наведе своя храбрыя плъкы на землю ПоловЂцькую за землю Руськую.

О Бояне, соловію стараго времени! А бы ты сиа плъкы ущекоталъ[63].

Пѣти было пѣснь Игореви, того внуку: «Не буря соколы занесе чресъ поля широкая – галици стады бѣжать къ Дону Великому». Чи ли въспѣти было, вѣщеи Бояне, Велесовь внуче: «Комони ржуть за Сулою – звенить слава въ КыевЂ? Трубы трубять въ НовЂградЂ, стоять стязи въ ПутивлЂ». Игорь ждетъ мила брата Всеволода. И рече ему Буй Туръ Всеволодъ: «Одинъ братъ, одинъ свѣтъ свѣтлыи – ты, Игорю! Оба есвѣ Святъславличя! сѣдлаи, брате, свои бръзыи комони, а мои ти готови, осѣдлани у Курьска напереди. А мои ти Куряни свѣдоми къмети: подъ трубами повити, подъ шеломы възлелѣяны, конець копия въскръмлени, пути имь вѣдоми, яругы имъ знаеми, луци у нихъ нпряжени, тули отворени, сабли изъострени, сами скачють, акы сѣрыи влъци въ полѣ, ищучи себе чти, а князю славѣ».

Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ отъ него тьмою вся своя воя прикрыты. И рече Игорь къ дружинѣ своей: «Братие и дружино! луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти, а всядемъ, братие, на свои бръзыя комони да позримъ синего Дону»[64].

Хощу бо, рече, копие приломити конець поля Половецкаго, съ вами, Русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомь Дону».

Тогда въступи Игорь князь въ златъ стремень и поѣха по чистому полю. Солнце ему тъмою путь заступаше, нощь стонущи ему грозою птичь убуди[65].

Дивъ, кличетъ вряху древа, велитъ послушати земли незнаемѣ, Влъзѣ, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебѣ, Тьмутораканьскый блъванъ. А Половци неготовами дорогами побѣгоша къ Дону Великому. Крычать тѣлѣгы полунощы, рци, лебеди роспущени.

Игорь къ Дону вой ведетъ[66].

Влъци грозу въсрожатъ по яругамъ, орли клектомъ на кости звѣри зовутъ, лисици брешутъ на чръленыя щиты.

О Руская земле! Уже за шеломянемъ еси!

Длъго ночь мрькнетъ. Заря свѣтъ запала, мъгла поля покрыла, щекотъ славии успе, говоръ галичь убудися. Русичи великая поля чрълеными щиты прегородиша, ищучи себѣ чти, а князю – славы.

Съ зарания въ пятъкъ потопташа поганыя плъкы Половецкыя и, рассушясь стрѣлами по полю, помчаша красныя дѣвкы Половецкыя, а съ ними злато, и паволокы, и драгыя оксамиты[67]*; япончицами, и кожухы начашя мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ, и всякыми узорочьи Половѣцкыми. Чрьленъ стягъ, бѣла хорюговь, чрьлена чолка, сребрено стружие – храброму Святъславличю!*

Дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо. Далече залетѣло! Не было онъ обидѣ порождено ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чръныи воронъ, поганый Половчине! Гзакъ бѣжитъ сѣрымъ влъкомъ, Кончакъ ему слѣдъ править къ Дону Великому.

Другаго дни велми рано кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ, чръныя тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещуть синии млънъни. Быти грому великому, итти дождю стрѣлами съ Дону Великаго! Ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти о шеломы Половецкыя, на рѣцѣ на Каялѣ, у Дону Великаго.

О Руская землѣ! Уже за шеломянемъ еси!

Се вѣтри, Стрибожи внуци, вѣютъ съ моря стрѣлами на храбрыя плъкы Игоревы. Земля тутнетъ, рѣкы мутно текуть, пороси поля прикрываютъ, стязи глаголютъ: Половци идуть отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ Рускыя плъкы оступиша. Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша, а храбрии Русици преградиша чрълеными щиты.

Яръ Туре Всеволодѣ! Стоиши на бороні, прыщеши на вой стрѣлами, гремлеши о шеломы мечи харалужными. Камо, Туръ, поскочяше, своимъ златымъ шеломомъ посвѣчивая, – тамо лежать поганыя головы Половецкыя. Поскепаны саблями калеными шеломы Оварьскыя отъ тебе, Яръ Туре Всеволоде![68] *Съ зарания до вечера,*

съ вечера до свѣта летять стрѣлы каленыя, гримлютъ сабли о шеломы, трещать копиа харалужныя въ полѣ незнаемѣ среди земли Половецкыи. Чрьна земля подъ копыты, костьми была посѣяна, а кровию польяна; тугою взыдоша по Рускои земли!

Что ми шумить, что ми звенить далече рано предъ зорями? Игорь плъкы заворочаетъ: жаль бо ему мила брата Всеволода. Бишася день, бишася другыи, третьяго дни къ полудню падоша стязи Игоревы. Ту ся брата разлучиста на брезѣ быстрой Каялы; ту кроваваго вина не доста, ту пиръ докончаша храбрии Русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую. Ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось. Темно бо бѣ въ 3 день: два солнца помѣркоста, оба багряная стлъпа погасоста, и въ морѣ погрузиста, и съ нима молодая мѣсяца, Олегъ и Святъславъ, тьмою ся поволокоста[69]. На рѣцѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла: по Рускои земли простроишася Половци, аки пардуже гнѣздо[70]. Се бо Готския красныя дѣвы въспѣша на брезѣ синему морю, звоня Рускымъ златомъ, поютъ время Бусово, лелѣютъ месть Шароканю. А мы уже, дружина, жадни веселия».

Уже бо, братие, невеселая година въстала, уже пустыни силу прикрыла. Въстала обида въ силахъ Дажь-Божа внука, вступила дѣвою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на синѣмъ море у Дону, плещучи, убуди жирня времена.

О, далече заиде соколъ, птиць бья, – къ морю. А Игорева храбраго плъку не крѣсити[71]. Жены Руския въсплакашась, аркучи: Уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслию смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядати, а злата и сребра ни мало того потрепати!» А въстона бо, братие, Киевъ тугою, а Черниговъ напастьми. Тоска разлился по Рускои земли, печаль жирна тече средь земли Рускыи. А князи сами на себе крамолу коваху, а погании сами, побѣдами нарищуще на Рускую землю, емляхѵ дань по бѣлѣ отъ двора[72].

Святъславь грозный великый Киевскый[73] наступи на землю Половецкую, притопта хлъми и яругы, взмути рѣки и озеры, иссуши потоки и болота. А поганаго Кобяка изъ луку моря, отъ желѣзныхъ великихъ плъковъ Половецкихъ, яко вихръ, выторже, и падеся Кобякъ въ градѣ Киевѣ, въ гридницѣ Святъславли. Ту Нѣмци и Венедици, ту Греци и Морава поютъ славу Святъславлю, кають князя Игоря, иже погрузи жиръ во днѣ Каялы, рѣкы Половецкия, Рускаго злата, насыпаша. Ту Игорь князь высѣдѣ изъ сѣдла злата, а въ сѣдло кощиево. Уныша бо градомъ забралы, а веселие пониче.

А Святъславъ мутенъ сонъ видѣ въ Киевѣ на горахъ. «Си ночь съ вечера одѣвахуть мя, – рече, – чрьною паполомою на кроваты тисовѣ; чрьпахуть ми синее вино съ трудомь смѣшено, сыпахуть ми тъщими тулы[74] великыиженчюгь на лоно, и нѣгуютъ мя. Уже

дьскы безъ кнѣса в моемъ теремѣ златовръсѣмъ. Всю нощь съ вечера[75] *врани възграяху*[76].

И ркоша бояре князю: «Уже, княже, туга умь полонила. Се бо два сокола слѣтѣста съ отня стола злата поискати града Тьмутороканя, а любо испити шеломомь Дону. Уже соколома крильца припѣшали поганыхъ саблями, а самою опуташа въ путины желѣзны. Нъ уже, княже, Игорю утрьпѣ солнцю свѣтъ, а древо не бологомъ листвие срони: по Роси и по Сули гради подѣлиша. А Игорева храбраго плъку не крѣсити! Донъ ти, княже, кличетъ и зоветь князи на побѣду. Олговичи, храбрый князи, доспѣли на брань…

Тогда великий Святъславъ изрони злато слово слезами смѣшено и рече: «О, моя сыновчя, Игорю и Всеволоде! Рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити, а себѣ славы искати. Нъ нечестно одолѣсте, нечестно бо кровь поганую пролиясте. Ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ скована, а въ буести закалена. Се ли створисте моей сребреней сѣдинѣ[77]*!*

А чи диво ся, братие, стару помолодити? Коли соколъ въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ възбиваетъ, не дастъ гнѣзда своего въ обиду[78].

Великый княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетѣти издалеча, отня злата стола поблюсти? Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти. Аже бы ты былъ, то была бы чага по ногатѣ, а кошеи по резанѣ[79].

Ты, буй Рюриче, и Давыде! Не ваю ли вой злачеными шеломы по крови плаваша? Не ваю ли храбрая дружина рыкаютъ акы тури, ранены саблями калеными, на полѣ незнаемѣ? Вступита, господина, въ злата стремень за обиду сего времени, за землю Русскую, за раны Игоревы, буего Святславлича!

Галичкы Осмомыслѣ Ярославе! Высоко сѣдиши на своемъ златокованнѣмъ столѣ, подперъ горы Угорскыи своими желѣзными плъки, заступивъ королеви путь, затворивъ Дунаю ворота, меча бремены чрезъ облаки, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по землямъ текутъ, отворяеши Киеву врата, стрѣляеши съ отня злата стола салтани за землями. Стрѣляй, господине, Кончака, поганого кощея, за землю Русскую, за раны Игоревы, буего Святславлича!

А ты, буй Романе, и Мстиславе! Храбрая мысль носить ваю умъ на дѣло. Высоко плаваеши на дѣло въ буести, яко соколъ на вѣтрехъ ширяяся, хотя птицю въ буиствѣ одолѣти. Суть бо у ваю желѣзныи паворзи подъ шеломы Латинскими. Тѣми тресну земля, и многи страны[80] *– Литва, Ятвязи*[81] *и Половци – сулици своя повръгоша, а главы своя подклониша подъ тыи мечи харалужныи.*

Инъгварь и Всеволодъ и вси три Мстиславичи не худа гнѣзда

шестокрилци! Не побѣдными жребии собѣ власти расхытисте! Кое ваши златыи шеломы и сулицы Ляцкии и щиты? Загородите полю ворота своими острыми стрѣлами за землю Русскую, за раны Игоревы, буего Святъславлича!

Уже бо Сула не течетъ сребренымн струями къ граду Переяславлю, и Двина болотомъ течетъ онымъ грознымъ Полочаномъ подъ кликомъ поганыхъ. Единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, позвони своими острыми мечи о шеломы Литовския, притрепа славу дѣду своему Всеславу, а самъ подъ чрълеными щиты на кровавѣ травѣ притрепанъ Литовскыми мечи[82]*. и рекъ: «Дружину твою, княже, птиць крилы приодѣ, а звѣри кровь полизаша». Не бысть ту брата Брячяслава, ни другаго – Всеволода, единъ же изрони жемчюжну душу изъ храбра тѣла чресь злато ожерелие. Унылы голоси, пониче веселие, трубы трубятъ Городеньскии.*

Ярославе и вси внуце Всеславли! Уже понизите стязи свои, вонзите свои мечи вережени, уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ. Вы бо своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Рускую, на жизнь Всеславлю[83].

Усобица княземъ на поганыя погыбе, рекоста бо брать брату: «се мое, а то мое же». И начяша князи про малое «се великое» млъвити, а сами на себѣ крамолу ковати, а погании съ всѣхъ странъ прихождаху съ побѣдами на землю Рускую.

На Немизѣ снопы стелютъ головами, молотятъ чепи харалужными, на тоцѣ животъ кладутъ, вѣютъ душу отъ тѣла. Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни, посѣяни костьми Рускихъ сыновъ.

Всеславъ князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше, а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше: изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше. Тому въ Полотскѣ позвониша заутренюю рано у святыя Софеи[84]*, а онъ въ Кыевѣ звонъ слыша. Аще и вѣща душа въ дръзѣ тѣлѣ, нъ часто бѣды страдаше. Тому вѣщей Боянъ и пръвое припѣвку, смысленый, рече: «Ни хытру, ни горазду, ни птицо горазду суда божиа не минути!»*

Были вѣчи Трояни, минула лѣта Ярославля, были плъци Олговы, Ольга Святьславличя. Тъи бо Олегъ мечемъ крамолу коваше и стрѣлы по земли сѣяше. Ступаетъ въ златъ стремень въ градѣ Тьмутороканѣ, той же звонъ слыша давный великый Ярославь, а сынъ Всеволожь Владимиръ по вся утра уши закладаше въ Черниговѣ. Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе[85] *за обиду Олгову, храбра и млада князя*[86]*. Тогда при Олзѣ Гориславличи сѣяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Даждь-Божа внука, въ княжихъ крамолахъ вѣци человѣкомь*

скратишась. Тогда по Руской земли рѣтко ратаевѣ кикахуть, нъ часто врани граяхуть[87] *хотять полетѣти на уедие. То было въ ты рати, и въ ты плъкы, а сицеи рати не слышано!*

О, стонати Рускои земли, помянувше пръвыя годину и пръвыхъ князей! Того стараго Владимира нельзѣ бѣ пригвоздите къ горамъ Киевскимь; сего бо нынѣ сташа стязи Рюриковы, а друзии – Давидовы[88] *копиа поютъ!*

На Дунай Ярославнынъ гласъ слышитъ, зегзицею незнаемь рано кычеть. «Полечю, рече, зегзицею по Дунаеви, омочю бебрянъ рукавъ въ Каялѣ рѣцѣ, утру князю кровавыя его раны на жестоцѣмѣ его тѣлѣ».

Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на забралѣ, а ркучи: «О вѣтрѣ, вѣтрило! Чему, господине, насильно вѣеши? Чему мычеши Хиновьскыя стрѣлкы на своею нетрудною крилцю на моея лады вои? Мало ли ти бяшетъ горѣ подъ облакы вѣяти, лелѣючи корабли на синѣ морѣ? Чему, господине, мое веселие по ковылию развѣя?»

Ярославна рано плачеть Путивлю городу на заборолѣ, а ркучи: «О Днепре Словутицю! Ты пробилъ еси каменныя горы сквозѣ землю Половецкую. Ты лелѣялъ еси на себѣ Святославли носады до плъку Кобякова. Възлелѣи, господине, мою ладу къ мнѣ, а быхь не слала къ нему слезъ на море рано».

Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на забралѣ, а ркучи: «Свѣтлое и тресвѣстлое слънце! Всѣмъ тепло и красно еси, чему, господине, простре горячюю свою лучю на ладѣ вои? Въ полѣ безводнѣ жаждею имъ лучи съпряже, тугою имъ тули затче».

Прысну море полунощи; идутъ сморци мъглами. Игореви князю богъ путь кажетъ изъ земли Половецкой на землю Рускую, къ отню злату столу. Погасоша вечеру зари. Игорь спить. Игорь бдитъ, Игорь мыслию поля мѣритъ отъ великаго Дону до малаго Донца. Комонь въ полуночи Овлуръ свисну за рѣкою – велить князю разумѣти[89].

Кликну, стукну земля, въшумѣ трава, вежи ся Половецкии подвизащася. А Игорь князь поскочи горнастаемъ къ тростию, и бѣлымъ гоголемъ на воду, въвръжеся на бръзъ комонь и скочи съ него босымъ влъкомъ, и потече къ лугуДонца, и полетѣ соколомь подъ мьглами[90]*. Коли Игорь соколомъ полетѣ, тогда Влуръ влъкомъ потече, труся собою студеную росу: претръгоста бо своя бръзая комоня.*

Донецъ рече: «Ккняже Игорю! Не мало ти величия, а Кончаку нелюбия, а Рускои земли веселиа!» Игорь рече: «О, Донче! Не мало ти величия, лелѣявшу князя на влънахъ, стлавшу ему зелѣну траву на своихъ сребреныхъ брезѣхъ, одѣвавшу его теплыми мъглами подъ сѣнию зелену древу. Стрежаше е гоголемъ на водѣ,

чащами на струяхъ, чрьнядьми на ветрѢхъ»[91].

А не сороκы втроскоташа – на слѢду Игоревѣ Ѣздитъ Гзакъ съ Кончакомъ. Тогда врани не граахутъ, галици помлъкоша, сороκы не троскоташа, полозие ползоша только. Дятлове тектомъ путь къ рѣцѢ кажутъ, соловии веселыми пѢсньми свѢтъ повѢдаютъ. Млъвитъ Гзакъ Кончакови: «Аже соколъ къ гнѢзду летитъ, – соколича рострѢляевѢ своими злачеными стрълами». Рече Кончакъ ко Гзѣ: «Аже соколъ къ гнъзду летитъ, а вѢ соколца опутаевѢ красною дивицею». И рече Гзакъ къ Кончакови: «Аще его опутаевѢ красною дѢвицею, ни нама будетъ сокольца, ни нама красны дѢвице, то почнутъ наю птици бити въ полѢ Половецкомъ».

Рекъ Боянъ[92]*: Тяжко ти головы кромѢ плечю, зло ти тѢлу кромѢ головы», – Руской земли безъ Игоря.*

Солнце свѢтится на небесѢ – Игорь князь въ Рускои земли. ДѢвици поютъ на Дунаи – вьются голоси чрезъ море до Киева. Игорь Ѣдетъ по Боричеву къ святѢи Богородици Пирогощеи. Страны ради, гради весели.

ПѢвше пѢснь старымъ княземъ, а потомъ – молодымъ пѢти! Слава Игорю Святъславличю, Буй Туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу! Здрави, князи и дружина, побарая за христьяны на поганыя плъки! Княземъ слава а дружинѢ.

Аминь.

Библиография

Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. – Спб., 1873.

Анненков П. В. Пушкин в Александровскую эпоху. – СПб., 1874.

Ашукин Н. С. Как работал Пушкин. – М., Радиоиздат, 1936.

Бартенев П. Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей за 1851–1860 гг. – М., Изд. М. Сабашникова, 1925.

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. VII. – М., Изд-во АН СССР, 1955.

Бельчиков Н. Архив А. С. Пушкина // «Архивное дело», вып. XIII. М., 1927.

Берг Н. В. Сельцо Захарово // «Москвитянин», 1851, № 9—10.

Благой Д. Творческий путь Пушкина (1813–1826). – М. – Л., Изд-во АН СССР, 1950.

Богаевская К. П. Пушкин в печати за сто лет (1837–1938). – М., Соцэкгиз, 1938.

Богословский Н. В. Пушкин о литературе. – М., Гослитиздат, 1962.

Бонди С. М. Новые страницы Пушкина. – М., Изд. «Мир», 1931.

Бродский Н. Л. Комментарии к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». – М., Гослитиздат, 1957.

Брюсов В. Мой Пушкин. – М. – Л., ОГИЗ, 1929.

Вересаев В. Пушкин в жизни. Т. I–II. – М., Изд. «Советский писатель», 1936.

Вересаев В. Спутники Пушкина. Т. I–II. – М., Изд. «Советский писатель», 1937.

Вигель Ф. Ф. Записки. – «Русский Архив», СПб., 1891.

Виноградов В. Язык Пушкина. – М.—Л., Изд-во АН СССР, 1935.

Виноградов В. Проблема авторства и литературных стилей. – М., Гослитиздат, 1961.

Вяземский П. А. Записные книжки (1813–1848). – М., Изд-во АН СССР, 1963.

Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по Царскосельскому лицею. Т. I–III. – СПб., 1912–1913.

Герцен А. И. Собрание сочинений. – М., Гослитиздат, 1954.

Гессен С. Я. Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. —Л., Гослитиздат, 1936.

Гессен С. Я. Разговоры Пушкина. – Л., Изд. «Федерация», 1929.

Гессен С. Я. Пушкин в Каменке // «Литературный современник», 1935, № 7.

Гессен С. Я. Книгоиздатель Александр Пушкин. – Л., Изд-во АН СССР, 1930.

Гоголь Н. В. Собрание сочинений, т. VI. – М., Изд-во АН СССР, 1941.

Городецкий Б. П. Лирика Пушкина. – М.—Л., Изд-во АН СССР, 1962.

Горький М. О Пушкине. – М.—Л., Изд-во АН СССР, 1937.

Греч Н. И. Записки о моей жизни. – Л., Изд-во АН СССР, 1930.

Гроссман Л. Пушкин. – М., Изд. «Молодая гвардия», 1958.

Гроссман Л. Записки д'Аршиака. – Харьков, Изд. «Пролетарий», 1930.

Грот Я. К. Пушкинский лицей (1811–1817). – СПб., 1911.

Грот Я. К. Пушкин и его лицейские товарищи и наставники. – СПб., 1899.

Дневник А. С. Пушкина (1833–1835). Труды Государственного Румянцевского музея. Вып. 1. – М.—Л., ОГИЗ, 1923.

Достоевский Ф. М. Собрание сочинений, т. X. – М., Гослитиздат, 1958.

Земенков Б. С. Памятные места Москвы. – М., Изд. «Московский рабочий», 1959.

Кобеко Д. Императорский царскосельский лицей, наставники и питомцы (1811–1843). – СПб. 1911.

Лернер Н. О. Рассказы о Пушкине. – Л., Изд. «Прибой», 1929.

Лернер Н. О. А. С. Пушкин. Труды и дни. – М., 1910. Летописи Государственного литературного музея, т. 1. – М., Изд. Гослитмузея, 1936.

Литературное наследство, т. 16–18. – М., Изд-во АН СССР, 1934.

Литературное наследство, т. 58. – М., Изд-во АН СССР, 1951.

Луначарский А. В. Русская литература. – М., Гослитиздат, 1947.

Материалы для истории русской книжной торговли. – СПб., 1879.

Мейлах Б. С. Пушкин и его эпоха. – М., Гослитиздат, 1958.

Мейлах Б. С. Пушкин в литературных объединениях декабристов. – «Красная новь», 1936, № 1.

Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. – СПб., 1910.

Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. – Л., Изд. «Парфенон», 1922.

Модзалевский Б. Л. А. П. Керн. – Л., Изд. М. Сабашникова, 1924.

Модзалевский Б. Л., Томашевский Б. В. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. – М.-Л., Изд-во АН СССР, 1937.

Нечкина. М. В. Пушкин и декабристы. – М., Изд. «Правда», 1949.

Оксман Ю. Г. Пушкин – литературный критик и публицист. –

Собрание сочинений. А. С. Пушкин. Т. VI. – М., Гослитиздат, 1962.

Оксман Ю. Г. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина до «Записок охотника» И. С. Тургенева. – Саратов, 1959.

Павлищев Л. Н. Из семейной хроники // «Исторический Вестник», 1888, т. XXXI и след.

Панаева А. Я. Воспоминания. – Л., Гослитиздат, 1927.

Петров С. М. Исторический роман А. С. Пушкина. – М., Изд-во АН СССР, 1953.

Погодин М. П. О «Борисе Годунове». – М., «Русский Архив», 1865.

Пушкин в воспоминаниях современников. – Л., Гослитиздат, 1950.

Пушкин и его современники. Материалы и исследования, вып. III. 1909.

Пушкин. Исследования и материалы, т. I–II. – М., Изд. Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, 1956.

Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 1–6. – М. —Л., Изд-во АН СССР, 1936–1941.

Пушкинская Москва. Путеводитель. – М., Изд. «Московский рабочий», 1937.

Пущин И. И. Записки о Пушкине и письма. – М., Гослитиздат, 1956.

50 лет Пушкинского дома (1905–1955). – М. —Л., Изд. Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, 1956.

Розен Е. Ф. Россия и Баторий. – СПб., 1833.

Рукою Пушкина. – М. -Л., Изд. «Academia», 1935.

Синявский Н., Цявловский М. Пушкин в печати (1814–1837). – М., 1914.

Смирнов-Сокольский Н. П. Прижизненные издания Пушкина. – М., Изд. Всесоюзной книжной палаты, 1962.

Соллогуб В. А. Воспоминания. – СПб., 1887.

Сухонин С. Дела III отделения об А. С. Пушкине. – СПб., 1906.

Тургенев И. С. Полное собрание сочинений, т. XI. – М., Гослитиздат, 1956.

Ульянский А. Н. Няня Пушкина. – М.—Л., Изд-во АН СССР, 1940.

Фейнберг И. Незавершенные работы Пушкина. – М., Гослитиздат, 1953.

Цявловский. М. А. Летопись жизни и творчества Пушкина, т. I. – М., Изд-во АН СССР, 1951.

Цявловский М. А. Статья о Пушкине. – М., Изд-во АН СССР, 1962.

Цявловский М. А. Книга воспоминаний о Пушкине. – М., Изд.

«Мир», 1931.

Чернышевский Н. Г. Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения. – СПб., 1856.

Щеголев П. Е. Пушкин. Очерки. – СПб., 1913.

Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. – М. —Л., ОГИЗ, 1928.

Щеголев П. Е. Пушкин и мужики. – М., Изд. «Федерация», 1928.

Эйгес И. Музыка в жизни и творчестве Пушкина. – М., Музгиз, 1937.

Эфрос А. Рисунки поэта. – М., Изд. «Academia», 1933.

Эфрос А. Пушкин-портретист. – М., Изд. Гослитмузея, 1946.

Эфрос А. Автопортрет Пушкина. – М., Изд. Гослитмузея, 1945.

Яцевич А. Пушкинский Петербург. – Л., Изд. «Пушкинского общества», 1935.

notes

Примечания

1

Лацис А. Из-за чего погибали пушкинисты // Сборник статей. Верните лошадь. Пушкиноведческий детектив. – М.: «Московские учебники и картолитография», 2003. С. 286–308.

2

Гессен В. Ю. Жизнь и деятельность И. В. Гессена – юриста, публициста и политика. – СПб.: «Сударыня», 2000. С. 93.

З

Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965 гг.) – философ, крупнейший представитель интуитивизма и персонализма в России. В 1922 г. выслан за границу, до 1945 г. жил в Праге, в 1947—50 гг. в Нью-Йорке. Основные труды по психологии, логике, проблемам интуиции, свободы воли и др.

4

Степун Федор Августович (1884–1965 гг.) – русский писатель, литературный критик, философ. В 1922 г. выслан из СССР, жил в Германии. В философско-эстетических трудах, близких к философии жизни, рассматривал проблемы современного безрелигиозного сознания, духовно-опустошенной «технологической» культуры XX века (сборники «Жизнь и творчество», «Основные проблемы театра» и др.).

5

Талмуд-Тора – еврейское учебное заведение по изучению и толкованию Талмуда (древнеевр. букв. «изучение»), собрания догматических, религиозно-этических и правовых положений иудаизма, сложившегося в 9 веке до н. э. – 5 веке н. э. Включает Мишну – толкования Торы и Гемару – толкования Мишны. Тора – древнееврейское название Пятикнижия, т. е. первых книг Библии – Ветхого завета (Бытие; Исход; Левит; Числа и Второзаконие).

6

Нижеследующие факты биографии Ю. И. Гессена заимствованы из предисловия к его книге «История еврейского народа в России» (т. 1, Ленинград, 1925 г.), написанного сыном автора В. Ю. Гессеном при втором издании книги в 1993 г. по инициативе Еврейского Университета в Москве.

7

Первый том «Истории еврейского народа в России», изданный в 1925–1926 гг., был воспроизведен с сохранением пагинации в 1993 году по инициативе Еврейского Университета в Москве в содружестве с Иерусалимским институтом еврейских исследований. Пагинация (от лат. pagina – страница) – последовательная нумерация страниц (полос), столбцов (колонок) и иллюстраций в произведениях печати.

Гессен В. Ю. «Юлий Гессен – историк еврейского народа в России» // Предисловие к факсимильному изданию «Истории еврейского народа в России». Том первый, второе переработанное издание. – Л., 1925. С. I–VI.

Гессен В. Ю. Жизнь и деятельность И. В. Гессена – юриста, публициста и политика. – СПб.: «Сударыня», 2000. С. 11.

10

Гессен В. Ю. Жизнь и деятельность И. В. Гессена – юриста, публициста и политика. – СПб.: «Сударыня», 2000 // Предисловие. С. 17.

11

Гессен В. Ю. Жизнь и деятельность И. В. Гессена – юриста, публициста и политика. – СПб.: «Сударыня», 2000 // Предисловие. С. 18.

12

Гессен В. Ю. Жизнь и деятельность И. В. Гессена – юриста, публициста и политика. – СПб.: «Сударыня», 2000 // Предисловие. С. 19.

13

Гессен В. Ю. Жизнь и деятельность И. В. Гессена – юриста, публициста и политика. – СПб.: «Сударыня», 2000 // Предисловие. С. 21.

14

Гессен В. Ю. Жизнь и деятельность И. В. Гессена – юриста, публициста и политика. – СПб.: «Сударыня», 2000 // Предисловие. С. 23.

15

В. Д. Набоков (1869–1922 гг.) – политический деятель, юрист, публицист. Один из создателей партии кадетов, член ее ЦК, депутат I Государственной думы. В 1917 г. управляющий делами Временного правительства. С ноября 1918 г. министр юстиции Крымского краевого правительства, с апреля 1919 г. в эмиграции. Погиб, заслонив собой П. Н. Милюкова, в момент покушения на него.

16

Гессен В. Ю. Жизнь и деятельность И. В. Гессена – юриста, публициста и политика. – СПб.: «Сударыня», 2000. С. 28.

17

Эта фамилия Ивана Госсена изменена.

18

«Искандер» – литературный псевдоним Александра Ивановича Герцена (1812–1870) – русского революционера, философа и писателя, основоположника народничества («русского социализма»).

Гессен В. Ю. Жизнь и деятельность И. В. Гессена – юриста, публициста и политика. – СПб.: «Сударыня», 2000. С. 105.

Гессен В. Ю. Жизнь и деятельность И. В. Гессена – юриста, публициста и политика. – СПб.: «Сударыня», 2000. С. 105.

21

Гессен В. Ю. Жизнь и деятельность И. В. Гессена – юриста, публициста и политика. – СПб.: «Сударыня», 2000. С. 50.

22

Мария (Маша) Александровна Гессен (род. 1967 г.) – российская и американская журналистка, бывший директор русской службы «Радио Свобода». Пишет как на русском, так и на английском языках, автор нескольких книг, в том числе «Человек без лица: невероятное восхождение Владимира Путина» (на английском языке, 2012 г.). В 2012 г. Маша Гессен работала главным редактором журнала и издательства «Вокруг света», но первого сентября этого же года покинула этот пост из-за разногласий с владельцем издательства. Суть этих разногласий заключалась в том, что Маша Гессен отказалась выполнить просьбу работодателя об освещении экспедиции с участием президента В. Путина по спасению стерхов.

23

Гессен А. И. «Мне минуло шестнадцать лет» // «Юность», 1969, № 9, с. 112.

«Детская литература» – М., 1969. № 4. С. 18–25.

25

Петровский Григорий Иванович (1878–1958 гг.) – политический деятель, депутат 4-й Государственной думы, председатель фракции большевиков. С 1917 года нарком внутренних дел Советской России. В 1919 г. Председатель Всеукраинского ревкома. В 1919–1938 гг. Председатель ВУЦИК. С 1940 г. заместитель директора Музея Революции СССР. В 1926 году г. Екатеринослав в честь Г. И. Петровского переименован в Днепропетровск (Украина).

«Литературная газета» – М., 17.02.1962 г.

«Литература и жизнь» – М., 1958, № 26, 6 июня.

«Дошкольное воспитание» – М., 1973, № 1. С. 116–118.

29

«В мире книг» – М., 1961, № 12. С. 29–30.

«Семья и школа», – М., 1968 г., № 1. С. 50.

«Семья и школа» – М., 1968 г., № 1. С. 51.

«Советская культура» – М., 1959, № 55, 5 мая.

33

Камерон Чарлз (1730-е гг. – 1812 г.) – архитектор школы классицизма. По происхождению шотландец, с 1779 г. в России. Постройки Камерона, в т. ч. комплекс «Агатовых комнат», «Холодных бань», «Висячего сада» и «Камероновой галереи» в Царском Селе (1779—93 гг.), дворец (1782—86 гг.) и парковые павильоны в Павловске, свидетельствуют о творческом использовании форм древнеримской античности, отличаются гармонической простотой и строгостью композиции, стройностью пропорций, изяществом отделки интерьеров.

Мартос Иван Петрович (1754–1835 гг.) – русский скульптор, представитель классицизма. В мемориальной пластике гармонично сочетаются гражданский пафос, идеальная возвышенность, обаяние и жизненность образов. Памятник Минину и Пожарскому в Москве (1804—18 гг.).

34

Из книги А. И. Гессена «Набережная Мойки, 12. Последняя квартира Пушкина». – Минск, «Народная асвета», 1983. С. 134–143.

«Литературная Россия» – М., 1967, № 7. С. 14.

«Дошкольное воспитание», 1973, № 1. С. 119–127.

«Дошкольное воспитание» – М., 1973, № 2. С. 114–119.

38

Будь здоров! (лат.)

«Семья и школа» – М., 1967 г., № 1. С. 50–51; 1968 г., № 1. С. 50–51.

«В мире книг», 1974, № 6, с. 45–47.

«Семья и школа» – М., 1966, № 1. С. 26–27.

«Литературная Россия» – М., 1967, № 7. С. 12.

«Литературная Россия» – М., 1967, № 7. С. 12.

«Литературная Россия» – М., 1967, № 7. С. 13.

45

Это злободневно, как свежая газета (франц.).

«Литературная Россия» – М., 1967, № 7. С. 14.

47

Это ядовитое дерево. Пронзенное до сердцевины, оно плачет только ядовитыми слезами (англ.).

«Труд» – М., 6 июня 1969 г. С. 3.

«Неделя» – М., 1965, № 48, 21–27 ноября. С. 16–17.

Гессен А. И. «Пушкин в Москве». – М., «Алгоритм», 2007, с. 132–144.

«Семья и школа» – М., 1966, № 5, с. 19–21; № 6, с. 17–19.

«Литературная Россия» – М., 1965, № 50, 10 декабря, с. 16–17.

Для тебя одного. – *Прим. Пушкина.*

Гессен А. И. «Все волновало нежный ум…» Пушкин среди книг и друзей. – М., «Наука», 1965. С. 415–424.

Гессен А. И. «Все волновало нежный ум…» Пушкин среди книг и друзей. – М., «Наука», 1965. С. 490–502.

Гессен А. И. Жизнь поэта. – М., «Детская литература», 1972. С. 449–473.

57

К. Ф. Калайдович. Библиографические сведения о жизни, ученых трудах и собрании Российских древностей графа А. И. Мусина-Пушкина // Записки и труды Общества истории и древностей российских (ОИДР). – М., 1824. Ч. 2. С. 18–39. Это так называемая «биография» графа, в которой Калайдович писал: «…у архимандрита Спасо-Ярославского монастыря Иоиля купил он все русские книги, в том числе драгоценное «Слово о полку Игореве». Далее в «биографии» приводятся уже слова самого графа: «До обращения Спасо-Ярославского монастыря в Архиерейский дом, управлял оным архимандрит Иоиль, муж с просвещением и любитель словесности; по уничтожении штата, остался он в том монастыре на обещании до смерти своей. В последние года находился он в недостатке, а по тому случаю комиссионер мой купил у него все русские книги, в числе коих в одной под № 323, под названием Хронограф, в конце найдено «Слово о полку Игореве».

Лихачев Д. С. Археографический комментарий к «Слову о полку Игореве» // Слово о полку Игореве. М.—Л., 1950 (Серия «Литературные памятники»). С. 353.

59

Цит. по: *Цявловский М.* Пушкин и «Слово о полку Игореве» // «Новый мир», 1938. № 5. С. 260–271.

Костин А. «Слово о полку Игореве» – подделка тысячелетия. – М., «Алгоритм», 2014. С. 181–188; 422–423.

Зализняк А. А. «Слово о полку Игореве». Взгляд лингвиста. – М., «Рукописные памятники Древней Руси», 2008.

62

…растѣкашется мыслию по древу, сѣрымъ вълком по земли, шизымъ орломъ подъ облакы. Помняшеть бо рече, първыхъ временъ усобицѣ. Тогда пущашеть 10 соколовь на стадо лебедѣй, которыи дотечаше, та преди пѣснь пояше… Боянъ же, братие, не 10 соколовь на стадо лебедей пущаше…

63

…скача, славию, по мыслену древу, летая умом подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы.

64

Спала князю умъ похоти и жалость ему знаменіе заступи – искусити Дону Великаго.

…свистъ звѣринъ въстазби.

Уже бо бѣды его пасеть птицъ подобію.

Орьтъмами.

Кая раны дорога братіе, забывъ чти и живота и града Чрънигова отня злата стола и своя милыя хоти, красныя Глѣбовны, свычая и обычая.

69

…и в море погрузиста, и великое буйство подаста Хинови.

70

Уже снесеся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю; уже връжеса Дивь на землю.

71

За нимъ кликну Карна, и Жля поскочи по Руской земли, смагу людемъ мычюги въ пламянѣ розѣ.

Тіи бо два храбрая Святъславлича Игорь и Всеволодъ, уже лжу убуди(ста), которою то бяше успилъ отецъ ихъ.

73

Грозою бяшеть притрепалъ. Своими сильными плъки и харлужными мечи.

Поганыхъ тлъковинъ.

75

Б(у)сови.

76

У Плѣсньска на болони бѣша дебрь(с)ка сан(и) и несошася къ синему морю.

А уже не вижду власти сильнаго и богатаго и многовои брата моего Ярослава, съ Черниговьскими былями, съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и с топчакы, и съ ревуты, и съ ольберы. Тіи бо бес щитовь съ засапожникы кликомъ плъки побѢждаютъ, звонячи въ прадѢднюю славу. Нъ рекосте: «Мужаимѣся сами, переднюю славу сами похитимъ, а заднюю ся сами подѢлимъ!»

Нъ сезло: княже ми непособіе. На ниче ся годины обратиша! Се у Римъ кричать подъ саблями Половецкыми, а Володимиръ подъ ранами. Туга и тоска сыну Глѣбову!

79

Ты бо можеши посуху живыми шереширы стрѣляти – удалыми сыны Глѣбовы.

Хинова.

81

Деремела.

И с хотию на кровать.

83

Которою бо бѣше насиліе отъ земли Половецкыи! На седьмомъ вѣцѣ Трояни връже Всеславъ жребій о дѣвицю себѣ любу. Тъй клюками подпръся око ни, и скочи къ граду Кыеву, и дотчеся стружіемъ злата стола Кіевскаго. Скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плъночи, изъ Бѣлаграда, обѣсися синѣ мьглѣ, утръ же возни с три кусы оттвори врата Новуграду, разшибе славу Ярославу, скочи влъкомъ до Немиги, съ (ду)дутокъ.

84

Въ колоколы.

И на канину зелену паполому постла.

86

Съ тоя же Каялы Святоплък полелѣя отца своего междю Угорьскими иноходьцы ко СвятѢй Софіи къ Кіеву.

Трупіа себѣ дѣляче, а галиці свою рѣчь говоряхуть.

Нъ роз(ь)но ся миъ хоботы пашуть.

89

Князю Игорю не быть!

Избивая гуси и лебеди завтроку, и обѣду, у ужинѣ.

91

Не тако ли, рече рѣка Стугна: худу струю имѣя, пожръши чужи ручьи и стругы, ростре на кусту, уношу князю Ростиславу затвори Днѣ пр(и) темнѣ березѣ. Плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславѣ. Уныша цвѣты жалобою, и древо с тугою къ земли прѣклонило.

92

И ходына Святъславля, пѣснотворца стараго времени Ярославля, Ольгова Коганя хоти.